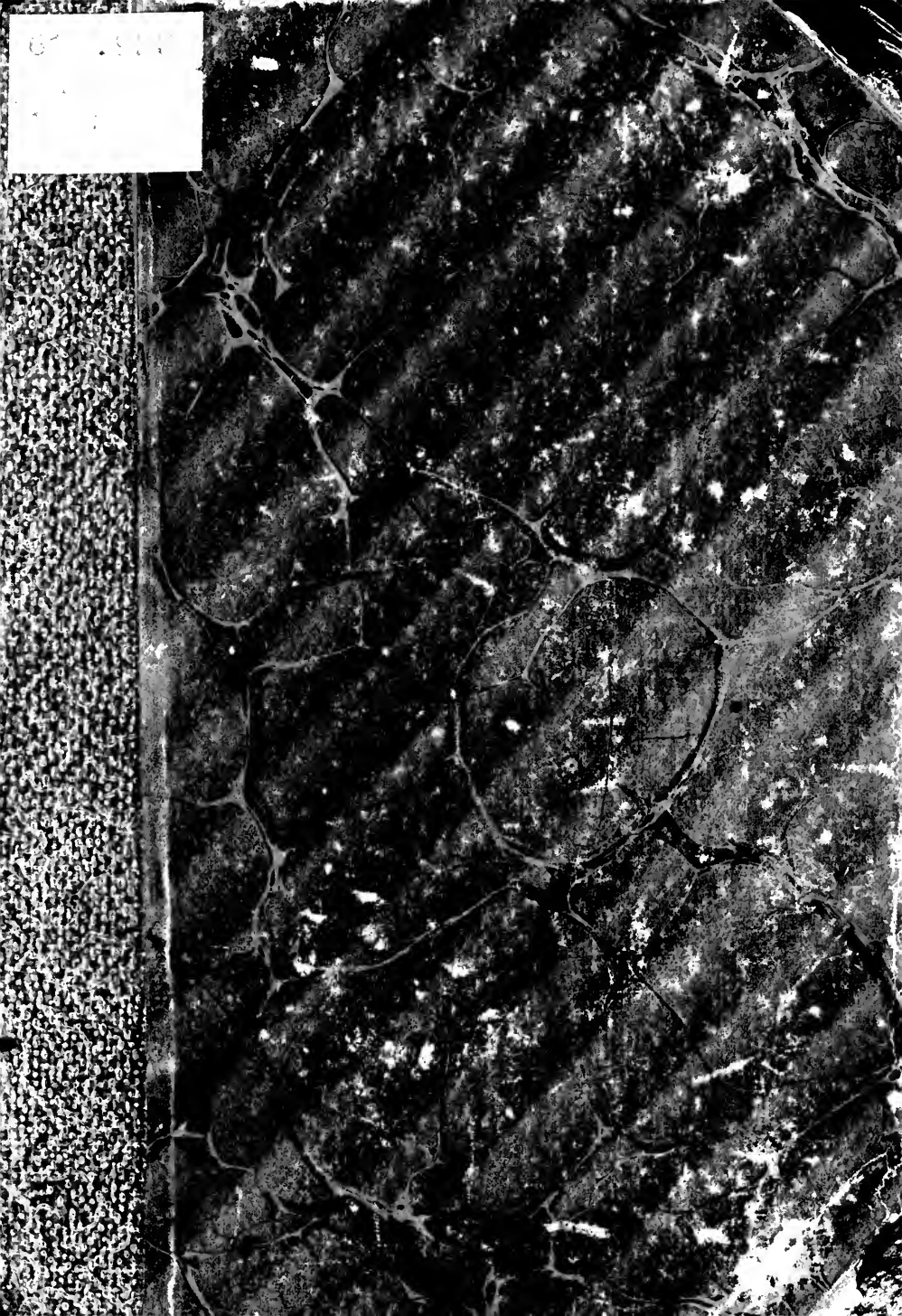


6 . 317

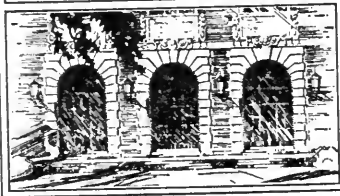


LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

610.923

Sm4z

1902



2292

CENTRAL CIRCULATION AND BOOKSTACKS

The person borrowing this material is responsible for its renewal or return before the **Latest Date** stamped below. **You may be charged a minimum fee of \$75.00 for each non-returned or lost item.**

Theft, mutilation, or defacement of library materials can be causes for student disciplinary action. All materials owned by the University of Illinois Library are the property of the State of Illinois and are protected by Article 16B of Illinois Criminal Law and Procedure.

TO RENEW, CALL (217) 333-8400.
University of Illinois Library at Urbana-Champaign

JUL 23 2000

When renewing by phone, write new due date below previous due date.

L162


L161—O-1096



В. Вересаевъ.



ЗАПИСКИ ВРАЧА.



ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. Е. Колпинскаго. Конная ул., № 3—5.

1902.

EMIL NE A. SEMENOV



610.923
Sm 4/2
1902

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Пасторъ. Неужели въ вашемъ материнскомъ сердцѣ нѣтъ голоса, который бы запрещалъ вамъ разрушать идеалы вашего сына?

Г-жа Альвингъ. Что же тогда будетъ съ правдой?

Пасторъ. Что же тогда будетъ съ идеалами?

Г-жа Альвингъ. Ахъ, идеалы, идеалы!..

Г. Ибсенъ. „Привидѣнія“.

Предлагаемая „Записка“ вызвала противъ меня среди нѣкоторой части читателей бурю негодованія: какъ могъ я рѣшиться въ общен печати, передъ профанами, съ полною откровенностью разсказывать все, что переживаетъ врачъ, — какую цѣль я при этомъ преслѣдовалъ? Я долженъ былъ знать, что въ публикѣ и безъ того распространено сильное недовѣріе къ медицинѣ и врачамъ, разоблаченія же, подобныя моимъ „Запискамъ“, могутъ только усилить это недовѣріе; уличныя газеты, постоянно травящія врачей, съ радостью ухватятся за сообщаемый мною матеріалъ, чтобы использовать его для своихъ темныхъ цѣлей; слухи могутъ дойти до низшихъ слоевъ общества, до невѣжественнаго народа и оттолкнуть его отъ медицины, въ помощи которой онъ такъ нуждается. Авторъ, будучи самъ врачомъ, долженъ бы понимать, что

онъ дѣлаетъ, подрывая въ публикѣ довѣріе къ врачамъ и медицинѣ.

Негодование это представляется мнѣ очень знаменательнымъ. Мы такъ боимся во всемъ правды, такъ мало сознаемъ ея необходимость, что стоимъ открыть хоть маленькій ея уголокъ,—и люди начинаютъ чувствовать себя неловко: для чего? Какая отъ этого польза? Что скажутъ люди непосвященные, какъ поймутъ они преподносимую правду?

Съ самаго поступленія моего на медицинскій факультетъ, и еще больше—послѣ выступленія въ практику, передо мною шагъ за шагомъ стали подниматься вопросы, одинъ другого сложнѣе и тяжелѣе. Я искалъ ихъ разрѣшенія въ врачебныхъ журналахъ, въ книгахъ,—и нигдѣ не находилъ. Врачебная этика тщательно и недантически разрабатывала крохотный кругъ вопросовъ, касающихся непосредственныхъ отношеній врача къ пациенту и врачей между собою; всѣ тѣ вопросы, которые стояли передо мною, для нея почти совѣмъ не существовали. Почему?.. Смѣшно сказать,—неужели, действительно, нужна была какая-то особенная проципателность или чуткость, чтобы замѣтить и поднять тѣ вопросы, которыхъ я касаюсь въ „Запискахъ“? Въдѣ эти вопросы бьютъ въ глаза каждому врачу, ими мучается каждый врачъ, не совѣмъ еще застывшій въ карьерномъ благополучіи. Но почему же, тѣмъ не менѣе, объ нихъ не говорятъ, почему разрѣшенія ихъ каждый принужденъ искать въ одиночку?

Мнѣ кажется, тутъ возможно лишь одно объясненіе: всѣ боятся, что, если поднимать и обсуждать подобные вопросы, то это можетъ „подорвать довѣріе къ врачамъ“. И вотъ на самые серьезные и жгучіе вопросы врачебнаго дѣла набрасывается непропускаемое покрывало, и объ нихъ молчатъ, какъ будто ихъ совѣмъ не существуетъ. А между тѣмъ

это систематическое замалчиваніе сдѣлало и продолжаетъ дѣлать очень недоброе дѣло: благодаря ему, нѣтъ самаго главнаго,—нѣтъ той общей атмосферы, которая была бы полна сознаниемъ неразрѣшенности этихъ вопросовъ и сознаниемъ насущной, неотложной надобности ихъ разрѣшенія. Вопросы рѣшаются въ одиночку и втихомолку, вкривь и вкось, а чаще всего заглушаются безъ всякаго разрѣшенія. По поводу моихъ „Записокъ“ мнѣ приходилось слышать отъ врачей возраженія, которыя я положительно не рѣшаюсь привести,—до того они дики и профессионально-эгоистичны; а слышать ихъ мнѣ приходилось отъ многихъ. Я думаю, подобныя возраженія могутъ выплывать лишь изъ того непрогляднаго, безгласнаго мрака, въ которомъ мысль начинаетъ шевелиться, лишь вилотную натолкнувшись на вопросъ; и трудно ждать, чтобы при такихъ условіяхъ вопросъ былъ охваченъ сколько-нибудь широко.

Мнѣ говорятъ: если вы считали необходимымъ поднять ваши вопросы, то почему вы не прибѣгли къ специальной врачебной печати, зачѣмъ вы обратились съ этими вопросами къ профанамъ? Разрѣшить ихъ профаны, все равно, не въ состояніи, и имъ совсѣмъ даже не слѣдуетъ знать о существованіи этихъ вопросовъ.

Въ средніе вѣка одинъ вормсскій врачъ, Ресслинъ, издалъ свой медицинскій трудъ не на латинскомъ языкѣ, какъ тогда было въ обычаѣ, а на нѣмецкомъ; вполнѣ сознавая всю возмутительность такой „профанациі“ своей науки, онъ въ предисловіи извинялся въ этомъ передъ читателями и убѣдительно просилъ ихъ получше прятать его книгу, „чтобъ она не попала въ руки непосвященнымъ, и чтобъ такимъ образомъ бисеръ не метался передъ свиньями“.

Времена эти давно миновали; специальная печать пользуется теперь исключительно роднымъ

языкомъ, доступнымъ и понятнымъ всякому „непосвященному“. Напиши я свои „Записки“ хотя бы и менѣе популярно, опубликуй я ихъ въ специальномъ изданіи, — все равно, общая пресса извлекла бы изъ нихъ на вольный свѣтъ все „интересное“; разница была бы только та, что она придала бы фактамъ свое собственное освѣщеніе, — можетъ быть, невѣрное и невѣжественное.

Впрочемъ, суть дѣла не въ этомъ; суть вотъ въ чемъ: почему профанамъ не слѣдуетъ знать о существованіи указываемыхъ вопросовъ? Кто далъ кому право опекать профановъ? Пускай публикуютъ свои „записки“ судья, учитель, литераторъ, адвокатъ, путеецъ, полицейскій приставъ. Если мнѣ скажутъ, что мнѣ, какъ профану, вредно знать изнанку всѣхъ этихъ профессій, то я отвѣчу, что я не ребенокъ и что я самъ въ правѣ судить, что для меня вредно.

Узнавъ правду, профаны могутъ потерять довѣріе къ врачамъ и медицинѣ... Какой это старыи-старыи, негодный, и все-таки всѣми признаваемый способъ, — предписывать молчаніе, изъ боязни, чтобъ правда не поколебала авторитетъ! Какъ будто есть такой крѣпкій ящикъ, въ которомъ можно наглухо запереть правду! Какими обручами ни оковывай ящикъ, онъ неудержимо разбѣдетъ по всѣмъ скрѣпамъ, и правда поползетъ изъ щелей, — обезображенная, отрывочная, раздражающая своею неполнотою и заставляющая предполагать все самое худшее. Врачи тщательно оберегаютъ публику отъ всего, что могло бы поколебать въ ней вѣру въ медицину. Ну, и что же? Сильна въ публикѣ вѣра въ медицину? Не подхватываетъ она всякую самую чудовищную сплетню о врачахъ, не предъявляетъ она къ врачамъ самыхъ нелѣпыхъ обвиненій и требованій?

Для пользы *даннаго момента* иногда по необходимости приходится обманывать тяжелелаго больного;

но общество въ цѣломъ—не тяжелый больной, и минутную ложь нельзя возводить въ постоянное правило. Одно изъ двухъ: либо правда можетъ уменьшить вѣру въ медицину и врачей потому, что медицина по самой своей сути не заслуживаетъ подобной вѣры,—въ такомъ случаѣ правда полезна: ничего нѣтъ вреднѣе и ничего не несетъ съ собою столько разочарованій, какъ преувеличенная вѣра во что-нибудь. Либо, во-вторыхъ, правда можетъ колебать вѣру во врачей потому, что указываетъ на устранимыя, но не устраняемыя темныя стороны врачебнаго дѣла,—въ такомъ случаѣ правда *необходима*: если темныя стороны будутъ устранены, то вѣра опять появится, пока же онѣ не устранены, то полной вѣры и не должно быть. Повторю здѣсь то, что я говорю въ „Запискахъ“: я лично не обращаюсь за помощью къ только что кончившему врачу, не лягу подъ ножъ хирурга, дѣлающаго свою первую операцію, не позволю дать своему ребенку новаго, мало-испытаннаго средства, не позволю привить ему сифилисъ. Думаю, ни на что это не согласится и ни одинъ изъ врачей. Разъ же это такъ, то какъ можно скрывать все это отъ „непосвященныхъ“, какъ можно предоставлять имъ идти на то, отъ чего всякій „посвященный“ благо-разумно уклонится?

Что профаны не въ состояніи разрѣшить поднимаемыхъ вопросовъ,—это совершенно вѣрно. Но профаны въ правѣ требовать разрѣшенія этихъ вопросовъ и интересоваться ихъ разрѣшеніемъ: дѣло слишкомъ близко касается ихъ. Даже больше,—гласное обсужденіе всѣхъ этихъ вопросовъ, по-моему, представляетъ единственную гарантію удовлетворительности ихъ рѣшенія; если рѣшать будутъ одни врачи, то они легко могутъ впасть въ ббльшую или меньшую односторонность.

Мнѣ предъявляютъ еще другое обвиненіе. Одна

распространенная врачебная газета утверждает, что я „непозволительно обобщаю единичные факты изъ врачебной практики“, что я, „неизвѣстно ради чего“, позволяю себѣ „несомнѣнныя преувеличенія и чрезмѣрное сгущеніе красокъ“. Съ такимъ обвиненіемъ приходится, разумѣется, считаться самымъ серьезнымъ образомъ; къ сожалѣнію, оно высказано совершенно голословно, такъ что возражать на него довольно трудно. Возможность подобныхъ обвиненій я предвидѣлъ съ самаго начала и, въ прямой ущербъ изложенію, обильно уснастил свои „Записки“ цитатами, какъ мнѣ кажется, достаточно характерными и убѣдительными. Въ общей печати мнѣ даже пришлось встрѣтить упрекъ, что я „вдаюсь въ черезчуръ большія подробности“, и что „Записки“ мои „смахиваютъ временами на специальную статью въ медицинскомъ журналѣ“. Если я не привожу еще больше подтвержденій правильности моихъ „обобщеній“, то во всякомъ случаѣ никакъ ужъ не за недостаткомъ такихъ подтвержденій.

P. S. Въ разныхъ мѣстахъ „Записокъ“ я называю по фамиліямъ больныхъ и врачей, съ которыми мнѣ приходилось имѣть дѣло. Въ виду обращенныхъ ко мнѣ запросовъ, считаю нужнымъ объяснить то, что и само по себѣ, казалось бы, совершенно ясно,—что въ беллетристической части „Записокъ“ не только фамиліи, но и самыя лица и обстановка — вымышлены, а не сфотографированы съ дѣйствительности.



ЗАПИСКИ ВРАЧА.

Я кончилъ курсъ на медицинскомъ факультетѣ семь лѣтъ назадъ. Изъ этого читатель можетъ видѣть, чего онъ въ правѣ ждать отъ моихъ записокъ. Записки мои—это не записки стараго, опытнаго врача, подводящаго итоги своимъ долгимъ наблюденіямъ и размышленіямъ, выработавшаго опредѣленные отвѣты на всѣ сложные вопросы врачебной науки, этики и профессіи; это также не записки врача-философа, глубоко проникшаго въ суть науки и вполне овладѣвшаго ею. Я—обыкновеннѣйшій средній врачъ, съ среднимъ умомъ и средними знаніями; я самъ путаюсь въ противорѣчіяхъ, я рѣшительно не въ силахъ разрѣшить многіе изъ тѣхъ тяжелыхъ, настоятельно требующихъ рѣшенія вопросовъ, которые возникаютъ предо мною на каждомъ шагу. Единственное мое преимущество,—что я еще не успѣлъ стать человѣкомъ профессіи, и что для меня еще ярки и сильны тѣ впечатлѣнія, къ которымъ современемъ невольно привыкаешь. Я буду писать о томъ, что я испытывалъ, знакомясь съ медициной, чего я ждалъ отъ нея и что она мнѣ дала, буду писать о своихъ первыхъ само-

стоятельныхъ шагахъ на врачебномъ поприщѣ и о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ мною изъ моей практики. Постараюсь писать *все*, ничего не утаивая, и постараюсь писать искренно.

I.

Я учился въ гимназіи хорошо, но, какъ и большинство моихъ товарищей, науку гимназическую презиралъ до глубины души. Наука эта была для меня тяжелою и непріятною повинностью, которую для чего-то необходимо было отбыть, но которая сама по себѣ не представляла для меня рѣшительно никакого интереса: что мнѣ было до того, въ какомъ вѣкѣ написано „Слово Данила-Заточника“, чей сынъ былъ Оттонъ Великій, и какъ будетъ страдательный залогъ отъ „persuadeo tibi“? Развитие мое шло помимо школы, помимо школы приобрѣтались и интересовавшія меня знанія.

Все это рѣзко измѣнилось, когда я поступилъ въ университетъ. На первыхъ двухъ курсахъ медицинскаго факультета читаются теоретическіе естественно-научные предметы—химія, физика, ботаника, зоологія, анатомія, фізіологія. Эти науки давали знаніе, настолько для меня новое и настолько важное, что совершенно завладѣли мною: все вокругъ меня и во мнѣ самомъ, на что я раньше смотрѣлъ глазами дикаря, теперь становилось яснымъ и понятнымъ; и меня удивляло, какъ могъ я дожить до двадцати лѣтъ, ничѣмъ этимъ не интересуясь и ничего не зная. Каждый день, каждая лекція несли съ собою новыя для меня „открытія“:

я былъ пораженъ, узнавъ, что мясо, то самое мясо, которое я ѣмъ въ видѣ бифштекса и котлетъ, и есть тѣ таинственные „мускулы“, которые мнѣ представлялись въ видѣ какихъ-то клубковъ сѣроватыхъ нитей; я раньше думалъ, что изъ желудка твердая пища идетъ въ кишки, а жидкая—въ почки; мнѣ казалось, что грудь при дыханіи расширяется *оттого*, что въ нее какую-то непонятною силою вводится воздухъ; я зналъ о законахъ сохраненія матеріи и энергіи, но въ душѣ совершенно не вѣрилъ въ нихъ. Впослѣдствіи мнѣ пришлось убѣдиться, что и большинство такъ называемыхъ образованныхъ людей имѣетъ не менѣе младенческія представленія обо всемъ, что находится предъ ихъ глазами, и это ихъ не тяготитъ. Они покраснѣютъ отъ стыда, если не сумѣютъ отвѣтить, въ какомъ вѣкѣ жилъ Людовикъ XIV, но легко сознаются въ незнаніи того, что такое угаръ, и отчего свѣтится въ темнотѣ фосфоръ.

Что касается анатоміи, то часто приходится слышать, какую тяжелою и непріятною стороною ея изученія является необходимость препарировать трупы. Дѣйствительно, нѣкоторые изъ товарищей довольно долго не могли привыкнуть къ виду анатомическаго театра, наполненнаго ободранными трупами съ мутными глазами, оскаленными зубами и скрюченными пальцами; одному товарищу пришлось даже перейти изъ-за этого на другой факультетъ: онъ сталъ страдать галлюцинаціями, и ему казалось по ночамъ, что изъ всѣхъ угловъ комнаты къ нему ползутъ окровавленные руки, ноги и головы. Но лично я привыкъ къ тру-

памъ довольно скоро и съ увлеченіемъ просиживалъ цѣлые часы за препаровкою, раскрывавшею предо мною всѣ тайны человѣческаго тѣла; въ теченіе семи-восьми мѣсяцевъ я ревностно занимался анатоміей, цѣликомъ отдавшійся ей, и на это время взглядъ мой на человѣка какъ-то удивительно упростился. Я шелъ по улицѣ, слѣдя за идущимъ предо мною прохожимъ, и онъ былъ для меня не болѣе, какъ живымъ трупомъ: вотъ теперь у него сократился *glutaeus maximus*, теперь — *quadriceps femoris*; эта вынуклость на шеѣ обусловлена мускуломъ *sternocleidomastoideus*; онъ наклонился, чтобъ поднять упавшую тросточку, — это сократились *musculi recti abdominis* и потянули къ тазу грудную клѣтку. Близкіе, дорогіе мнѣ люди стали въ моихъ глазахъ какъ-то двоиться: эта дѣвушка, въ ней столько оригинальнаго и славнаго, отъ ея присутствія на душѣ становится хорошо и свѣтло, а между тѣмъ все, составляющее ее, мнѣ хорошо извѣстно, и ничего въ ней нѣтъ особеннаго: на ея мозгѣ тѣ же извилины, что и на сотняхъ видѣнныхъ мною мозговъ, мускулы ея также насквозь пропитаны жиромъ, который дѣлаетъ столь непріятнымъ препарированіе женскихъ труповъ, и вообще въ ней нѣтъ рѣшительно ничего привлекательнаго и поэтическаго.

Еще болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ предлагаемая знанія, произвелъ на меня методъ, царившій въ этихъ знаніяхъ. Онъ велъ впередъ осторожно и неуклонно, не оставляя безъ тщательной провѣрки самой ничтожной мелочи, строго контролируя каждый шагъ опытомъ и наблюде-

ніемъ; и то, что въ этомъ пути было пройдено, было пройдено окончательно, возможности не было, что придется воротиться назадъ. Методъ этотъ такъ обаятельно дѣйствовалъ на умъ потому, что являлся не въ видѣ школьныхъ правилъ отвлеченной логики, а съ необходимостью вытекалъ изъ самой сути дѣла: каждый фактъ, каждое объясненіе факта какъ будто сами собою твердили золотыя слова Бэкона: „*non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, quid natura faciat aut ferat*,—не выдумывать, не измышлять, а искать, что дѣлаетъ и несетъ съ собою природа“. Можно было не знать даже о существованіи логики,—сама наука заставила бы усвоить свой методъ успѣшнѣе, чѣмъ самый обстоятельный трактатъ о методахъ; она настолько воспитывала умъ, что всякое уклоненіе отъ прямого пути въ ней же самой,—въ родѣ „непрерывной зародышевой плазмы“ Вейсмана или теорій зрѣнія,—прямо рѣзало глаза свою ненаучностью.

На второмъ курсѣ подготовительные, теоретическіе предметы закончились. Я сдалъ полуплекарскій экзаменъ. Начались занятія въ клиникахъ.

Здѣсь характеръ получаемыхъ знаній рѣзко измѣнился. вмѣсто отвлеченной науки, на первый планъ выдвинулся живой человѣкъ; теоріи воспаления, микроскопическіе препараты опухолей и бактеріи смѣнились подлинными язвами и ранами. Больные, искалѣченные, страдающіе люди безкопечною вереницею потянулись передъ глазами; легкихъ больныхъ въ клиники не принимаютъ,—все это были страданія тяжелыя, серьезныя. Ихъ

обиліе и разнообразіе произвели на меня ошеломляющее дѣйствіе; меня поразило, какая существуетъ масса страданій, какое разнообразіе самыхъ утонченныхъ, невѣроятныхъ мукъ, заготовила намъ природа,—мукъ, при одномъ взглядѣ на которыя на душѣ становилось жутко.

Вскорѣ послѣ начала клиническихъ занятій въ клинику старшихъ курсовъ былъ положенъ огорожникъ, заболѣвшій столбнякомъ. Мы ходили смотрѣть его. Въ палатѣ стояла тишина. Больной былъ мужикъ громаднаго роста, плотный и мускулистый, съ загорѣлымъ лицомъ; весь облитый потомъ, съ губами, перекошенными отъ безумной боли, онъ лежалъ на спинѣ, ворочая глазами; при малѣйшемъ шумѣ, при звонѣ конки на улицѣ или стукѣ двери внизу, больной начиналъ медленно выгибаться: затылокъ его сводило назадъ, челюсти судорожно впились одна въ другую, такъ что зубы трещали, и страшная, длительная судорога спинныхъ мышцъ приподнимала его тѣло съ постели; отъ головы во всѣ стороны расходилось по подушкѣ мокрое пятно отъ пота. Двѣ недѣли назадъ, больной работалъ босикомъ на огородѣ и занозилъ себѣ большой палецъ ноги; эта пустячная запоза вызвала то, что я теперь видѣлъ.

Ужасно было не только то, что существуютъ подобныя муки; еще ужаснѣе было то, какъ *легко* онѣ приобрѣтаются, какъ мало гарантированы отъ нихъ самый здоровый человѣкъ. Двѣ недѣли назадъ всякій бы позавидовалъ богатырскому здоровью этого самаго огородника... Шелъ по двору крѣпкій парень-конюхъ, поскользнулся и ударился

спиною о корыто; и вотъ онъ уже шестой годъ лежитъ у насъ въ клиникѣ: ноги его висятъ, какъ плети, больной ими не можетъ двинуть, онъ мочится и ходитъ подъ себя; безпомощный, какъ грудной ребенокъ, онъ лежитъ такъ дни, мѣсяцы, годы, лежитъ до пролежней, и нѣтъ надежды, что когда-нибудь воротится прежнее... Вотъ акцизный чиновникъ съ воспаленіемъ сѣдалищнаго нерва, доведенный страданіями до бѣшенства, кричитъ профессору:

— Подлецы вы всѣ, шарлатаны! Да убейте же вы меня, ради Создателя,—одного только я у васъ прошу!

Въ хорошій лѣтній вечеръ онъ посидѣлъ на росистой травѣ...

Каждую минуту, на каждомъ шагу насъ подстерегаютъ опасности; защититься отъ нихъ невозможно, потому что онѣ слишкомъ разнообразны, бѣжать некуда, потому что онѣ вездѣ. Само здоровье наше—это не спокойное состояніе организма; при глотаніи, при дыханіи въ насъ ежеминутно проникаютъ мириады бактерій, внутри нашего тѣла непрерывно образуются самые сильные яды; незамѣтно для насъ, всѣ силы нашего организма ведутъ отчаянную борьбу съ вредными веществами и вліяніями, и мы никогда не можемъ считать себя обезпеченными отъ того, что, можетъ быть, вотъ въ эту самую минуту силъ организма не хватило, и наше дѣло проиграно. И тогда изъ небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокрое, незначительный ушибъ ведетъ къ

образованію рака или саркомы, легкій бронхитъ отъ открытой форточки переходитъ въ чахотку...

Нужны какія-то идеальныя, для нашей жизни совершенно необычныя условія, чтобы болѣзнь стала дѣйствительно „случайностью“; при настоящихъ же условіяхъ болѣютъ всѣ: бѣдные болѣютъ отъ нужды, богатые—отъ довольства; работающіе — отъ напряженія, бездѣльники — отъ праздности; неосторожные—отъ неосторожности, осторожные—отъ осторожности. Во всѣхъ людяхъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ гнѣздится разрушеніе, организмъ начинаетъ разлагаться, даже не успѣвъ еще развиться. Въ Бостонѣ были изслѣдованы зубы у четырехъ тысячъ школьничковъ, и оказалось, что здоровые зубы, особенно у дѣтей старше десяти лѣтъ, *составляютъ исключеніе*; въ Баваріи среди пятисотъ учениковъ народныхъ школъ было найдено лишь *трое* съ совершенно здоровыми зубами. Д-ръ Бабесъ вскрылъ въ Будапештской больницѣ сто дѣтскихъ труповъ, и у семидесяти четырехъ изъ нихъ онъ нашелъ въ бронхіальныхъ железахъ туберкулезныя палочки; а всѣ эти сто дѣтей умерли отъ различныхъ нетуберкулезныхъ болѣзней... Ужъ дѣти встаютъ послѣ сна съ „заспанными“, гноящимися глазами; уже ребенкомъ, каждый страдаетъ хроническимъ насморкомъ и не можетъ обойтись безъ носового платка,—всѣхъ прямо удивила бы мысль, что здоровому человѣку носовой платокъ совершенно ненуженъ. Что же касается достигшихъ зрѣлости женщинъ, то онѣ уже нормально, фізіологически, осуждены каждый мѣсяць болѣть въ теченіе нѣсколькихъ дней...

Съ новымъ и страннымъ чувствомъ я приглядывался къ окружающимъ меня людямъ, и меня все больше поражало, какъ мало среди нихъ здоровыхъ; почти каждый чѣмъ-нибудь, да былъ боленъ. Міръ начиналъ казаться мнѣ одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомнѣннѣе: нормальный человекъ—это человекъ больной; здоровый представляетъ собою лишь счастливое уродство, рѣзкое уклоненіе отъ нормы.

Когда я въ первый разъ приступилъ къ изученію теоретическаго акушерства, я, раскрывъ книгу, просидѣлъ за нею всю ночь напролетъ; я не могъ отъ нея оторваться; подобный тяжелому горячечному кошмару, развертывался предо мною „нормальный“, „физиологическій“ процессъ родовъ. Брюшные органы, скомканные и придавленные беременною маткою, типически-болѣзненные родовыя потуги, весь этотъ ужасный путь, который ребенокъ проходитъ при родахъ, это невѣроятное несоотвѣтствіе размѣровъ, — все здѣсь было чудовищно-ненормально, вплоть до тѣхъ рубцовъ на животѣ, по которымъ узнается хоть разъ рожавшая женщина... Помню хорошо, какъ сегодня, и первые роды, на которыхъ я присутствовалъ. Роженица была молодая женщина, жена мелкаго почтоваго чиновника, второродящая. Она лежала на спинѣ, съ обнаженнымъ громаднымъ животомъ, безпомощно уронивъ руки, съ выступившими на лбу капельками пота; когда ее схватывали потуги, она сгибалась колѣни и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала.

— Ну, ну, сударыня, потерпите немножко! — невозмутимо спокойнымъ голосомъ уговаривалъ ее ассистентъ.

Ночь была безконечно длинна. Роженица ужъ перестала сдерживаться; она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая пальцы; стоны отдавались въ коридоръ и замирали гдѣ-то далеко подъ сводами. Послѣ одного особенно сильнаго приступа потугъ больная схватила ассистента за руку; блѣдная, съ измученнымъ лицомъ, она смотрѣла не него жалкимъ, умоляющимъ взглядомъ.

— Докторъ, скажите, я не умру?—спрашивала она съ тоскою.

Утромъ въ клинику пришелъ навѣдаться о состояніи роженицы ея мужъ, взволнованный и растерянный. Я присматривался къ нему съ тяжелымъ, непріязненнымъ чувствомъ; это былъ у нихъ второй ребенокъ,—значить, онъ *зналъ*, что женѣ его предстоятъ всѣ эти муки, и все-таки пошелъ на это... Только поздно вечеромъ роды стали приходить къ концу. Показалась головка, все тѣло роженицы стало судорожно сводиться въ отчаянныхъ усиліяхъ вытолкнуть изъ себя ребенка; ребенокъ, наконецъ, вышелъ; онъ вышелъ съ громадною кровяною опухолью на лѣвой сторонѣ затылка, съ изуродованнымъ, длиннымъ черепомъ. Роженица лежала въ забытіи, съ надорванною промежностью, плавая въ крови.

— Роды были легкіе и мало-интересные,—сказалъ ассистентъ.

Это все тоже было „нормально“!.. И дѣло тутъ не въ томъ, что „цивилизациа“ сдѣлала роды труд-

нѣе: въ тяжелыхъ мукахъ женщины рожали всегда, и ужь древній человѣкъ былъ пораженъ этою странностью и не могъ объяснить ее иначе, какъ проклятіемъ Бога.

Описанныя впечатлѣнія ложились на душу одно за другимъ, безъ перерыва, все усиливая густоту красокъ.

Однажды ночью я проснулся. Мнѣ снилось, что я шелъ по какому-то узкому, темному переулку; на меня наѣхала карета, ударила дышломъ въ бокъ, и у меня образовался *pneumothorax*. Я сълъ на постели. Блѣдная ночь смотрѣла въ окно; вентиляторъ, перетершій смазку, наполнялъ тишину яростнымъ, прерывистымъ хрипомъ; въ кухнѣ плакалъ больной ребенокъ квартирной хозяйки. Все видѣнное и передуманное въ послѣднее время вдругъ встало предо мною, и я ужаснулся, до чего человѣкъ не защищенъ отъ случайностей, на какомъ тонкомъ волоскѣ виситъ всегда его здоровье. Только бы его, здоровья—съ нимъ ничего не страшно, никакія испытанія; его потерять—значить потерять все; безъ него нѣтъ свободы, нѣтъ независимости, человѣкъ становится рабомъ окружающихъ людей и обстановки; оно—высшее и необходимѣйшее благо, а между тѣмъ удержать его такъ трудно! Пришлось бы *всю жизнь*, всѣ свои силы положить на это; но вѣдь обидно же и смѣшно ставить себѣ это цѣлью жизни. Притомъ, все равно, ничего не достигнешь даже въ томъ случаѣ, если только для этого и жить. Беречься? Но этимъ теряешь приспособляемость: птица безнаказанно спитъ подъ дождемъ, мокрая до послѣдняго пе-

рышка, — мы бы при такихъ условіяхъ получили смертельную простуду. Да и какъ беречься? Мы *ничего* не знаемъ, отчего происходитъ ракъ, саркома, масса нервныхъ страданій, сахарная болѣзнь, большинство мучительныхъ кожныхъ болѣзней. Какъ не берегись, а, можетъ быть, черезъ годъ въ это время я ужъ буду лежать, пораженный *remphigo foliaceo*; вся кожа при этой болѣзни покрывается вялыми пузырями; пузыри лопаются и обнажаютъ подкожный слой, который больше не зарастаетъ; и человѣкъ, лишенный кожи, не знаетъ, какъ сѣсть, какъ лечь, потому что самое легкое прикосновеніе къ тѣлу вызываетъ жгучія боли. Объ этомъ смѣшно думать? Но вѣдь и тотъ больной съ *remphigus*'омъ, котораго я на-дняхъ видѣлъ въ клиникѣ, полгода назадъ тоже былъ совершенно здоровъ и не ждалъ бѣды. Ни одинъ часъ здоровья намъ не гарантированъ. Между тѣмъ хочется жить, жить и быть счастливымъ, а это невозможно... И для чего любовь со всею поэзіей и счастьемъ? для чего любовь, если отъ нея столько мукъ? Да неужели же „любовь“ является не насмѣшкою надъ любовью, если человѣкъ рѣшается причинить любимой женщинѣ тѣ муки, которыя я видѣлъ въ акушерской клиникѣ? Странанье, странанье безъ конца, странанье во всевозможныхъ видахъ и формахъ, — вотъ въ чемъ вся суть и вся жизнь человѣческаго организма.

Вскорѣ это страданіе встало предо мною въ реальной формѣ. У меня на лѣвой рукѣ подмышкою находится небольшая родинка; ни съ того, ни съ сего она вдругъ начала расти, стала болѣзнен-

ной; я боялся вѣрить глазамъ, но она съ каждымъ днемъ увеличивалась и становилась все болѣзненнѣе; опухоль достигла величины лѣсного орѣха. Сомнѣнія быть не могло: изъ родинки у меня развивалась саркома, та страшная меланосаркома, которая обыкновенно и развивается изъ невинныхъ родинокъ. Какъ на эшафотъ, пошелъ я на пріемъ къ нашему профессору-хирургу.

— Профессоръ, у меня, кажется... саркома на рукѣ,—сказалъ я обрывающимся голосомъ.

Профессоръ внимательно посмотрѣлъ на меня.

-- Вы медикъ третьяго курса?—спросилъ онъ.

— Да.

— Покажите вашу саркому.

Я раздѣлся. Профессоръ срѣзалъ пожнницами тонкую ножку, на которой держалась опухоль.

— Вы себѣ натерли родинку рукавомъ, больше ничего. Возьмите себѣ на память вашу саркому,—добродушно улыбнулся онъ, подавая мнѣ маленькій мясистый комочекъ.

Я ушелъ, сконфуженный и радостный, и стыдно мнѣ было за мою ребяческую мнительность. Но спустя нѣкоторое время я сталъ замѣчать, что со мною творится что-то неладное: появилась общая вялость и отвращеніе къ труду, аппетитъ былъ плохъ, меня мучила постоянная жажда; я началъ худѣть, по тѣлу то тамъ, то здѣсь стали образовываться нарывы; мочеотдѣленіе было очень обильно; я изслѣдовалъ мочу на сахаръ,—сахару не оказалось. Всѣ симптомы весьма подходили къ несахарному мочеизнуренію (*diabetes insipidus*). Съ тяжелымъ чувствомъ перечитывалъ я главу объ

этой болѣзни въ учебникѣ Штрюмпеля: „Причины несахарнаго мочеизнуренія еще совершенно темны... Большинство больныхъ принадлежитъ къ юношескому и среднему возрасту, мужчины подвержены этой болѣзни нѣсколько чаще женщинъ... Родство этой болѣзни съ сахарною болѣзнью очевидно; иногда одна изъ нихъ переходитъ въ другую... Болѣзнь можетъ тянуться годы и даже десятки лѣтъ; исцѣленія крайне рѣдки“...

Я пошелъ къ профессору-терапевту. Не высказывая своихъ подозрѣній, я просто рассказалъ ему все, что со мною дѣлается. По мѣрѣ того, какъ я говорилъ, профессоръ все больше хмурился.

— Вы полагаете, что у васъ *diabetes insipidus*, — рѣзко сказалъ онъ.—Это очень хорошо, что вы такъ прилежно изучаете Штрюмпеля: вы не забыли рѣшительно ни одного симптома. Желаю вамъ такъ же хорошо отвѣтить о диабетѣ на экзаменѣ. Поменьше курите, больше ѣшьте и двигайтесь, и бросьте думать о диабетѣ.

II.

Предметомъ нашего изученія сталъ живой, страдающій человекъ. На эти страданія было тяжело смотрѣть; но вначалѣ еще тяжелѣе было то, что именно эти-то страданія и нужно было изучать. У больного съ вывихомъ плеча—порокъ сердца, хлороформировать нельзя, и вывихъ вправляютъ безъ наркоза; фельдшера крѣпко вцѣпились въ больного, онъ бьется и вопить отъ боли, а нужно внимательно слѣдить за пріемами профессора, вправ-

ляющаго вывихъ; нужно быть глухимъ къ воплямъ оперируемаго, не видѣть корчащагося отъ боли тѣла, душить въ себѣ жалость и волненіе. Съ непривычки это было очень трудно, и вниманіе постоянно двоилось; приходилось убѣждать себя, что вѣдь это *не мнѣ* больно, что вѣдь я самъ совершенно здоровъ, а больно *другому*. Потоки крови при хирургическихъ операціяхъ, стоны роженницъ, судороги столбнячнаго больного—все это вначалѣ сильно дѣйствовало на нервы и мѣшало изученію; ко всему этому нужно было привыкнуть.

Впрочемъ, привычка эта вырабатывается скорѣе, чѣмъ можно бы думать, и я не знаю случая, чтобы медикъ, одолѣвшій препаровку труповъ, отказался отъ врачебной дороги вслѣдствіе неспособности привыкнуть къ стонамъ и крови. И слава Богу, разумѣется, потому, что такое относительное „очерствѣніе“ не только необходимо, но прямо желательно; объ этомъ не можетъ быть и спора. Но въ изученіи медицины на больныхъ есть другая сторона, несравненно болѣе тяжелая и сложная, въ которой далеко не все столь же безспорно.

Мы учимся на больныхъ; съ этою цѣлью больные и принимаются въ клиники; если кто изъ нихъ не захочетъ показываться и давать себя изслѣдовать студентамъ, то его немедленно, безъ всякихъ разговоровъ, удаляютъ изъ клиники. Между тѣмъ такъ ли для больного безразличны всѣ эти изслѣдованія и демонстраціи?

Разумѣется, больного при этомъ стараются по возможности щадить. Но прежде всего это не всегда выполнимо; по необходимости приходится

переступать границу, если, напримѣръ, больной страдаетъ рѣдкою, поучительною болѣзнию или если въ клиникѣ мало матеріала; послѣднее же случается не только въ маленькихъ университетскихъ городахъ, но и въ столичныхъ; такъ, вотъ что мы узнаемъ изъ рапорта проф. Эйхвальда въ конференцію Медико-Хирургической Академіи: въ 70-хъ годахъ первое терапевтическое отдѣленіе клиническаго госпиталя одновременно служило матеріаломъ для упражненій студентовъ третьяго курса, пятого и учащихъ женщинъ, „что, конечно, было очень обременительно для больныхъ. Послѣдніе не только жаловались неоднократно на эти упражненія, приписывая имъ ухудшеніе своего состоянія, но даже нерѣдко требовали на этомъ основаніи выписки изъ клиники“.

Въ общемъ, однако, должно признать, что подобные случаи представляютъ исключеніе; обыкновенно при учебныхъ изслѣдованіяхъ больного строго соблюдается правило, чтобы эти изслѣдованія не причиняли ему ни малѣйшаго вреда. Но дѣло тутъ не въ одномъ только непосредственномъ вредѣ. Передо мною встаетъ полутемная палата во время вечерняго обхода; мы стоимъ съ стетоскопами въ рукахъ вокругъ ассистента, который демонстрируетъ намъ на больномъ амфорическое дыханіе. Больной, рабочій бумагопрядильной фабрики,—въ послѣдней стадіи чахотки; его молодое, страшно исхудалое лицо слегка спянушно; онъ дышитъ быстро и поверхностно, въ глазахъ, устремленныхъ въ потолокъ,—сосредоточенное, ушедшее въ себя страданіе.

— Если вы приставите стетоскопъ къ груди больного, — объясняетъ ассистентъ, — и въ то же время будете постукивать рядомъ ручкою молоточка по плессиметру, то услышите ясный, металлическій, такъ назыв. „амфорическій“ звукъ... Пожалуйста, коллега!—обращается онъ къ студенту, указывая на больного.—Ну-ка, голубчикъ, повернись на бокъ!.. Поднимись, сядь!..

И рѣжущимъ глаза контрастомъ представляется это одинокое страданіе, служащее предметомъ равнодушныхъ объясненій и упражненій; кто другой, а самъ больной чувствуетъ этотъ контрастъ очень сильно.

На тяжелыхъ больныхъ, въ учебномъ отношеніи какъ разъ особенно цѣнныхъ, всякое изслѣдованіе не въ цѣляхъ леченія дѣйствуетъ крайне угнетающимъ образомъ. Насколько сильно въ нихъ отвращеніе къ такого рода изслѣдованіямъ, лучше всего показываетъ то обстоятельство, что сколько-нибудь состоятельные люди именно по этой причинѣ не ложатся въ клиники, хотя во всѣхъ другихъ отношеніяхъ въ клиникѣ они найдутъ больше удобствъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Въ 1878 году при Медико-Хирургической Академіи была образована комиссія для изысканія средствъ къ увеличенію больничнаго матеріала въ клиническомъ госпиталѣ. Комиссія предложила, между прочимъ, увеличить въ госпиталѣ число бесплатныхъ мѣстъ; „учрежденіе платныхъ мѣстъ,—заявила она,—непрактично, ибо люди состоятельные не идутъ въ клиники изъ опасенія, что изслѣдованія и упражненія учащихся причинятъ имъ

безпокойство“. Въ 1880 году конференція возбудила новое ходатайство объ увеличеніи числа бесплатныхъ гражданскихъ мѣстъ, ссылаясь на то, что „платныя мѣста остаются почти весь годъ незанятыми“.

Бесплатныя мѣста, разумѣется, никогда не останутся незанятыми,—объ этомъ ужъ позаботится всемогущая царица-нужда... Говорятъ: больному всѣ эти изслѣдованія и упражненія, можетъ быть, и непріятны, но зато онъ даромъ лечится въ клиникѣ и пользуется образцовымъ уходомъ. Совершенно вѣрно; но состоятельные люди пользуются образцовымъ уходомъ *безъ этого*; и у меня не разъ возникалъ вопросъ,—что стало бы съ медицинскою школою, если бы всѣ были состоятельны? Вѣроятно, ей пришлось бы очень круто; по крайней мѣрѣ, ужъ и въ настоящее время замѣчаются попытки огражденія больныхъ отъ изслѣдованія ихъ съ учебными цѣлями. Такъ, на примѣръ, въ 1893 году въ Берлинѣ произошла стачка рабочихъ кассъ противъ больницы Charité; въ числѣ требованій, выставленныхъ стачечниками, было такое: „больнымъ должна быть предоставлена полная свобода соглашаться или не соглашаться на пользованіе ими для цѣлей преподаванія“. Если бы больнымъ была вездѣ предоставлена такая свобода, то многіе и многіе изъ нихъ отвѣтили бы намъ: „Оставьте меня въ покоѣ; я понимаю, что для науки это нужно, но мнѣ слишкомъ тяжело, и мнѣ не до науки“.

Но вотъ больной умираетъ. Тѣ же правила, которыя требуютъ отъ больныхъ, чтобъ они без-

прекословно давали себя изслѣдовать учащимся, предписываютъ также обязательное вскрытіе всякаго, умершаго въ университетской больницѣ.

Каждый день по утрамъ въ прихожей и у подъѣзда клиники можно видѣть просительницъ, цѣлыми часами поджидающихъ ассистента. Когда ассистентъ проходитъ, онѣ останавливаютъ его и спрашиваютъ отдать имъ безъ вскрытія умершаго ребенка, мужа, мать. Здѣсь иногда приходится видѣть очень тяжелыя сцены... Разумѣется, на всѣ просьбы слѣдуетъ категорическій отказъ. Не добившись ничего отъ ассистента, просительница идетъ дальше, мечется по всѣмъ начальствамъ, добирается до самого профессора и падаетъ ему въ ноги, умоляя не вскрывать умершаго:

— Вѣдь болѣзнь у него извѣстная,— что жъ его еще послѣ смерти терзать?

И здѣсь, конечно, она встрѣчаетъ тотъ же отказъ: вскрыть умершаго необходимо,—безъ этого клиническое преподаваніе теряетъ всякій смыслъ. Но для матери вскрытіе ея ребенка часто составляетъ не меньшее горе, чѣмъ сама его смерть; даже интеллигентныя лица большею частью крайне неохотно соглашаются на вскрытіе близкаго чловѣка, для невѣжественнаго же бѣдняка оно кажется чѣмъ-то прямо ужаснымъ; я не разъ видѣлъ, какъ фабричная, зарабатывающая по сорокъ копѣекъ въ день, совала ассистенту трехрублевку, пытаясь взяткою спасти своего умершаго ребенка отъ „поруганія“. Конечно, такой взглядъ на вскрытіе—предразсудокъ, но горе матери отъ этого не

легче. Вспомните вопль некрасовской Тимофеевны надъ умершимъ Демушкой:

Я не ропщу,
Что Богъ прибрать младенчика,
А больно то, зачѣмъ они
Ругались надъ нимъ?
Зачѣмъ, какъ черны вороны,
На части тѣло бѣлое
Терзали?... Неужли
Ни Богъ, ни царь не вступятся?..

Однажды лѣтомъ я былъ на вскрытіи дѣвочки, умершей отъ крупознаго воспаленія легкихъ. Большинство товарищей разѣхалось на каникулы, присутствовали только ординаторъ и я. Служитель огромнаго роста, съ черпой бородой, вскрылъ трупъ и вынулъ органы. Умершая лежала съ запрокинутою назадъ головою, широко зіяя окровавленной грудобрюшною полостью; на бѣломъ мраморѣ стола, въ лужахъ алой крови, темнѣли внутренности. Прозекторъ разрѣзывалъ ножомъ па деревянной доскѣ правое легкое.

— Вы что тутъ дѣлаете, а?—вдругъ раздался въ дверяхъ задыхающійся голосъ.

На порогѣ стоялъ человѣкъ въ пиджакѣ, съ рыжею бородкою; лицо его было смертельно-блѣдно и искажено ужасомъ. Это былъ мѣщанинъ-сапожникъ, отецъ умершей дѣвочки; онъ шелъ въ покойницкую узнать, когда можно одѣвать умершую, ошибся дверью и попалъ въ секціонную.

— Что вы тутъ дѣлаете, разбойники?!—завопилъ онъ, трясясь и уставясь на насъ широко

раскрытыми глазами. У прозектора замерь пожь въ рукѣ.

— Ну, ну, чего тебѣ тутъ? Ступай! — сказала поблѣднѣвшій служитель, идя навстрѣчу мѣщанину.

— Ребятъ здѣсь свѣжуете, а?!—кричалъ тотъ съ какимъ-то плачущимъ воемъ, судорожно топаясь на мѣстѣ и тряся сжатыми кулаками. — Вы что съ моей дѣвочкой подѣлали?

Онъ рванулся впередъ. Служитель схватилъ его сзади подмышки и потащилъ вонъ: мѣщанинъ уцѣпился руками за косякъ двери и закричалъ: „карауль!...“

Служителю удалось, наконецъ, вытолкать его въ коридоръ и запереть дверь на ключъ. Мѣщанинъ долго еще ломился въ дверь и кричалъ „карауль“, пока прозекторъ не крикнулъ въ окно сторожей, которые увели его.

Если у этого человѣка заболѣетъ другой ребенокъ, то онъ разорится на леченіе, предоставитъ ребенку умереть безъ помощи, но въ клинику его не повезетъ: для отца это поруганіе дорогого ему трупа — слишкомъ высокая плата за леченіе.

Сказать кстати, право вскрывать умершихъ больныхъ присвоили себѣ, помимо клиникъ, и вообще всѣ больницы,—присвоили совершенно самовольно, потому что законъ имъ такого права не даетъ; обязательныя вскрытія производятся по закону только въ судебно-медицинскихъ цѣляхъ. Но я не знаю ни одной больницы, гдѣ бы по желанію родственниковъ умершій выдавался имъ

безъ вскрытія; сами же родственники и не подозреваютъ, что они имѣютъ право *требовать* этого. Вскрытіе каждаго больного, хотя бы умершаго отъ самой „обыкновенной“ болѣзни, чрезвычайно важно для врача: оно указываетъ ему его ошибки и способы избѣжать ихъ, приучаетъ къ болѣе внимательному и всестороннему изслѣдованію больного, даетъ ему возможность уяснить себѣ во всѣхъ деталяхъ анатомическую картину каждой болѣзни; безъ вскрытій не можетъ выработаться хорошій врачъ, безъ вскрытій не можетъ развиваться и совершенствоваться врачебная наука. Необходимо, чтобы всѣ это понимали какъ можно яснѣе и добровольно соглашались на вскрытіе близкихъ. Но покамѣстъ этого нѣтъ; и вотъ, больницы достигаютъ своего тѣмъ, что вскрываютъ умершихъ помимо согласія родственниковъ; послѣдніе унижаются, становятся передъ врачами на колѣни, суютъ имъ взятки,—все напрасно; изъ боязни вскрытія, близкіе нерѣдко всѣми мѣрами противятся помѣщенію больного въ больницу, и онъ гибнетъ дома вслѣдствіе плохой обстановки и неразумнаго ухода... Въ больницѣ, гдѣ я впоследствии работалъ, произошелъ однажды такой случай: лежалъ у насъ мальчикъ лѣтъ пяти съ брюшнымъ тифомъ; у него появились признаки прободенія кишечника; въ такихъ случаяхъ прежде всего необходимъ абсолютный покой больного. Вдругъ мать потребовала у дежурнаго врача немедленной выписки ребенка; никакихъ уговоровъ она не хотѣла слушать: „все равно ему помирать, а дома помретъ, такъ хоть не будутъ анатомиро-

вать“. Дежурный врачъ былъ принужденъ выпи- сать мальчика; по дорогѣ домой онъ умеръ... Это происшествіе вызвало среди врачей нашей боль- ницы много толковъ; говорили, разумѣется, о ди- кости и жестокости русскаго народа, обсуждали вопросъ, имѣлъ ли право дежурный врачъ выпи- сать больного, виновать ли онъ въ смерти ребенка нравственно или юридически, и т. п. Но вѣдь тутъ интересенъ и другой вопросъ: насколько долженъ былъ быть силенъ страхъ матери передъ вскры- тіемъ, если для избѣжанія его она рѣшилась по- ставить на карту даже жизнь своего ребенка! Де- журный врачъ, конечно, былъ человекъ не „дикій“ и не „жестокій“; но характерно, что ему и въ го- лову не пришелъ самый, казалось бы, естественный выходъ: обязаться передъ матерью, въ случаѣ смерти ребенка, не вскрывать его.

Но кому особенно приходится терпѣть изъ-за того, что мы принуждены изучать медицину на людяхъ,—это лечащимся въ клиникѣ женщинамъ. Тяжело вспоминать, потому что приходится крас- нѣть за себя; но я сказала, что буду писать *все*.

Пропедевтическая клиника. На эстраду къ про- фессору, въ сопровожденіи двухъ студентовъ-ку- раторовъ, вошла молодая женщина, больная плев- ритомъ. Прочитавъ анамнезъ, студентъ подошелъ къ больной и дотронулся до закутывавшаго ея плечи платка, показывая жестомъ, что нужно раз- дѣться. Мнѣ кровь бросилась въ лицо: это былъ первый случай, когда передъ нами вывели моло- дую пациентку. Больная сняла платокъ, кофточку и спустила до пояса рубашку; лицо ея было спо-

койно и гордо. Ее начали выстукивать, выслушивать. Я сидѣлъ, весь красный, стараясь не смотреть на больную; мнѣ казалось, что взгляды всѣхъ товарищей устремлены на меня; когда я поднималъ глаза, передо мною было все то же гордое, холодное, прекрасное лицо, склоненное надъ блѣдною грудью; какъ будто совсѣмъ не ея тѣло ощущивали эти чужія мужскія руки. Наконецъ, лекція кончилась. Вставая, я встрѣтился взглядомъ съ сосѣдомъ - студентомъ, мнѣ почти незнакомымъ; какъ-то вдругъ мы прочли другъ у друга въ глазахъ одно и то же, враждебно переглянулись и быстро отвели взгляды въ сторону.

Было ли во мнѣ какое-нибудь сладострастное чувство въ то время, когда больная обнажалась на нашихъ глазахъ? Было, но очень мало; главное, что было,—это *страхъ* его. Но потомъ, дома, воспоминаніе о происшедшемъ приняло тонко-сладострастный оттѣнокъ, и я съ тайнымъ удовольствіемъ думалъ о томъ, что впереди предстоитъ еще много подобныхъ случаевъ.

И случаевъ, разумѣется, было очень много. Особенно помнится мнѣ одна больная, Анна Грачева, поразительно-хорошенькая дѣвушка лѣтъ восемнадцати. У нея былъ порокъ сердца съ очень характернымъ предсистолическимъ шумомъ; профессоръ рекомендовалъ намъ почаще выслушивать ее. Подойдешь къ ней,—она послушно и спокойно скидываетъ рубашку и сидитъ на постели, обнаженная до пояса, пока мы одинъ за другимъ выслушиваемъ ее. Я старался смотреть на нее глазами врача, но я не могъ не видѣть, что у нея

красивыя плечи и грудь, я не могъ не видѣть, что и товарищи мои что-то ужъ слишкомъ интересуются преденстолическимъ шумомъ, и мнѣ было стыдно этого. И именно потому, что я чувствовалъ печистоту нашихъ взглядовъ, мнѣ особенно больно становилось за эту дѣвушку: какая сила заставляетъ ее обпажаться передъ нами, пройдетъ ли для нея все это даромъ? И я старался прочесть на ея краснвомъ, почти еще дѣтскомъ лицѣ всю исторію ея пребыванія въ нашей клиникѣ,—какъ возмутилась она, когда впервые была принуждена предстать передъ всѣми нагою, и какъ ей пришлось примириться съ этимъ, потому что дома нѣтъ средствъ лечиться, и какъ постепенно она привыкла...

На амбулаторный пріемъ нашего профессора-сифилидолога пришла молодая женщина съ запискою отъ врача, который просилъ профессора опредѣлить, не сифилитическаго ли происхожденія сыпь у больной.

— Гдѣ у васъ сыпь?—спросилъ профессоръ большую.

— На рукѣ.

— Ну, это пустяки. Бывшіе фурункулы. Еще гдѣ?

— На груди,—запнувшись, отвѣтила больная.— Но тамъ совсѣмъ то же самое.

— Покажите!

— Да тамъ то же самое, нечего показывать,—возразила больная, краснѣя.

— Ну, а вы намъ все-таки покажите: мы о-чень любопытны!—съ юмористическою улыбкою произнесъ профессоръ.

Послѣ долгаго сопротивленія больная, наконецъ, сняла кофточку.

— Ну, это тоже пустяки,—сказаль профессоръ.— Больше нигдѣ нѣтъ? Скажите вашему доктору, что у васъ нѣтъ ничего серьезнаго.

Тѣмъ временемъ ассистентъ, оттянувъ у больной сзади рубашку, осмотрѣль ея спину.

— Сергѣй Ивановичъ, вотъ еще!—вполголоса произнесъ онъ.

Профессоръ заглянулъ больной за рубашку.

— А-а, это дѣло другое!—сказаль онъ.— Раздѣньтесь совсѣмъ,—пойдите за ширмочку... Слѣдующая!

Больная медленно ушла за ширму. Профессоръ осмотрѣль нѣсколько другихъ больныхъ.

— Ну, а что та наша больная? Раздѣлась она?—спросилъ онъ.

Ассистентъ побѣжалъ за ширму. Больная стояла одѣтая и плакала. Онъ заставилъ ее раздѣться до рубашки. Больную положили на кушетку и, раздвинувъ ноги, стали осматривать; ее осматривали долго,—осматривали мерзко, гнусно...

— Одѣвайтесь!—сказаль наконецъ профессоръ.— Трудно еще, господа, сказать что-нибудь опредѣленное,—обратился онъ къ намъ, вымывъ руки и вытирая ихъ полотенцемъ.— Вотъ что, голубушка,—приходите-ка къ намъ еще разъ черезъ недѣлю.

Больная уже одѣлась. Она стояла, тяжело дыша и неподвижно глядя въ полъ широко открытыми глазами.

— Нѣтъ, я больше не приду!—отвѣтила она дрожащимъ голосомъ и быстро повернувшись, ушла.

— Чего это она?—съ недоумѣніемъ спросилъ профессоръ, оглядывая насъ.

Въ тотъ же день, вечеромъ, ко мнѣ зашла одна знакомая курсистка. Я рассказала ей описанный случай.

— Да, тяжело!—сказала она.—Но въ концѣ концовъ, что же дѣлать? Иначе учиться нельзя,—приходится мириться съ этимъ.

— Совершенно вѣрно. Но отвѣтите мнѣ вотъ на что: если бы *вамъ* предстояло нѣчто подобное,—только представьте себѣ это ясно,—пошли ли бы вы къ намъ?

Она помолчала.

— Не пошла бы... Ни за что!—виновато улыбнулась она, съ дрожью поведя плечами.—Лучше бы умерла!

А вѣдь она глубоко уважала науку и понимала, что „иначе учиться нельзя“. Та же ничего этого не понимала; она только знала, что ей нечѣмъ заплатить частному доктору и что у нея трое дѣтей.

Эта-то нужда и гонитъ бѣдняковъ въ клиники, на пользу науки и школы. Они не могутъ заплатить за леченіе деньгами, и имъ приходится платить за него своимъ тѣломъ. Но такая плата для многихъ слишкомъ тяжела, и они предпочитаютъ умирать безъ помощи. Вотъ что, напримѣръ, говоритъ извѣстный нѣмецкій гинекологъ, проф. Гофмейеръ: „Преподаваніе въ женскихъ клиникахъ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, затруднено естественною стыдливостью женщинъ и вполне понятнымъ отращеніемъ ихъ къ демонстраціямъ передъ студентами. На основаніи своего опыта я думаю, что

въ маленькихъ городкахъ вообще едва ли было бы возможно вести гинекологическую клинику, если бы всѣ безъ исключенія пациентки не хлороформировались для цѣлей изслѣдованія. Притомъ изслѣдованіе, особенно производимое неопытною рукою, часто крайне чувствительно, а изслѣдованіе большимъ количествомъ студентовъ въ высшей степени неприятно. На этомъ основаніи въ большинствѣ женскихъ клиникъ пациентки демонстрируются и изслѣдуются подъ хлороформомъ... Менѣе всего непосредственно примѣнима для преподаванія гинекологическая амбулаторія, по крайней мѣрѣ, въ маленькихъ городкахъ. Кто хочетъ получить отъ нея дѣйствительную пользу, долженъ самъ изслѣдовать больныхъ. А именно это особенно неприятно для больныхъ. *Страгъ передъ подобными изслѣдованіями въ присутствіи студентовъ или даже самими студентами,—у насъ, по крайней мѣрѣ,—часто превозмогаетъ у пациентокъ потребность въ помощи“.*

Если разсуждать отвлеченно, то такая щепетильность должна казаться безсмысленною: вѣдь студенты—тѣ же врачи, а врачей стѣсняться нечего. Но дѣло сразу мѣняется, когда ставишь самого себя въ положеніе этихъ больныхъ. Мы, мужчины, менѣе стыдливы, чѣмъ женщины; тѣмъ не менѣе, по крайней мѣрѣ, я лично ни за что не согласился бы, чтобы меня, совершенно обнаженнаго, вывели на глаза сотни женщинъ, чтобы меня женщины ощупывали, изслѣдовали, разспрашивали *обо всемъ*, ни передъ чѣмъ не останавливаясь. Тутъ мнѣ ясно, что, если щепетильность

эта и бессмысленна, то считается съ нею все-таки очень слѣдуетъ.

И тѣмъ не менѣе—„иначе учиться нельзя“, это несомнѣнно. Въ средніе вѣка медицинское преподаваніе ограничивалось однѣми теоретическими лекціями, на которыхъ комментировались сочиненія арабскихъ и древнихъ врачей; практическая подготовка учащихся не входила въ задачи университета. Еще въ сороковыхъ годахъ нашего столѣтія въ нѣкоторыхъ захолустныхъ университетахъ, по свидѣтельству Пирогова, „учили дѣлать кровопусканіе на кускахъ мыла и ампутаціи—на брюквѣ“. Къ счастью медицины и больныхъ, времена эти миновали безвозвратно, и жалѣтъ объ этомъ преступно: нигдѣ отсутствіе практической подготовки не можетъ принести столько вреда, какъ въ врачебномъ дѣлѣ. А практическая подготовка невозможна безъ всего описаннаго.

Здѣсь мы наталкиваемся на одно изъ тѣхъ противорѣчій, которыя еще такъ часто будутъ встрѣчаться намъ впослѣдствіи: существованіе медицинской школы,—школы гуманнѣйшей изъ всѣхъ наукъ,—немыслимо безъ попраиія самой элементарной гуманности. Пользуясь невозможностью бѣдпачковъ лечиться на собственныя средства, наша школа обращаетъ больныхъ въ манекены для упражненій, топчетъ безъ пощады стыдливость женщины, увеличиваетъ и безъ того немалое горе матери, подвергая жестокому „поруганію“ ея умершаго ребенка; но не дѣлать этого школа не можетъ: по доброй волѣ мало кто изъ больныхъ согласился бы служить наукѣ.

Какой изъ этого возможенъ выходъ, я рѣшительно не знаю; я знаю только, что медицина необходима, и иначе учиться нельзя; но я знаю также, что если бы нужда заставила *мою* жену или сестру очутиться въ положеніи той больной у сифилитолога, то я сказалъ бы, что миѣ пѣтъ дѣла до медицинской школы, и что нельзя такъ тонтать личность человѣка только потому, что онъ бѣденъ.

III.

На третьемъ курсѣ, недѣли черезъ двѣ послѣ начала занятій, я въ первый разъ былъ на вскрытіи. На мраморномъ столѣ лежалъ худой, какъ скелеть, трупъ женщины лѣтъ за сорокъ. Профессоръ патологической анатоміи, въ кожаномъ фартукѣ, надѣвалъ, балагурия, гуттаперчевыя перчатки; рядомъ съ нимъ, въ бѣломъ халатѣ, стоялъ профессоръ-хирургъ, въ клиникѣ котораго умерла женщина. На скамьяхъ, окружавшихъ амфитеатромъ секціонный столъ, тѣснились студенты.

Хирургъ замѣтно волновался; онъ нервно крутилъ усы и притворно-скучающимъ взглядомъ блуждалъ по рядамъ студентовъ; когда профессоръ-патологъ отпускалъ какую-нибудь шуточку, онъ смѣшилъ предупредительно улыбнуться; вообще въ его отношеніи къ патологу было что-то заискивающее, какъ у школьника передъ экзаменаторомъ. Я смотрѣлъ на него, и миѣ странно было подумать,—неужели это тотъ самый грозный N.N., который такимъ величественнымъ олимпійцемъ глядитъ въ своей клиникѣ?

— Отъ перитонита умерла?— коротко спросилъ патологъ.

— Да.

— Оперирована?

— Оперирована.

— Угу!— промычалъ патологъ, чуть дрогнувъ бровью, и приступилъ къ вскрытію.

Ассистентъ-прозекторъ сдѣлалъ на трупѣ длинный кожный разрѣзъ отъ подбородка до лоннаго сращенія. Патологъ осторожно вскрылъ брюшную полость и сталъ осматривать воспаленную брюшину и склеившіяся кишечныя петли... Хирургъ ужъ наканунѣ высказалъ намъ въ клиникѣ предполагаемую имъ причину смерти больной: опухоль, которую онъ хотѣлъ вырѣзать, оказалась сильно сращенною съ внутренностями; вѣроятно, при удаленіи этихъ сращеній былъ незамѣтно пораненъ кишечникъ, и это повело къ гнилостному воспаленію брюшины. Вскрытіе подтвердило его предположеніе. Патологъ отыскалъ пораненное мѣсто и, вырѣзавъ кусокъ кишки съ ранкою, послалъ его на тарелкѣ студентамъ. Студенты съ любопытствомъ разсматривали маленькую зловѣщую ранку, окруженную гнойнымъ налетомъ; хирургъ хмурился и крутилъ усы. Я съ пристальнымъ, злораднымъ вниманіемъ слѣдилъ за нимъ: вотъ онъ, судъ, гдѣ безошадно раскрываются и казнятся всѣ ихъ грѣхи и ошибки! Эта женщина пришла къ нему за помощію, и именно благодаря его помощи лежала теперь передъ нами; интересно, знаютъ ли это близкіе умершей, объяснилъ ли имъ операторъ причину ея смерти?..

Вскрытіе кончилось. Въ своемъ эпикризѣ патологъ заявилъ, что перитонитъ былъ несомнѣнно вызванъ пораненіемъ кишечника, но что при той массѣ сращеній и перемычекъ, которыми изобиловала опухоль, замѣтить такое пораненіе было очень нелегко, и въ столь тяжелыхъ операціяхъ ни одинъ самый лучшій хирургъ не можетъ быть гарантированъ отъ несчастныхъ случайностей.

Профессора любезно пожали другъ другу руки и ушли. Студенты повалили къ выходу.

Странное и тяжелое впечатлѣніе произвело на меня это первое видѣнное мною вскрытіе. „Перитонитъ былъ вызванъ пораненіемъ кишечника; такое пораненіе трудно замѣтить, несчастныя случаиности бывають у лучшихъ хирурговъ“... Какъ все это просто! Какъ будто рѣчь идетъ о неудавшемся химическомъ опытѣ, гдѣ вся суть только въ самой неудачѣ! Причины этой неудачи констатируются вполне спокойно, виновникъ ея, если и волнуется, то волнуется лишь вслѣдствіе самолюбія... А между тѣмъ дѣло идетъ ни больше, ни меньше, какъ о погубленной человѣческой жизни, о чемъ-то безмѣрно-страшномъ, гдѣ неизбежно долженъ встать вопросъ: смѣетъ ли подобный операторъ продолжать заниматься медициной? Врачъ, цѣлитель, убивающій больного! Вѣдь это такое вопіющее противорѣчіе, которое допустить прямо немыслимо. А между тѣмъ никто этого противорѣчія какъ будто и не замѣчалъ.

Я испытывалъ такое ощущеніе, какъ будто попалъ въ школу къ авгурамъ. Мы—тѣ же будущіе авгуры, насъ стѣсняться нечего, и вотъ насъ по-

свящали въ изнанку дѣла; профаны могутъ возмущаться существованіемъ этой изнанки и ея рѣзкимъ отличіемъ отъ лицевой стороны, мы же должны приучаться смотрѣть на дѣло „шире“...

Чѣмъ дальше шло теперь мое знакомство съ медициной, тѣмъ все больше усиливалось у меня то впечатлѣніе, которое я вынесъ изъ перваго вскрытія. Въ клиникахъ, на теоретическихъ лекціяхъ, на вскрытіяхъ, въ учебникахъ,—вездѣ было то же самое. Рядомъ съ тою парадною медициною, которая лечитъ и воскрешаетъ, и для которой я сюда поступилъ, передо мною все шире развертывалась другая медицина,—немошная, бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болѣзни, которыхъ не можетъ опредѣлить, старательно опредѣляющая болѣзни, которыхъ завѣдомо не можетъ вылечить. Въ руководствахъ я встрѣчалъ описанія болѣзней, которыя оканчивались замѣчаніемъ: „діагнозъ этой болѣзни возможенъ лишь на секціонномъ столѣ“,—какъ будто такой своевременный діагнозъ кому-нибудь пужень! Передъ нами выводили ребенка съ туберкулезнымъ рудо-pneumothorax'омъ; худой и изсохшій, съ торчащими костями и синюшнымъ лицомъ, онъ сидѣлъ, быстро и часто дыша; когда его клали на спину, онъ начиналъ кашлять такъ, что, казалось, сейчасъ вывернутся всѣ его внутренности. Профессоръ съ серьезнымъ видомъ, какъ будто совершалъ что-то очень важное, опредѣлялъ у него границы тупости, степень смѣщенія средостѣнія и т. п. Я слѣдилъ за профессоромъ, затаивая усмѣшку: сколько трудовъ кладетъ онъ на

изслѣдованіе, и все это лишь для того, чтобы въ концѣ концовъ сказать намъ, что больной безнадеженъ, и что вылечить его мы не въ состояніи! Какой въ такомъ случаѣ смыслъ въ самомъ діагнозѣ? Какъ этотъ діагнозъ ни будь тонокъ, все-таки по существу дѣла онъ сводится лишь къ мольеровскому: „они вамъ скажутъ по-латыни, что ваша дочь больна“. Все это было жалко и смѣшно. Мнѣ вспомнилось опредѣленіе сути медицины, данное Мифистофелемъ.

Der Geist der Medicin ist leicht zu fassen:
Ihr durchstudirt die gross und kleine Welt,
Um es am Ende gehn zu lassen,
Wie's Gott gefällt *).

Въ леченіи болѣзней меня поражала чрезвычайная шаткость и неопредѣленность показаній, обиліе предлагаемыхъ противъ каждой болѣзни средствъ—и рядомъ съ этимъ крайняя неувѣренность въ дѣйствительности этихъ средствъ. „Леченіе аневризмъ аорты,—говорится, напр., въ руководствѣ Штрюмпеля,—до сихъ поръ даетъ еще очень сомнительные результаты; тѣмъ не менѣе, въ каждомъ данномъ случаѣ мы въ правѣ испробовать тотъ или другой изъ рекомендованныхъ способовъ“. „Чтобы предотвратить повтореніе припадковъ грудной жабы,—говорится тамъ же,—рекомендовано очень много средствъ: мышьякъ, сѣрно-кислый цинкъ, азотнокислое серебро, бромистый

*) „Духъ медицины понять нетрудно: вы тщательно изучаете и большой, и малый міръ, чтобы въ концѣ концовъ предоставить всему идти, какъ угодно Богу“.

калій, хининъ и др. Попробовать какое-либо изъ этихъ средствъ не мѣшаетъ, но вѣрнаго успѣха обѣщать себѣ не слѣдуетъ“. И такъ безъ конца. „Можно попробовать то-то“, „нѣкоторые очень довольны тѣмъ-то“, „не мѣшаетъ испытать то-то“... Я пришелъ сюда, чтобъ меня научили, какъ вылечить больного, а мнѣ предлагаютъ „пробовать“, да еще безъ всякаго ручательства за успѣхъ!

То и дѣло мнѣ теперь приходилось узнавать вещи, которыя все больше колебали во мнѣ уваженіе и довѣріе къ медицинѣ. Фармакологія знакомила насъ съ цѣлымъ рядомъ средствъ, *завѣдомо* совершенно неэффективныхъ, и тѣмъ не менѣе рекомендовала намъ употреблять ихъ. Положимъ, намъ неясна болѣзнь паціента, и нужно выждать ея выясненія, или болѣзнь неизлечима, а симптоматическихъ показаній нѣтъ; „но вѣдь вы не можете оставить больного безъ лекарства“,—и вотъ, въ этихъ случаяхъ и слѣдовало назначать „безразличныя“ средства; для подобныхъ назначеній въ медицинѣ существуетъ даже специальный терминъ: „прописать лекарство, *ut aliquid fiat*“ (сокращ. *вм.* „*ut aliquid fieri videatur*“,—чтобы больному казалось, будто для него что-то дѣлають“). И опять-таки профессоръ сообщалъ намъ все это съ самымъ серьезнымъ и невозмутимымъ видомъ; я смотрѣлъ ему въ глаза, смѣясь въ душѣ, и думалъ: „ну, развѣ же ты не авгуръ? И развѣ мы съ тобой не разсмѣялись бы, подобно авгурамъ, если бы увидѣли, какъ нашъ больной поглядываетъ на часы, чтобъ не опоздать на десять минутъ съ приѣмомъ

назначенной ему жиденькой кислоты съ сиропомъ?..“ Вообще, какъ я видѣлъ, въ медицинѣ существуетъ не мало довольно-таки поучительныхъ „спеціальныхъ терминовъ“; есть, напримѣръ, терминъ: „ставить діагнозъ *ex juvantibus*,— на основаніи того, что помогаетъ“: больному назначается извѣстное леченіе, и, если данное средство помогаетъ, значитъ, больной боленъ такою-то болѣзнью; второй шагъ дѣлается раньше перваго, и вся медицина ставится вверхъ ногами: не зная болѣзни, больного лечатъ, чтобы на основаніи результатовъ леченія опредѣлить, отъ этой ли болѣзни слѣдовало его лечить!

Я начиналъ все больше проникаться полнѣйшимъ медицинскимъ нигилизмомъ,—тѣмъ нигилизмомъ, который такъ характеренъ для всѣхъ полужнаекъ. Мнѣ казалось, что я теперь понялъ всю суть медицины, понялъ, что въ ея владѣніи находится два-три дѣйствительныхъ средства, а все остальное—лишь „латинская кухня“, „*ut aliquid fiat*“; что съ своими жалкими и несовершенными средствами діагностики она блуждаетъ въ темнотѣ и только притворяется, будто что-нибудь знаетъ. Разговаривая о медицинѣ съ не-медиками, я многозначительно улыбался и говорилъ, что, сознаваясь откровенно, „вся наша медицина“—одно лишь шарлатанство.

Какимъ образомъ изъ всего, только что описаннаго, могъ я сдѣлать такое рѣзкое и рѣшительное заключеніе? Мнѣ кажется, основаніемъ этому мнѣ послужило то очень распространенное мнѣніе, которое безсознательно раздѣлялъ и я: „ты—врачъ,

значитъ, ты долженъ умѣть узнать и вылечить всякую болѣзнь; если же ты этого не умѣешь, то ты—шарлатанъ“. Я закрывалъ глаза на средства и предѣлы науки, на то, что она дѣлаетъ, и смѣялся надъ нею за то, что она не дѣлаетъ *всего*. Такъ именно и относится къ медицинѣ большинство недумаящихъ людей... Въ 1893 г. на петербургской гигиенической выставкѣ, въ числѣ другихъ патолого-анатомическихъ препаратовъ былъ выставленъ „сердечный полиппъ, случайно найденный при вскрытїи“. Полиппъ этотъ чрезвычайно разсмѣшилъ фельетониста одной большой петербургской газеты: вотъ, дескать, такъ эскулапы наши! Хорошія у нихъ бываютъ „случайныя“ находки!.. Та же гигиеническая выставка, такъ много показавшая, что даетъ медицина, для г. фельетониста не существуетъ: изъ всей выставки онъ видитъ только этотъ „случайно найденный полиппъ“ и обливаетъ за него презрѣніемъ врачей и медицину, даже не интересуясь узнать, *возможно* ли при жизни открыть такой полиппъ. Для врачей не должно быть ничего невозможнаго,—вотъ точка зрѣнія, съ которой судить большинство: съ этой же точки зрѣнія судилъ и я.

Одинъ случай произвелъ во мнѣ полный переворотъ. Въ нашу хирургическую клинику поступила жепщина лѣтъ подъ пятьдесятъ съ большою опухолью въ лѣвой сторонѣ живота. Кураторомъ къ этой больной былъ назначенъ я. На обязанности студента-куратора лежитъ изслѣдовать даннаго ему больного, опредѣлить его болѣзнь и слѣдить за ея теченіемъ; когда больного демон-

стрируютъ студентамъ, кураторъ излагаетъ передъ аудиторіей исторію его болѣзни, сообщаетъ, что онъ нашелъ у него при изслѣдованіи, и высказываетъ свой діагнозъ; послѣ этого профессоръ указываетъ куратору на его промахи и недосмотры, подробно изслѣдуетъ больного и ставитъ свое распознаваніе. Опухоль у моей больной занимала всю лѣвую половину живота, отъ подреберья до подвздошной кости. Что эта была за опухоль, изъ какого органа она исходила? Ни разспросъ больной, ни изслѣдованіе ея не давали на это никакихъ, хоть сколько-нибудь ясныхъ указаній; съ совершенно одинаковою вѣроятностью можно было предположить кистому яичника, саркому забрюшинныхъ железъ, эхинококкъ селезенки, гидронефрозъ, ракъ поджелудочной железы. Я рылся во всевозможныхъ руководствахъ, и вотъ что пахнулъ въ нихъ:

Съ гидронефрозомъ очень легко смѣшать эхинококкъ почки; мы много разъ видѣли также мягкія саркоматозныя опухоли почекъ, относительно которыхъ мы были увѣрены, что имѣли дѣло съ гидронефрозомъ („Частная хирургія“ Тильманса).

Ракъ почки нерѣдко принимался за забрюшинныя опухоли железъ, опухоли яичника, селезенки, большіе подноязычные нарывы и т. п. (Штрюмпель).

При кистахъ яичника встрѣчаются очень непріятныя діагностическія ошибки... Дифференціальное распознаваніе кисты яичника отъ гидронефроза оказывается наиболѣе опаснымъ подводнымъ камнемъ, такъ какъ гидронефрозъ, если онъ великъ, представляетъ при наружномъ изслѣдованіи совершенно такую же картину: поэтому подобнаго рода діагностическія ошибки очень нерѣдки. („Гинекологія“ Шредера).

Клиническіе симптомы рака поджелудочной железы

почти никогда не бывают настолько ясны, чтобъ можно было поставить вѣрный діагнозъ (Штрюмпель).

Скептически и враждебно настроенный къ медициѣ, я съ презрительной улыбкой перечитывалъ эти признанія въ ея безсиліи и неумѣлости. Я какъ будто даже былъ доволенъ тѣмъ, что не могу ориентироваться въ моемъ случаѣ: моя ли вина, что наша, съ позволенія сказать, „наука“ не даетъ мнѣ для этого никакой надежной руководящей нити? У моей больной опухоль живота,— вотъ все, что я могу сказать, если хочу отнестись къ дѣлу сколько-нибудь добросовѣстно; вырабатывать же изъ себя шарлатана я не имѣю никакого желанія и не стану „увѣренно“ объявлять, что имѣю дѣло съ гидронефрозомъ, зная, что это легко можетъ оказаться и саркомой, и эхинококкомъ, и чѣмъ угодно.

Пришло время демонстрировать мою больную. Ее внесли на носилкахъ въ аудиторію, меня вызвали къ ней. Я прочелъ апамнезъ больной и изложилъ, что нашелъ у нея при изслѣдованіи.

— Какой же вашъ діагнозъ? — спросилъ профессоръ.

— Не знаю,—отвѣтилъ я насунувшись.

— Ну, приблизительно?

Я молча пожалъ плечами.

— Случай, положимъ, дѣйствительно не изъ легкихъ,—сказалъ профессоръ и приступилъ самъ къ разспросу больной.

Сначала онъ предоставилъ самой больной разсказать объ ея болѣзни. Для меня ея разсказъ послужилъ основою всему моему изслѣдованію;

профессоръ же придавъ этому разсказу очень мало значенія. Выслушавъ больную, онъ сталъ тщательно и подробно разспрашивать ее о состояніи ея здоровья до настоящей болѣзни, о началѣ заболѣванія, о всѣхъ отправленияхъ больной въ теченіе болѣзни; и ужъ отъ одного этого умѣлаго разспроса картина получилась совершенно другая, чѣмъ у меня: передъ нами развернулся не рядъ безсвязныхъ симптомовъ, а совокупная жизнь больного организма во всѣхъ его отличіяхъ отъ здороваго. Послѣ этого профессоръ перешелъ къ изслѣдованію больной; онъ обратилъ наше вниманіе на консистенцію опухоли, на то, смѣщается ли она при дыханіи больной, находится ли въ связи съ маткою, какое положеніе она занимаетъ относительно нисходящей толстой кишки и т. д., и т. д. Наконецъ, профессоръ приступилъ къ выводамъ. Онъ шелъ къ нимъ медленно и осторожно, какъ слѣпой, идущій по обрывистой горной тропинкѣ; ни одного самаго мелкаго признака онъ не оставилъ безъ строгаго и внимательнаго обсужденія; чтобъ объяснить какой-нибудь ничтожный симптомъ, на который я и вниманія-то не обратилъ, онъ ставилъ вверхъ дномъ весь огромный арсеналъ анатоміи, фізіологіи и патологіи; онъ самъ шелъ навстрѣчу всѣмъ противорѣчіямъ и неясностямъ и отходилъ отъ нихъ, лишь добившись полнаго ихъ объясненія... И въ концѣ концовъ, когда, сопоставивъ добытыя данныя, профессоръ пришелъ къ діагнозу: „ракъ-мозговикъ лѣвой почки“,—то это само собою вытекло изъ всего предыдущаго.

Я слушалъ, пораженный и восхищенный; такими жалкими и ребяческими казались мнѣ теперь и мое изслѣдованіе, и весь мой скептицизмъ!.. Спутанная и неясная картина, въ которой, по моему, было *невозможно* разобраться, стала совершенно ясной и понятной; и это было достигнуто на основаніи такихъ ничтожныхъ данныхъ, что смѣшно было подумать...

Черезъ недѣлю больная умерла. Опять, какъ тогда, на секціонномъ столѣ лежалъ трупъ, опять вокругъ двухъ профессоровъ тѣснились студенты, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдя за вскрытіемъ. Профессоръ-патологъ извлекъ изъ живота умершей опухоль величиною съ человѣческую голову, тщательно изслѣдовалъ ее и объявилъ, что передъ нами—*ракъ-мозговикъ лѣвой почки*... Мнѣ трудно передать то чувство восторженной гордости за науку, которое овладѣло мною, когда я услышалъ это. Я разсматривалъ лежавшую на деревянномъ блюдѣ мягкую, окровавленную опухоль, и вдругъ мнѣ припомнился нашъ деревенскій староста Власъ, ярый ненавистникъ медицины и врачей. „Какъ доктора могутъ знать, что у меня въ нутрѣ дѣлается? Нешто они могутъ видѣть насквозь?“ — спрашивалъ онъ съ презрительной усмѣшкой. Да, тутъ видѣли именно насквозь...

Отношеніе мое къ медицинѣ рѣзко измѣнилось. Приступая къ ея изученію, я ждалъ отъ нея *всего*; увидѣвъ, что всего медицина дѣлать не можетъ, я заключилъ, что она не можетъ дѣлать *ничего*; теперь я видѣлъ, какъ *много* все-таки можетъ она, и это „многое“ преисполняло меня до-

вѣріемъ и уваженіемъ къ наукѣ, которую я такъ еще недавно презиралъ до глубины души.

Вотъ передо мною больной; онъ лихорадитъ и жалуется на боли въ боку: я выстукиваю бокъ: притупленіе звука показываетъ, что въ этомъ мѣстѣ грудной клѣтки легочный воздухъ замѣненъ болѣзненнымъ выдѣленіемъ; но гдѣ именно находится это выдѣленіе,—въ легкомъ или въ полости плевры? Я прикладываю руку къ боку больного и заставляю его громко произнести: „разъ, два, три!“ Голосовая вибрація грудной клѣтки на больной сторонѣ оказывается ослабленною; это обстоятельство съ такою же вѣрностью, какъ если бы я видѣлъ все собственными глазами, говоритъ мнѣ, что выпоть находится не въ легкихъ, а въ полости плевры.—У больного парализована лѣвая нога; я ударяю ему молоточкомъ по колѣнному сухожилію,—нога высоко вскидывается; это указываетъ на то, что пораженіе лежитъ не въ периферическихъ нервахъ, а гдѣ-нибудь выше ихъ выхода изъ спинного мозга; но гдѣ именно? Я тщательно изслѣдую, сохранила ли кожа свою чувствительность, поражены ли другія конечности, правильно ли функционируютъ головные нервы и пр.,—и могу наконецъ съ полною увѣренностью сказать: пораженіе, вызвавшее въ данномъ случаѣ параличъ лѣвой ноги, находится въ корѣ центральной извилины праваго мозгового полушарія, недалеко отъ темени... Какая громадная, многовѣковая подготовительная работа была нужна для того, чтобъ выработать такіе на видъ простые приемы изслѣдованія, сколько для этого требова-

лось наблюдательности, генія, труда и знанія! И какія большія области уже завоеваны наукою! Выслушивая сердце, можно съ точностью опредѣлить, какой именно изъ его четырехъ клапановъ дѣйствуетъ неправильно, и въ чемъ заключается причина этой неправильности,—въ сращеніи клапана или его недостаточности; соотвѣтственными зеркалами мы въ состояніи осмотрѣть внутренность глаза, носоглоточное пространство, гортань, влагалнице, даже мочевоу пузырь и желудокъ; невидимая, загадочная и непонятная „зараза“ разгадана, мы можемъ теперь готовить ее въ чистомъ видѣ въ пробиркѣ и разсматривать подь микроскопомъ. При акушерствѣ съ почти математическою точностью изученъ весь сложный механизмъ родовъ, опредѣлены всѣ факторы, обусловливающіе тотъ или иной поворотъ младенца, и искусственные приемы помощи строго согласуются съ этимъ сложнымъ естественнымъ движеніемъ... Ребенку выжигаютъ раскаленнымъ желѣзомъ носовыя раковины, предварительно смазавъ ихъ кокаиномъ: живое тѣло шипитъ, кругомъ пахнетъ горѣлымъ мясомъ, а ребенокъ сидитъ, улыбаясь и спокойно выдыхая изъ поздрей дымъ...

Но всего не перечислить. Конечно, многое, еще очень многое не достигнуто, по все это лишь вопросъ времени, и намъ трудно себѣ даже представить, какъ далеко пойдетъ наука. Вѣдь еще нѣсколько лѣтъ назадъ показалась бы нелѣпностью самая мысль о томъ, что человѣческое тѣло возможно въ буквальномъ смыслѣ видѣть насквозь;

теперь же, благодаря Рентгену, эта нелѣпность стала дѣйствительностью. Сорокъ лѣтъ назадъ, у хирурговъ *три четверти* оперированныхъ умирало отъ гнойнаго зараженія; гнойное зараженіе было проклятіемъ хирургіи, о которое разбивалось все искусство оператора. „Я ничего положительнаго не знаю сказать объ этой страшной казни хирургической практики,—съ отчаяніемъ писалъ Пироговъ въ 1854 году.—Въ ней все загадочно: и происхожденіе, и образъ развитія. До сихъ поръ она въ такой же степени неизлечима, какъ ракъ“.—„Если я оглянусь на кладбища,—пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—гдѣ схоронены зараженные въ госпиталяхъ, то не знаю, чему болѣе удивляться: стоицизму ли хирурговъ, занимающихся еще изобрѣтеніемъ новыхъ операцій, или довѣрію, которымъ продолжаютъ еще пользоваться госпитали у общества“... Явился Листеръ, ввелъ антисептику, она смѣнилась еще болѣе совершенною асептикою, и хирурги изъ безсильныхъ рабовъ гнойнаго расположенія стали его господами; въ настоящее время, если оперированный умираетъ отъ гнойнаго зараженія, то въ большинствѣ случаевъ виновата въ этомъ ужъ не наука, а операторъ.

Если ужъ въ настоящее время сдѣлано такъ много, то что же дастъ наука въ будущемъ! Передо мною раскрывались такія свѣтлыя перспективы, что становилось весело за жизнь и за человѣка. Истинная дорога найдена, и свернуть съ нея ужъ невозможно. *Natura pagendo vincitur*,—природу побѣждаетъ тотъ, кто ей повинуется; будутъ поняты всѣ ея законы, и человѣкъ ста-

нетъ надъ нею неограниченнымъ властителемъ. Тогда исчезнетъ и теперешнее одностороннее леченіе и искусственное предупрежденіе болѣзней: человѣкъ научится развивать и дѣлать непобѣдимыми цѣлебныя силы своего собственнаго организма, ему не будутъ страшны ни зараза, ни простуда, не будутъ нужны ни очки, ни пломбировка зубовъ, не будутъ извѣстны ни мигрени, ни неврастеніи. Будутъ сильные, счастливые и здоровые люди, и они будутъ рождаться отъ сильныхъ и здоровыхъ женщинъ, которыя не будутъ знать ни акушерскихъ щипцовъ, ни хлороформа, ни спорыньи.

Чѣмъ дальше шло теперь мое знакомство съ медициной, тѣмъ больше она привлекала меня къ себѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ меня все больше поражало, какой колоссальный кругъ наукъ включаетъ въ себя ея изученіе; это обстоятельство сильно смущало меня. Каждый день приносилъ съ собою такую массу новыхъ, совершенно разнородныхъ, но одинаково необходимыхъ знаній, что голова шла кругомъ; заняты мы были съ утра до вечера, не было времени читать не только что-либо постороннее, но даже по той же медицинѣ. Это была какая-то горячка, какое-то лихорадочное метаніе изъ клиники въ клинику, съ лекціи на лекцію, съ курса на курсъ; какъ въ быстро поворачиваемомъ калейдоскопѣ, предъ нами смѣнялись самыя разнообразныя вещи: резекція колѣна, лекція о свойствахъ наперстянки, безумныя рѣчи паралитика, наложеніе акушерскихъ щипцовъ, значеніе Сиденгама въ медицинѣ, зондированіе слезныхъ кана-

ловъ, способы окрашиванія леффлеровыхъ бациллъ, мѣстонахожденіе подклучичной артеріи, массажъ, признаки смерти отъ задушенія, стригущій лишай, системы вентиляціи, теоріи блѣдной немочи, законы о домахъ терпимости и т. д., и т. д. Все это приходилось воспринимать совершенно механически; желаніе продумать воспринятое, остановиться на томъ или другомъ падало подъ напоромъ сыпавшихся все новыхъ и новыхъ знаній; и эти новыя знанія приходилось складывать въ себѣ такъ же механически и утѣшаться мыслью: „потомъ, когда у меня будетъ больше времени, я все это обдумаю и приведу въ порядок“. А между тѣмъ, полученныя впечатлѣнія постепенно блѣднѣли, поднявшіеся вопросы забывались и утрачивали интересъ, усвоеніе становилось поверхностнымъ и ученическимъ.

Думать и дѣйствовать самостоятельно намъ въ теченіе всего нашего курса почти не приходилось. Профессора на нашихъ глазахъ искусно справлялись съ самыми трудными операціями, систематически рѣшали сложныя загадки, именуемая больными людьми, а мы... мы слушали и смотрѣли; все казалось простымъ, стройнымъ и очевиднымъ. Но если мнѣ случайно попадался больной на сторонѣ, то каждый разъ оказывалось что-нибудь, что ставило меня въ совершенный тупикъ. Вначалѣ меня это не огорчало: вѣдь я еще студентъ, многого еще не знаю,—узнаю я это впереди. Но время шло, знанія мои пріумножались; былъ оконченъ пятый курсъ, ужъ начались выпускные экзамены, а я чувствовалъ себя попрежнему безо-

мощнымъ и неумѣлымъ, неспособнымъ ни на какой сколько-нибудь самостоятельный шагъ. Между тѣмъ я видѣлъ, что стою ничуть не ниже моихъ товарищей; напротивъ, я стоялъ выше большинства... Что же выйдетъ изъ насъ?

Выпускные экзамены тянулись около четырехъ мѣсяцевъ. На медицинскомъ факультетѣ экзамены эти особенно трудны вслѣдствіе подавляющей массы предметовъ. Въ теченіе курса я занимался много и обладаю хорошими способностями; тѣмъ не менѣе мнѣ приходилось во время экзаменовъ работать по десяти-двѣнадцати часовъ въ сутки. Знанія требовались громадныя, и по крайней мѣрѣ три четверти изъ нихъ представляли совершенно ненужный балластъ, который по сдачѣ экзамена немедленно выбрасывался изъ памяти. Для большинства профессоровъ ихъ спеціальность заслоняетъ собою все остальное, и они отдѣляютъ въ ней важное отъ неважнаго, не поднимаясь выше своей спеціальности. Одинъ мой товарищъ „провалился“ по анатоміи, потому что не зналъ, одѣта ли поджелудочная железа брюшиною или нѣтъ,—вопросъ, для анатома очень интересный, но для врача не имѣющій рѣшительно никакого значенія. Нужно было знать, что лейцинъ есть параксифеиламидобензойная кислота, нужно было умѣть перечислить названія нѣсколькихъ десятковъ суррогатовъ молока, при чемъ каждое изъ этихъ названій было для насъ пустымъ звукомъ; нужно было знать всѣ химическія реакціи на атропинъ,—реакціи, изъ которыхъ сами мы не продѣлали ни одной.

Еще важнѣе было знать коньки каждаго экзаменатора,—коньки, часто удивительно-безсмысленные. Тотъ, кто не зналъ этихъ коньковъ, проваливался навѣрняка. Любимымъ вопросомъ одного профессора былъ слѣдующій: „у какого животного, если ему поставить клизму, вода пойдетъ черезъ ротъ?“ Профессоръ общей терапіи задалъ мнѣ на экзаменѣ вопросъ: „какая разница въ томъ, примете ли вы ложку холодной воды внутрь или выльете ее себѣ на голову?“ Тотъ, кто говорилъ профессору-дерматологу, что проказа заразительна, получалъ неудовлетворительную отмѣтку; у профессора общей хирургіи неудовлетворительную отмѣтку получалъ тотъ, кто говорилъ, что проказа не заразительна. Вообще исходъ экзамена вполне зависѣлъ отъ личности и характера экзаменатора: „добрый“ профессоръ пропускалъ во врачи студента, который трехмѣсячному ребенку назначалъ пять капель опійной настойки,—строгий проваливалъ студента, который не зналъ, какими дѣйствіями обладаетъ нарценнъ,—совершенно ничтожная составная часть того же опія.

Такая чисто школьная постановка дѣла превращаетъ экзамены въ уродливую и очень неумную комедію; вмѣсто дѣйствительныхъ знаній, которыми долженъ обладать всякій врачъ, на экзаменахъ требуется невообразимая мѣшанина, помнить которую возможно только для экзамена. Когда-то Вирховъ мечталъ о томъ, чтобъ всѣ врачи черезъ опредѣленные промежутки лѣтъ подвергались повторнымъ экзаменамъ; при настоящемъ положеніи дѣла проектъ этотъ, самъ по

себѣ чрезвычайно разумный, совершенно неосуществимъ: вездѣ у насъ экзамены поставлены такъ, что сдать ихъ могутъ только юнцы съ молододою памятью, хотя бы они при этомъ не обладали никакою врачебною опытностью и никакими сколько-нибудь основательными врачебными знаніями.

Особенно рѣзко обстоятельство это бросается въ глаза при экзаменахъ на доктора медицины; на этихъ экзаменахъ требуется то же, что и на врачебныхъ, только въ еще большемъ объемѣ. Получается странное явленіе: я знаю одного стараго врача, выдающагося практика, въ то же время хорошо извѣстнаго и въ наукѣ своими учеными трудами; чтобы получить мѣсто главнаго врача больницы, ему нужно имѣть степень доктора; но онъ уже неспособенъ на зазубриваніе всѣхъ школьныхъ премудростей, требуемыхъ для экзамена, и остается „лекаремъ“. Между тѣмъ многіе изъ моихъ товарищей,—люди научно-необразованные и совершенно неопытные,—сейчасъ же послѣ лекарскихъ экзаменовъ, на свѣжую память, приступили къ докторскимъ—и легко получили „ученую степень“ доктора. Такая профанація ученой степени существуетъ у насъ только по отношенію къ медицинѣ: докторъ исторіи или математики, не бросившій своего предмета, въ любой моментъ сможетъ сдать экзаменъ по своей спеціальности; всякій выдающійся ученый по исторіи или математикѣ легко сможетъ, если захочетъ, получить ученую степень. Докторъ же медицины, если его экспромптомъ поставить черезъ пять лѣтъ снова на экза-

мень, долженъ будетъ лишиться своей степени; съ другой стороны, ни одинъ выдающійся врачъ не сможетъ безъ долгой подготовки сдать экзамена на ученую степень,—развѣ только экзаменаторы, во вниманіе къ его заслугамъ, отнесутся къ нему „снисходительно“, т.-е. будутъ требовать отъ него дѣйствительнаго пониманія медицины, а не знанія на-зубокъ ни на что ненужныхъ мелочей.

IV.

Выпускные экзамены кончились. Насъ пригласили въ актовую залу, мы подписали врачебную клятву и получили дипломы. Въ дипломахъ этихъ, украшенныхъ государственнымъ гербомъ и большою университетскою печатью, удостовѣрялось, что мы съ успѣхомъ сдали все испытанія, какъ теоретическія, такъ и практическія, и что медицинскій факультетъ призналъ насъ достойными степени лекаря, „со всеми правами и преимуществами, сопряженными по закону съ этимъ званіемъ“.

Съ тяжелымъ и нерадостнымъ чувствомъ покидалъ я нашу alma mater. То, что въ теченіе послѣдняго курса я начиналъ сознать все яснѣе, теперь встало предо мной во всей своей наготѣ: я, обладающій какими-то отрывочными, совершенно неусвоенными и непереваванными знаніями, привыкшій только смотрѣть и слушать, а отнюдь не дѣйствовать, не знающій, какъ подступиться къ больному, я—врачъ, къ которому больные станутъ обращаться за помощью! Да что буду я въ состояніи дать имъ?.. Все мои товарищи испытывали то же

самое, что я. Мы съ горькою завистью смотрѣли на тѣхъ счастливецѣвъ, которые были оставлены ординаторами при клиникахъ; они могли продолжать учиться, имъ предстояло работать не на свой страхъ, а подѣ руководствомъ опытныхъ и умѣлыхъ профессоровъ. Мы же, всѣ остальные,—мы должны были идти въ жизнь самостоятельными врачами, не только съ „правами и преимуществами“; но и съ *обязанностями*, „сопряженными по закону съ этимъ званіемъ“...

Нѣкоторымъ изъ моихъ товарищей посчастливилось попасть въ больницы; другіе поступили въ земство; третьимъ, въ томъ числѣ и мнѣ, пристроиться никуда не удалось, и намъ осталось одно,—попытаться жить частной практикой.

Я поселился въ небольшомъ губернскомъ городѣ средней Россіи. Пріѣхалъ я туда въ исключительно-благопріятный моментъ: незадолго передъ тѣмъ умеръ жившій на окраинѣ города врачъ, имѣвшій довольно большую практику. Я нанялъ квартиру въ той же мѣстности, вывѣсилъ на дверяхъ дощечку: „докторъ такой-то“, и сталъ ждать больныхъ.

Я ждалъ ихъ—и въ то же время больше всего боялся именно того, чтобы они не явились. Каждый звонокъ заставлялъ испуганно биться мое сердце, и я съ облегченіемъ вздыхалъ, узнавъ, что звонился не больной. Сумѣю ли я поставить діагнозъ, сумѣю ли назначить леченіе? Знанія мои были далеко не настолько прочны, чтобы я чувствовалъ себя способнымъ пользоваться ими экспромптомъ. Хорошо, если у больного окажется такая болѣзнь,

при которой можно будет ждать: тогда я пропишу что-нибудь безразличное и потомъ справлюсь дома, что въ данномъ случаѣ слѣдуетъ дѣлать. Но если меня позовутъ къ больному, которому нужна немедленная помощь? Вѣдь къ такимъ-то именно больнымъ начинающихъ врачей обыкновенно и зовутъ... Что я тогда стану дѣлать?

Есть книга д-ра Луи Блау: „Діагностика и терапия при угрожающихъ опасностью болѣзненныхъ симптомахъ“. Я купилъ эту книгу и всю ее проконспектировалъ въ свою записную книжку, дополнивъ конспектъ кое - чѣмъ изъ учебниковъ. Всякая болѣзнь была по симптомамъ подведена мною подъ рубрики, въ такомъ, напр., родѣ: *Сильная одышка*, — 1) крупъ, 2) ложный крупъ, 3) отекъ гортани, 4) спазмъ гортани, 5) бронхіальная астма, 6) отекъ легкихъ, 7) крупозная пневмонія, 8) уремическая астма, 9) илевритъ, 10) пнеймотораксъ. При каждой изъ болѣзней были перечислены ея симптомы и указано соотвѣтственное леченіе. Этотъ конспектъ сослужилъ мнѣ большую службу, и я долго еще, года два, не могъ обходиться безъ его помощи. Когда меня звали къ больному съ сильною одышкою, я, подъ предлогомъ записи больного, раскрывалъ записную книжку, смотрѣлъ, подъ какую изъ перечисленныхъ болѣзней подходитъ его болѣзнь, и назначалъ соотвѣтственное леченіе.

Въ той мѣстности, гдѣ я поселился, по близости врачей не было; понемногу больные стали обращаться ко мнѣ; вскорѣ среди мѣстныхъ обывателей у меня образовалась практика, для начинающаго врача сравнительно недурная.

Между прочимъ, я лечилъ жену одного сапожника, женщину лѣтъ тридцати: у нея была дизентерія. Дѣло шло хорошо, и больная уже поправлялась, какъ вдругъ однажды утромъ у нея появились сильнѣйшія боли въ правой сторонѣ живота. Мужъ немедленно побѣжалъ за мною. Я изслѣдовалъ больную: весь животъ былъ при давленіи болѣзненъ, область же печени была болѣзненна до того, что до нея нельзя было дотронуться; желудокъ, легкія и сердце находились въ порядкѣ, температура была нормальна. Что это могло быть? Я перебиралъ въ памяти всевозможныя заболѣванія печени и не могъ остановиться ни на одномъ; всего естественнѣе было поставить новое заболѣваніе въ связь съ существовавшею уже болѣзнью; при дизентеріи иногда встрѣчаются нарывы печени; но противъ нарыва говорила нормальная температура. Впрыснувъ больной морфій, я ушелъ въ полномъ недоумѣніи. Къ вечеру температура съ потрясающимъ ознобомъ поднялась до 40°, у больной появилась легкая одышка, а боли въ печени стали еще сильнѣе. Теперь для меня не было сомнѣнія: какъ слѣдствіе дизентеріи, у больной образуется нарывъ печени; опухшая печень давить на легкое, и этимъ объясняется одышка. Я былъ очень доволенъ тонкостью своего діагноза.

Но разъ у больной нарывъ печени, то необходима операція. (Въ клиникѣ это такъ легко сказать!) Я сталъ уговаривать мужа помѣстить жену въ больницу; я говорилъ ему, что положеніе крайне серьезно, что у больной—нарывъ въ внутреннихъ органахъ, и что, если онъ вскрыется въ брюш-

ную полость, то смерть неминуема. Мужъ долго колебался, но наконецъ внялъ моимъ убѣжденіямъ и свезъ жену въ больницу.

Черезъ два дня я пошелъ справиться о состояніи больной. Прихожу въ больницу, вызываю палатнаго ординатора. Оказывается, у моей больной... *крупозное воспаленіе легкихъ!* Я не вѣрилъ ушамъ. Ординаторъ провелъ меня въ палату и показалъ больную... Я вспомнилъ, что даже не догадался спросить ее о кашлѣ, даже не изслѣдовалъ вторично ея легкихъ, такъ я обрадовался ознобу, и такъ ясно показался онъ мнѣ говорящимъ за мой діагнозъ; правда, мнѣ приходила въ голову мысль, что легкія не мѣшало бы изслѣдовать еще разъ; но больная такъ кричала при каждомъ движеніи, что я прямо не рѣшался поднять ее, чтобы какъ слѣдуетъ выслушать.

— Но вѣдь у нея сильно болѣзненны печень и весь животъ,—въ смущеніи сказала я.

— Да, печень немного болѣзненна,—отвѣтилъ врачъ;—хотя болѣе болѣзненна правая плевра.

— Да и весь животъ болѣзненъ.

Я чуть дотронулся до ея живота, больная вскрикнула. Ординаторъ вступилъ съ нею въ разговоръ, сталъ спрашивать, какъ она провела ночь, и постепенно всю руку погрузилъ въ ея животъ, такъ что больная даже не замѣтила.

— Ну-ка, матушка, сядь,—сказалъ онъ.

— Охъ, не могу!

— Ну-ну, пустяки! Садись!

И она сѣла. И ее можно было выстукать, выслушать, и я увидѣлъ тишическую крупозную

пнеймонію, типичнѣе которой ничего не могло быть...

Какъ могъ я такъ поверхностно и небрежно произвести изслѣдованіе? Вѣдь необходимо каждому больного, на что бы онъ ни жаловался, изслѣдовать съ головы до ногъ,—это намъ не уставали твердить всѣ наши профессора. Да, они намъ твердили это достаточно, и на экзаменѣ я сумѣлъ бы привести массу примѣровъ, самымъ неопровержимымъ образомъ доказывающихъ необходимость слѣдовать этому правилу. Но теорія—одно, а практика—другое: на дѣлѣ мнѣ было прямо смѣшно начать изслѣдовать носъ, глаза и пятки у больного, который жаловался, напр., на разстройство желудка. Правила, подобныя указанному, усваиваются лишь однимъ путемъ,—когда не теорія, а собственный опытъ заставитъ почувствовать и сознать всю ихъ практическую важность. Собственный же опытъ былъ намъ въ клиникахъ совершенно недоступенъ.

Характерно также то, что въ своемъ распознаваніи я остановился на самой рѣдкой изъ всѣхъ болѣзней, которая можно было предположить. И въ моей практикѣ это было не единичнымъ случаемъ: кишечныя колики я принималъ за начинающійся перитонитъ; гдѣ былъ геморрой, я открывалъ ракъ прямой кишки и т. п. Я былъ очень мало знакомъ съ обыкновенными болѣзнями, — мнѣ прежде всего приходила въ голову мысль о видѣнныхъ мною въ клиникахъ самыхъ тяжелыхъ, рѣдкихъ и „интересныхъ“ случаяхъ.

Тѣмъ не менѣе при распознаваніи болѣзней я

все-таки еще хоть сколько-нибудь могъ чувствовать подъ ногами почву: діагнозы ставились въ клиникахъ на нашихъ глазахъ, и если сами мы принимали въ ихъ постановкѣ очень незначительное участіе, то, по крайней мѣрѣ, *видѣли* достаточно. Но что было для меня ужъ совершенно невѣдомою областью, это—теченіе болѣзней и дѣйствіе на нихъ различныхъ лечебныхъ средствъ; съ тѣмъ и другимъ я былъ знакомъ исключительно изъ книгъ; если одного и того же больного за время его болѣзни намъ демонстрировали четыре-пять разъ, то это было ужъ хорошо. Въ теченіе всего моего студенчества систематически слѣдить за ходомъ болѣзни я имѣлъ возможность только у тѣхъ десяти-пятнадцати больныхъ, при которыхъ состоялъ кураторомъ; а это все равно что ничего.

Однажды, мѣсяца черезъ два послѣ начала моей практики, я получилъ приглашеніе пріѣхать къ женѣ одного суконнаго фабриканта; это былъ первый случай, когда меня позвали въ богатый домъ: до того времени практика моя ограничивалась ремесленниками, мелкими торговцами, офицерскими вдовами и т. п.

— Вы, докторъ, давно кончили курсъ?—былъ первый вопросъ, съ которымъ ко мнѣ обратилась больная,—молодая и интеллигентная дама лѣтъ подъ тридцать.

Мнѣ очень хотѣлось сказать: „два года“, но было неловко, и я сказалъ правду.

— Ну, вотъ, я очень рада!—удовлетворенно произнесла больная.—Вы, значить, стоите на вы-

сотѣ науки; откровенно говоря, я гораздо больше вѣрю молодымъ врачамъ, чѣмъ всѣмъ этимъ „извѣстностямъ“: тѣ все позабыли и только стараются гипнотизировать насъ своею извѣстностью.

У больной оказался острый сочленовный ревматизмъ, какъ разъ такая болѣзнь, противъ которой медицина имѣетъ вѣрное, специфическое средство въ видѣ салициловой кислоты. Для начала практики нельзя было желать случая, болѣе благоприятнаго.

— Долго, докторъ, протянется ея болѣзнь?— спросилъ меня въ передней мужъ больной.

— Нѣтъ—отвѣтилъ я.—Теперь съ каждымъ днемъ боли будутъ меньше, состояніе будетъ улучшаться. Только слѣдите за тѣмъ, чтобъ лекарство принималось аккуратно.

Черезъ два дня я получилъ отъ него записку: „Милостивый Государь! Женѣ моей не только не стало лучше, но ей совсѣмъ плохо. Будьте добры пріѣхать“.

Я пріѣхалъ. У больной раньше были поражены правое колѣно и лѣвая ступня; теперь къ этому присоединились боли въ лѣвомъ плечевомъ суставѣ и лѣвомъ колѣнѣ. Больная встрѣтила меня холоднымъ и враждебнымъ взглядомъ.

— Вотъ, докторъ, вы говорили, что скоро все пройдетъ,—сказала она—У меня вовсе не проходитъ, а напротивъ, становится все хуже. Такія страшныя боли,—Господи! Я и не думала, что возможны такія страданія!

Вотъ тебѣ и салициловый натръ,—специфическое средство... Я молча сталъ снимать вату съ

пораженныхъ суставовъ, смазанныхъ мазью изъ хлороформа и вазелина.

— Что это, мазь ли пахнетъ мертвечиной, или ужъ я начинаю заживо разлагаться? — ворчала больная. — Умирать, такъ умирать, мнѣ все равно, но только почему это такъ мучительно?

— Полноте, сударыня, ну, можно ли такъ падать духомъ! — сказала я. — Тутъ никакой и рѣчи не можетъ быть о смерти, скоро вы будете совершенно здоровы.

— Ну, да, вы мнѣ это говорите для того, чтобы меня утѣшить... А долго я въ такомъ случаѣ буду еще мучиться?

Я далъ неопредѣленный отвѣтъ и обѣщался придти завтра.

Назавтра боли значительно уменьшились, температура опустилась, больная смотрѣла бодро и весело. Она горячо пожала мнѣ руку.

— Ну, кажется, наконецъ, начинаю поправляться! — сказала она. — Ужъ надоѣла же я вамъ, докторъ, признайтесь! Такая нетерпѣливая, просто срамъ! Ужъ меня мужъ и то стыдитъ... Скажите, теперъ можно надѣяться, что пойдетъ на выздоровленіе?

— Безусловно!.. Вы хотѣли, чтобъ салициловый натръ подѣйствовалъ моментально, — это невозможно. Такъ быстро, какъ вы желали, онъ не дѣйствуетъ, но зато дѣйствуетъ вѣрно. Только пока во всякомъ случаѣ продолжайте еще принимать его.

— Я очень потѣю отъ него, — ночью пришлось смѣнить три рубашки.

— А звону въ ушахъ нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Въ такомъ случаѣ продолжайте, если не хотите, чтобъ процессъ снова обострился.

— Ой, нѣтъ, нѣтъ, не хочу!—засмѣялась она.— Лучше готова смѣнить хоть десять рубашекъ.

Пріѣзжаю на слѣдующій день, вхожу къ больной. Она даже не пошевельнулась при моемъ приходѣ: наконецъ, неохотно повернула ко мнѣ голову; лицо ея спалось, подъ глазами были синіе круги.

— А у меня, докторъ, боли появились въ правомъ плечѣ!—медленно произнесла она, съ ненавистью глядя на меня.—Всю ночь не могла заснуть отъ боли, хотя очень аккуратно принимала вашу салицилку. Для васъ это, не правда ли, очень неожиданно?

Увы, совершенно вѣрно! Для меня это было очень неожиданно... Я, можетъ быть, поступилъ легкомысленно, обѣщавъ съ самаго начала быстрое излеченіе: учебники мои оговаривались, что иногда салициловый натръ остается при ревматизмѣ недѣйствительнымъ; но чтобъ, разъ начавшись, дѣйствіе его ни съ того, ни съ сего способно было прекратиться,—этого я совершенно не предполагалъ. Книги не могли излагать дѣла иначе, какъ схематически, но могъ ли и я, руководствовавшійся исключительно книгами, быть не схематичнымъ?

При прощаніи меня больше не просили придти. Какъ это ни было для меня оскорбительно, но въ душѣ я былъ радъ, что отдѣлался отъ своей пациентки: измучила она меня чрезвычайно.

Впрочемъ, мало радостей давала мнѣ и вообще моя практика. Я теперь постоянно находился въ страшно нервномъ состояніи. Какъ ни низко цѣнилъ я свои врачебныя знанія, но, когда дошло до дѣла, мнѣ пришлось убѣдиться, что я оцѣнивалъ ихъ все-таки слишкомъ высоко. Почти каждый случай съ такою наглядностью раскрывалъ передо мною все съ новыхъ и новыхъ сторонъ всю глубину моего невѣжества и неподготовленности, что у меня опускались руки. Полученныя мною въ университетѣ знанія представляли изъ себя хаотическую груду, въ которой я не могъ ориентироваться и передъ которою стоялъ въ полнѣйшей безпомощности. Моя книжная, отвлеченная наука, не провѣренная мною въ жизни, постоянно обманывала меня; въ ея твердыя и неподвижныя формы никакъ не могла уложиться живая жизнь, а сдѣлать эти формы эластичными и подвижными я не умѣлъ. Въ своихъ діагнозахъ и предсказаніяхъ насчетъ дальнѣйшаго теченія болѣзни я то и дѣло ошибался такъ, что боялся показаться пациентамъ на глаза. Когда меня спрашивали, какого вкуса будетъ прописываемое мною лекарство, я не зналъ, что отвѣтить, потому что самъ не только никогда не пробовалъ его, но даже и не видалъ. Я приходилъ въ ужасъ при одной мысли,—что, если меня позовутъ на роды? За время моего пребыванія въ университетѣ я видѣлъ всего лишь пятеро родовъ, и единственное, что я въ акушерствѣ зналъ твердо,—это то, съ какими опасностями сопряжено веденіе родовъ неопытною рукою... Жизнь больного человѣка, его душа были

мнѣ совершенно неизвѣстны; мы баричами посѣщали клиники, проводя у постели больного по десяти-пятнадцати минутъ; мы съ грѣхомъ пополамъ изучали *болѣзни*, но о больномъ *человѣкѣ* не имѣли даже самага отдаленнаго представленія.

Но что ужъ говорить о такихъ тонкостяхъ, какъ психологія больного человѣка. Мнѣ то и дѣло приходилось становиться втупикъ передъ самыми простыми вещами, я не зналъ и не умѣлъ дѣлать того, что знаетъ любая больничная сидѣлка. Я говорилъ окружавшимъ: „Поставьте больному клизму, положите припарку“, и боялся, чтобъ меня не вздумали спросить: „А какъ это нужно сдѣлать?“ Такихъ „мелочей“ намъ не показывали; вѣдь это дѣло фельдшеровъ, сидѣлокъ, а врачъ долженъ только отдать соотвѣтственное приказаніе. Но въ моемъ распоряженіи не было ни фельдшеровъ, ни сидѣлокъ, а окружавшіе обращались за указаніями ко мнѣ... Пришлось отложить въ сторону большія, „серьезныя“ руководства и взяться за книги въ родѣ „Ухода за больными“ Бильрота,— учебника, предназначеннаго для сестеръ милосердія. И я, на выпускномъ экзаменѣ артистически сдѣлавшій на трупѣ ампутацію колѣна по Сабатѣву,—я теперь старательно изучалъ, какъ нужно поднять слабаго больного и какъ поставить мушку.

Недалеко отъ меня жилъ на покоѣ отказавшійся отъ практики старикъ-докторъ Иванъ Семеновичъ Н. Если до него случайно дойдутъ эти строки, то пусть онъ лишній разъ приметъ отъ меня горячую благодарность за участіе, которое онъ проявлялъ ко мнѣ въ то тяжелое для

меня время. Я откровенно рассказывалъ ему о своихъ недоумѣніяхъ и ошибкахъ, совѣтовался обо всемъ, чего не понималъ, даже таскать его къ своимъ пациентамъ; съ чисто отеческою отзывчивостью Иванъ Семеновичъ всегда былъ готовъ придти ко мнѣ на помощь и своими знаніями, и опытностью, и всѣмъ, чѣмъ могъ. И каждый разъ, когда мы съ нимъ стояли у постели больного, онъ, — спокойный, находчивый и увѣренный въ себѣ, и я, — безпомощный и робкій, мнѣ казалось вопіющей безсмыслицей, что оба мы съ нимъ равноправные товарищи, имѣющіе одинаковые дипломы.

Я лечилъ одного мелочного лавочника. У него былъ очень тяжелый сыпной тифъ, осложнившійся правостороннимъ паротитомъ (воспаленіемъ околоушной железы). Однажды, рано утромъ, жена лавочника прислала ко мнѣ мальчика съ просьбою придти немедленно: мужу ея за ночь стало очень худо, и онъ задыхается. Я пришелъ. Больной былъ въ полубезсознательномъ состояніи, онъ дышалъ тяжело и хрипло, какъ будто ему что-то сдавило горло; при каждомъ вдохѣ подреберья втягивались глубоко внутрь; засохшая слизь коричневою пленкою покрывала его зубы и края губъ, пульсъ былъ очень слабъ. Опухоль железы мѣшала больному раскрыть, какъ слѣдуетъ, ротъ, и мнѣ не удалось осмотрѣть полости рта и зѣва. Я поспѣшилъ домой, яко бы за шприцемъ, чтобы впрыснуть больному камфору, и сталъ пересматривать въ учебникѣ главу о тифѣ. Что можетъ при тифѣ вызвать затрудненное дыханіе? Единственное, на

что указывалъ учебникъ, было отекъ гортани вслѣдствіе воспаленія черпаловидныхъ хрящей. Въ этомъ случаѣ моя записная книжка указывала слѣдующее леченіе: „энергическія слабительныя, глотать кусочки льда; если ничего не помогаетъ, немедленно трахеотомія“. Я воротился къ больному, впрыснулъ ему подъ кожу камфору, назначилъ ледъ и одно изъ самыхъ энергическихъ слабительныхъ—колоквину.

Черезъ нѣсколько часовъ я пришелъ снова. Колоквинта подѣйствовала, но дыханіе больного стало еще болѣе затрудненнымъ. Оставался одинъ исходъ—трахеотомія. Я отправился къ Ивану Семеновичу. Онъ внимательно выслушалъ меня, покачалъ головою и поѣхалъ со мною.

Осмотрѣвъ больного, Иванъ Семеновичъ заставилъ его сѣсть, набралъ въ гуттаперчевый баллонъ теплой воды и, введя наконечникъ между зубами больного, проспринцовалъ ему ротъ; вышла масса вязкой, тягучей слизи. Больной сидѣлъ, кашляя и перхая, а Иванъ Семеновичъ продолжалъ энергично спринцовать; какъ онъ не боялся, что больной захлебнется?.. Съ каждымъ новымъ спринцованіемъ слизь выдѣлялась снова и снова; я былъ пораженъ, что такое невѣроятное количество слизи могло умѣститься во рту человека.

— Ну, ну, откашляйтесь, плюньте!—громко и властно повторялъ Иванъ Семеновичъ. И больной пришелъ въ себя, и плевалъ...

Дыханіе его стало совершенно свободнымъ.

— А я ему колоквину назначилъ,—skonфу-

женно произнесъ я, когда мы вышли отъ больного.

— Ай-ай-ай!—сказалъ Иванъ Семеновичъ, покачивъ головою.—Такому слабому! Этакъ не долго и убить человѣка!.. Да и какое могло быть къ ней показаніе? Просто, человѣкъ безъ сознанія, глотаеъ плохо,—понятно, во рту разная дрянь и накопилась.

Въ книгахъ не было указанія на возможность подобнаго „осложненія“ при тифѣ; но развѣ книги могутъ предвидѣть всѣ мелочи? Я былъ въ отчаяніи: я такъ глупъ и несообразителенъ, что не го-жусь во врачи, я только способенъ дѣйствовать по-фельдшерски, по готовому шаблону. Теперь мнѣ смѣшно вспомнить объ этомъ отчаяніи: студентамъ очень много твердятъ о необходимости индивидуализировать каждый случай, но *умѣнье* индивидуализировать достигается только опытомъ.

Съ каждымъ днемъ моей практики предо мною все настойчивѣе вставалъ вопросъ: по какому-то невѣроятному недоразумѣнію я сталъ обладателемъ врачебнаго диплома,—имѣю ли я на этомъ основаніи право считать себя врачомъ? И жизнь съ каждымъ разомъ все убѣдительнѣе отвѣчала мнѣ: нѣтъ, не имѣю!

Наконецъ, произошелъ одинъ случай. И теперь еще, когда я вспоминаю о немъ, мною овладѣваютъ тоска и ужасъ. Но рассказывать, такъ ужъ все рассказывать.

На самомъ краю города, въ убогой лачугѣ, жила вдова-прачка съ тремя дѣтьми. Двое изъ

нихъ умерли отъ скарлатины въ больницѣ; вскорѣ послѣ ихъ смерти заболѣлъ и послѣдній,—худой, некрасивый мальчикъ лѣтъ восьми. Мать ни за что не хотѣла отвезти его также въ больницу и рѣшила лечить дома. Она обратилась ко мнѣ. У мальчика была скарлатина въ очень тяжелой формѣ; онъ бредилъ и метался, температура была 41°, пульсъ почти не прощупывался. Осмотрѣвъ больного, я сказалъ матери, что наврядъ ли и онъ выживетъ. Прачка упала передо мною на колѣни.

— Батюшка, спасите его!.. Послѣдній онъ у меня остался! Растила его, кормильца, на старость... Сколько могу, заплачу вамъ, вѣкъ на васъ даромъ стирать буду!

Жизнь мальчика около недѣли висѣла на волоскѣ. Наконецъ, температура понемногу опустилась, сыпь поблѣднѣла; больной началъ приходить въ себя. Явилась надежда на благопріятный исходъ. Мнѣ дорогъ сталъ этотъ чахлый, некрасивый мальчикъ, съ лупившейся на лицѣ кожей и апатичнымъ взглядомъ. Счастливая мать восторженно благодарила меня.

Спустя нѣсколько дней, у больного снова появилась лихорадка, а правыя подчелюстныя железы опухли и стали болѣзненны. Опухоль съ каждымъ днемъ увеличивалась. Само по себѣ это не представляло большой опасности: въ худшемъ случаѣ железы нагноились бы, и образовался бы нарывъ. Но для меня такое осложненіе было крайне непріятно. Если образуется нарывъ, то его нужно будетъ прорѣзать; разрѣзъ придется дѣлать на

шеѣ, въ которой находится такая масса артерій и венъ. Что, если я порѣжу какой-нибудь крупный сосудъ, сумѣю ли я справиться съ кровотеченіемъ? Я до сихъ поръ еще *ни разу* не касался ножомъ живого тѣла; видѣть—я видѣлъ всѣ самыя сложныя и трудныя операціи, но теперь, предоставленный самому себѣ, боялся прорѣзать простой нарывъ.

Въ начальной стадіи воспаленія железъ очень хорошо дѣйствуютъ втиранія сѣрой ртутной мази; примѣненные во-время, эти втиранія нерѣдко обрываютъ воспаленіе, не доводя его до нагноенія. Я рѣшилъ втереть моему больному сѣрую мазь. Опухоль была очень болѣзненна, и поэтому на первый разъ я втеръ мазь не сильно. На слѣдующій день мальчикъ глядѣлъ бодрѣе, пересталъ ныть, температура понизилась; онъ улыбался и просилъ ѣсть. Железы были значительно менѣе болѣзненны. Я вторично втеръ въ опухоль мазь, на этотъ разъ сильнѣе. Мать почти молилась на меня и горько жалѣла, что не позвала меня къ двумъ умершимъ дѣтямъ; тогда бы и тѣ остались живы.

Когда я на завтра пришелъ къ больному, я нашелъ въ его состояніи рѣзкую перемену. Мальчикъ лежалъ на спинѣ, поворотивъ голову на бокъ, и непрерывно стоналъ; въ правой надключичной ямкѣ, ниже первоначальной опухоли, краснѣла большая новая опухоль. Я поблѣднѣлъ и съ бьющимся сердцемъ сталъ изслѣдовать больного. Температура была 39,5°; правый локтевой суставъ распухъ и былъ такъ болѣзненъ, что до руки нельзя было дотронуться. Мать, хотя сильно

обезпокоенная, съ довѣріемъ и надеждою слѣдила за мною... Я вышелъ, какъ убитый; дѣло было ясно: своими втираніями я разогналъ изъ железы гной по всему тѣлу, и у мальчика начиналось общее гноекроеіе, отъ котораго спасенія нѣтъ.

Весь день я въ тупомъ оцѣпенѣніи пробродилъ по улицамъ; я ни о чемъ не думалъ, и только весь былъ охваченъ ужасомъ и отчаяніемъ. Иногда въ сознаниіи вдругъ ярко вставала мысль: „*да вѣдь я убилъ человѣка!*“ И тутъ нельзя было ничѣмъ обмануть себя: дѣло не было бы яснѣе, если бы я прямо перерѣзалъ мальчику горло.

Больной прожилъ еще полторы недѣли; каждый день у него появлялись все новые и новые нарывы,—въ суставахъ, въ печени, въ почкахъ... Мучился онъ безмѣрно, и единственное, что оставалось дѣлать, это впрыскивать ему морфій. Я посѣщалъ больного по нѣскольку разъ въ день. При входѣ меня встрѣчали страдальческіе глаза ребенка на его осунувшемся, потемнѣвшемъ лицѣ; стиснувъ зубы, онъ все время слабо и протяжно стоналъ. Мать ужъ знала, что надежды нѣтъ.

Наконецъ, однажды,—это было подъ вечеръ,—войдя въ лачугу прачки, я увидѣлъ своего пациента на столѣ. Все кончилось... Съ какимъ-то острымъ и мучительнымъ любопытствомъ я подошелъ къ трупу. Заходящее солнце освѣщало восковое, исхудалое лицо мальчика; онъ лежалъ, наморщивъ брови, какъ будто скорбно думая о чемъ-то, — а я, его убійца, смотрѣлъ на него... Осиротѣвшая мать рыдала въ углу. По голымъ стѣнамъ лачуги висѣла пыльная паутина, отъ

грязнаго землянаго пола несло сыростью, было холодно-холодно и пусто. Рыданія сдавили мнѣ горло. Я подошелъ къ матери и сталъ ее утѣшать.

Черезъ полчаса я собрался уходить. Прачка вдругъ засуетилась, торопливо полѣзла въ сундукъ и протянула мнѣ засаленную трехрублевку.

— Примите, батюшка... за труды... — сказала она.—Ужь какъ вы старались, спаси васъ Царица Небесная!

Я отказался. Мы стояли съ нею въ полутемныхъ сѣнцахъ.

— Не судить, видно, Богъ! — проговорилъ я, стараясь не смотрѣть въ глаза прачки.

— Его святая воля... Онъ лучше знаетъ,—отвѣтила прачка, и губы ея снова запрыгали отъ рыданій.—Батюшка мой, спасибо тебѣ, что жалѣлъ мальчика!..

И она, плача, упала передо мною на колѣни и старалась поцѣловать мнѣ руку, благодаря меня за мою ласковость и доброту...

Нѣтъ! Все бросить, отъ всего отказаться, и ѣхать въ Петербургъ учиться, хотя бы тамъ пришлось умереть съ голоду!

V.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, я записался на курсы въ Еленинскомъ Клиническомъ Институтѣ; этотъ институтъ основанъ спеціально для желающихъ усовершенствоваться врачей. Но, походивъ туда

нѣкоторое время, я убѣдился, что курсы эти не много дадутъ мнѣ; дѣло велось тамъ совсѣмъ такъ же, какъ въ университетѣ: мы опять смотрѣли, смотрѣли—и только; а смотрѣть я ужъ и безъ того достаточно. Эти курсы очень полезны для врачей, уже практиковавшихъ, у которыхъ въ ихъ практикѣ назрѣло много вопросовъ, требующихъ разрѣшенія; для насъ же, начинающихъ, они имѣютъ мало значенія: главное, что намъ нужно,—это больницы, въ которыхъ бы мы могли работать подъ контролемъ опытныхъ руководителей.

Я сталъ искать себѣ мѣста хотя бы за самое ничтожное вознагражденіе, чтобъ только можно было быть сытымъ и не ночевать на улицѣ: средствъ у меня не было никакихъ. Я исходилъ всѣ больницы, былъ у всѣхъ главныхъ врачей: они выслушивали меня съ холодно-любезнымъ, скупающимъ видомъ и отвѣчали, что мѣсть нѣтъ и что вообще я напрасно думаю, будто можно гдѣ-нибудь попасть въ больницу сразу на платное мѣсто. Вскорѣ я и самъ убѣдился, какъ наивны были такія мечты. Въ каждой больницѣ работаютъ даромъ десятки врачей; тѣ изъ нихъ, которые хотятъ получать нищенское содержаніе штатнаго ординатора, должны дожидаться этого по пяти, по десяти лѣтъ; большинство же на это вовсе и не рассчитываетъ, а работаетъ только для пріобрѣтенія того, что имъ должна была дать, но не дала школа.

Учрежденія, особенно городъ, широко пользуются у насъ такимъ положеніемъ вещей и эксплуатируютъ трудъ врача въ невѣроятныхъ размѣрахъ.

Въ Копенгагенѣ городъ служитъ дѣлу медицинскаго образованія, щедро давая въ своемъ госпиталѣ мѣста молодымъ врачамъ, причемъ ограничиваетъ ихъ службу двумя годами, чтобы затѣмъ очистить мѣсто для новыхъ врачей; во Франціи той же цѣли служатъ городскія больницы всѣхъ городовъ. У насъ же въ 1894 году въ петербургской думѣ однимъ изъ гласныхъ было внесено предложеніе *советѣмъ уничтожить жалованье больничнымъ врачамъ*, такъ какъ всегда найдется достаточно врачей и даровыхъ. „Врачи, — заявилъ онъ, — должны быть ужъ тому рады, что ихъ допускаютъ въ больницы“...

Я махнулъ рукою на надежду пристроиться и опредѣлился въ больницу „сверхштатнымъ“. Нуждаться приходилось сильно: по вечерамъ я подстригалъ „бахромки“ на своихъ брюкахъ и зашивалъ черными нитками расползавшіеся штиблеты; прописывая больнымъ порціи, я съ завистью перечитывалъ ихъ, потому что самъ питался чайною колбасою. Въ это крутое для меня время я испыталъ и понялъ явленіе, казавшееся мнѣ прежде совершенно непонятнымъ, — какъ можно пьянствовать съ голоду. Теперь, когда я проходилъ мимо трактира, меня такъ и тянуло въ него; мнѣ казалось высшимъ блаженствомъ подойти къ ярко освѣщенной стойкѣ, уставленной вкусными закусками, и выпить рюмку-другую водки; странно, что меня, полуголоднаго и вовсе не алкоголика, главнымъ образомъ привлекала именно водка, а не закуски. Когда у меня заводился въ карманѣ рубль, я не могъ побороть искушенія и напивался пья-

нымъ. Ни до этого времени, ни послѣ, когда я питался, какъ слѣдуетъ, водка совершенно не тянула меня къ себѣ.

Работать въ больницѣ приходилось много. При этомъ я видѣлъ, что трудъ мой прямо *нуженъ* больницѣ, и что любезность, съ которою мнѣ „позволяли“ въ ней работать, была любезностью предпринимателя, „дающаго хлѣбъ“ своимъ рабочимъ; разница была только та, что за мою работу мнѣ платили не хлѣбомъ, а однимъ лишь позволеніемъ работать. Когда, усталый и разбитый, я возвращался домой послѣ безсоннаго дежурства и ломалъ себѣ голову, что бы попитательнѣе купить себѣ на восемь копѣекъ для обѣда, меня охватывали злоба и отчаяніе: неужели за весь свой трудъ я не имѣю права быть хоть сытымъ?

И я начиналъ жалѣть, что бросилъ свою практику и пріѣхалъ въ Петербургъ. Бильротъ говорить: „Только врачъ, не имѣющій ни капли совѣсти, можетъ позволить себѣ самостоятельно пользоваться тѣми правами, которыя ему даетъ его дипломъ“. А кто въ этомъ виновать? Не мы! Сами устраиваютъ такъ, что намъ нѣтъ другого выхода,—пускай сами же и платятся!..

Кромѣ своей больницы, я продолжалъ посѣщать нѣкоторые курсы въ Клиническомъ Институтѣ, а также работалъ и въ другихъ больницахъ. И вездѣ я воочію убѣждался, какъ мало значенія придають въ медицинскомъ мірѣ нашему врачебному диплому „со всѣми правами и преимуществами, сопряженными по закону съ этимъ зва-

ніемъ“. У насъ въ больницѣ долгое время каждое мое назначеніе, каждый діагнозъ строго контролировались старшимъ ординаторомъ; гдѣ я ни работалъ, меня допускали къ леченію больныхъ, а тѣмъ болѣе къ операціямъ, лишь убѣдившись на дѣлѣ, а не на основаніи моего диплома, что я способенъ дѣйствовать самостоятельно. Въ Надеждинскомъ родовспомогательномъ заведеніи врачъ, желающій научиться акушерству, въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ имѣетъ право только изслѣдовать роженицъ и смотрѣть на операціи; по истеченіи трехъ мѣсяцевъ онъ сдаетъ colloquium, и лишь послѣ этого его допускаютъ къ операціямъ подъ руководствомъ старшаго дежурнаго ассистента... Можетъ ли пренебреженіе къ нашимъ „правамъ“ идти дальше? Дипломъ признаетъ меня полноправнымъ врачомъ, законъ, подъ угрозой суроваго наказанія, *обязываетъ* меня являться по вызову акушерки на трудные роды, а здѣсь мнѣ не позволяютъ провести самостоятельно даже самыхъ легкихъ родовъ, и поступаютъ, разумѣется, воплнѣ основательно.

„Я требую,—писалъ въ 1874 году извѣстный нѣмецкій хирургъ Лангенбекъ, — чтобы всякій врачъ, призванный на поле сраженія, обладалъ оперативною техникою настолько же въ совершенствѣ, насколько боевые солдаты владѣютъ военнымъ оружіемъ“... Кому, дѣйствительно, можетъ придти въ голову послать въ битву солдатъ, которые никогда не держали въ рукахъ ружья, а только видѣли, какъ стрѣляютъ другіе? А между тѣмъ врачи повсюду идутъ не только на поле сраженія, а и во-

обще въ жизнь неловкими рекрутами, не знающими, какъ взяться за оружіе.

Медицинская печать всѣхъ странъ истощается въ усиліяхъ добиться устраненія этой вопіющей несообразности, но всѣ ея усилія остаются тщетными. Почему?.. Я рѣшительно не въ состояніи объяснить себѣ этого... Кому невыгодно понять необходимость практической подготовленности врача? Не обществу, конечно,—но вѣдь и не самимъ же врачамъ, которые все время не устаютъ твердить этому обществу: „вѣдь мы учимся на *васъ*, мы приобретаемъ опытность цѣною *вашей* жизни и здоровья“!..

VI.

Я усердно работалъ въ нашей больницѣ и, руководимый старшими товарищами-врачами, понемногу приобретаю опытность.

Поскольку въ этомъ отношеніи дѣло касалось разнаго рода назначеній, то все шло легко и просто; я дѣлалъ назначенія, и, если они оказывались неразумными, старшей товарищ указывалъ мнѣ на это, и я исправлялъ свои ошибки. Совсѣмъ иначе обстояло дѣло тамъ, гдѣ приходилось усваивать извѣстные техническіе, оперативные приемы. Однихъ указаній здѣсь мало; какъ бы мой руководитель ни былъ опытенъ, но главное все-таки я долженъ приобрести самъ; оперировать твердо и увѣренно можетъ только тотъ, кто имѣетъ навыкъ, а какъ получить этотъ навыкъ, если предвари-

тельно не оперировать—хотя бы рукою нетвердою и неувѣренною?

Въ серединѣ восьмидесятихъ годовъ америкавецъ О'Двайеръ изобрѣлъ новый способъ леченія угрожающихъ сѣуженій гортани у дѣтей, преимущественно при крупѣ. Раньше при такихъ сѣуженіяхъ прибѣгали къ трахеотоміи: больному вскрывали спереди дыхательное горло и въ разрѣзъ вставляли трубку. Въмѣсто этой кровавой операціи, страшной для близкихъ больного, требующей хлороформа и ассистированія нѣсколькихъ врачей, О'Двайеръ предложилъ свой способъ, который заключается въ слѣдующемъ: операторъ вводитъ въ ротъ ребенка лѣвый указательный палецъ и захватываетъ имъ надгортанный хрящъ, а правую рукою посредствомъ особаго инструмента вводитъ по этому пальцу въ гортань ребенка металлическую трубочку съ утолщенной головкой. Трубка оставляется въ гортани; утолщенная головка ея, лежащая на гортанныхъ связкахъ, мѣшаетъ трубкѣ проскользнуть въ дыхательное горло; когда надобность минуетъ, трубка извлекается изъ гортани. Операція эта, которая называется *интубаціей*, часто достигаетъ удивительныхъ результатовъ и моментально устраняетъ удушье. Въ настоящее время она все больше вытѣсняетъ при дифтеритѣ трахеотомію, которая остается только для тѣхъ, сравнительно рѣдкихъ, случаевъ, гдѣ интубація не помогаетъ.

Операція эта достигаетъ удивительныхъ результатовъ, проста и безболѣзненна, но... но лишь въ томъ случаѣ, если производится опытною рукою

Нуженъ большой навыкъ, чтобъ легко и безъ зацѣпки ввести трубочку въ большую гортань кричащаго и испуганнаго ребенка.

Въ дифтеритномъ отдѣленіи я работалъ подѣ руководствомъ товарища по фамиліи Стратоновъ. Я не одинъ десятокъ разъ присутствовалъ при томъ, какъ онъ дѣлалъ интубацію, не одинъ десятокъ разъ самъ продѣлывалъ ее на фантомѣ и на трупѣ. Наконецъ, Стратоновъ предоставилъ мнѣ сдѣлать операцію на живомъ ребенкѣ. Это былъ мальчуганъ лѣтъ трехъ, съ пухлыми щеками и славными синими глазенками. Онъ дышалъ тяжело и хрипло, порывисто метаясь по постели, съ блѣдно-синеватымъ лицомъ, съ втягивающимися межреберьями. Его перенесли въ операціонную, положили на кушетку и забинтовали руки. Стратоновъ вставилъ ему въ ротъ расширитель; сестра милосердія держала мальчику голову. Я сталъ вводить инструментъ. Маленькая, мягкая гортань ребенка билась и прыгала подѣ моимъ пальцемъ, и я никакъ не могъ въ ней ориентироваться. Наконецъ, мнѣ показалось, что я нащупалъ входъ въ гортань; я началъ вводить трубку; но она уперлась концомъ во что-то и не шла дальше. Я надавилъ сильнѣе, но трубка не шла.

— Да не нажимайте, силою вы тутъ ничего не сдѣлаете, — замѣтилъ Стратоновъ. — Поднимайте рукоятку кверху и вводите совершенно безъ всякаго насилія.

Я вытацилъ интубаторъ и сталъ вводить его снова; долго тыкалъ я концомъ трубки въ гортань; наконецъ трубка вошла, и я извлекъ провод-

никъ. Ребенокъ, — задыхающійся, измученный, — тотчасъ же выплюнулъ трубку вмѣстѣ съ окровавленной слюною.

— Вы въ пищеводъ трубку ввели, а не въ гортань, — сказала Стратоновъ. — Нащупайте предварительно надгортанникъ и сильно отдавите его впередъ, фиксируйте его такимъ образомъ, и вводите трубку во время вдоха. Главное же — никакого насилія.

Красный и потный, я передохнулъ и снова приступилъ къ операціи, стараясь не смотрѣть на выпученные, страдающіе глаза ребенка. Гортань его опухла, и теперь было еще труднѣе ориентироваться. Конецъ трубки все упирался во что-то, и я никакъ не могъ побороть себя, чтобъ не попытаться преодолѣть препятствія силою.

— Нѣтъ, не могу! — наконецъ объявилъ я, нахмурившись, и выпуль проводникъ.

Стратоновъ взялъ интубаторъ и быстро ввелъ его въ ротъ ребенка; мальчикъ забился, вытаращилъ глаза, дыханіе его на секунду остановилось; Стратоновъ нажалъ винтикъ и ловко вытащилъ проводникъ. Послышался характерный дующій шумъ дыханія черезъ трубку; ребенокъ закашлялъ, стараясь выхаркнуть трубку.

— Нѣтъ, разбойникъ, не выкашляешь! — усмѣхнулся Стратоновъ, трепля его по щекѣ.

Черезъ пять минутъ мальчикъ спокойно спалъ, дыша ровно и свободно.

Началось тяжелое время. Научиться интубировать было необходимо; между тѣмъ всѣ указанія и объясненія нѣсколько мнѣ не помогали, а мои

предшествовавшія упражненія на фантомъ и трупъ оказывались очень мало приложимыми. Только недѣли черезъ полторы мнѣ въ первый разъ удалось, наконецъ, ввести трубку въ гортань. Но еще долго и послѣ этого, приступая къ интубаціи, я далеко не былъ увѣренъ, удастся ли она мнѣ. Иногда случалось, что, истерзавъ ребенка и истерзавшись самъ, я долженъ былъ посылать за ассистентомъ, который и вставлялъ трубку.

Все это страшно тяжело, но какъ же иначе быть? Операція такъ полезна, такъ наглядно спасаетъ жизнь... Это особенно ясно я чувствую теперь, когда все тяжелое уже осталось назад, и когда я возьмусь интубировать при какихъ угодно условіяхъ. Недавно ночью, на дежурствѣ, мнѣ пришлось дѣлать интубацію пятилѣтней дѣвочки; наканунѣ ей ужъ была вставлена трубочка, но черезъ сутки она выкашляла ее. Больную внесли въ операціонную, я сталъ готовить инструменты. Дѣвочка сидѣла на колѣняхъ у сидѣлки,—блѣдная, съ капельками пота на лбу, съ выраженіемъ той страшной тоски, какая бываетъ только у задыхающихся людей. При видѣ инструментовъ ея помутнѣвшіе глаза слабо блеснули; она сама раскрыла ротъ и сидѣла такъ, съ робкой, ожидающей надеждой слѣдя за мною. У меня сладко сжалось сердце. Быстро и легко, самъ наслаждаясь своею ловкостью, я ввелъ ей въ гортань трубку.

Дѣвочка поднялась на кушеткѣ и сѣла, жадно, всею грудью, вдыхая воздухъ; щеки ея порозовѣли, глазенки счастливо блестяли.

— Что, легко дышать теперь?—спросилъ я.

Она молча кивнула головою.

— Ну, благодари доктора, скажи: „спасибо!“— улыбулась сестра милосердія, наклоняя ея голову.

— Спа-си-бо!—прошептала дѣвочка, съ тихой лаской глядя на меня изъ-подъ поднятыхъ бровей.

Я воротился въ дежурную, легъ спать, но заснуть долго не могъ; я, улыбаясь, смотрѣлъ въ темноту, и передо мною вставало счастливое дѣтское личико, и слышался слабый шопотъ: „спаси-бо!..“

Да, такія минуты смягчаютъ воспоминаніе о пройденномъ пути и до нѣкоторой степени примиряютъ съ нимъ: иначе нельзя, а не было бы перваго, не было бы и второго. Но все-таки *тѣ*-то, первые,—что имъ до чужого благополучія, купленнаго цѣною ихъ собственныхъ мукъ? А сколько такихъ мукъ, сколько загубленныхъ жизней лежить на пути каждаго врача! „Наши успѣхи идутъ черезъ горы труповъ“,— съ грустью сознается Бильротъ въ одномъ частномъ письмѣ.

Мнѣ особенно ярко вспоминается моя первая трахеотомія; это воспоминаніе кошмаромъ будетъ стоять передо мною всю жизнь. Я много разъ ассистировалъ при трахеотоміяхъ товарищамъ, много разъ самъ продѣлалъ операцію на трупѣ. Наконецъ, однажды мнѣ предоставили сдѣлать ее на живой дѣвочкѣ, которой интубація перестала помогать. Одинъ врачъ хлороформировалъ больную, другой,—Стратоновъ,—ассистировалъ мнѣ, каждую минуту готовый придти на помощь.

Съ первымъ же разрѣзомъ, который я провель

по бѣлому, пухлому горлу дѣвочки, я почувствовалъ, что не въ силахъ подавить охватившаго меня волненія; руки мои слегка дрожали:

— Не волнуйтесь, все идетъ хорошо,—спокойно говорилъ Стратоновъ, осторожно захватывая окровавленную фасцію своимъ пинцетомъ рядомъ съ моимъ.—Крючки!.. Вотъ она щитовидная железа, отдѣлите фасцію!.. Тупымъ путемъ идите!.. Такъ, хорошо!..

Я наконецъ добрался зондомъ до трахеи, торопливо разрывая имъ рыхлую клѣтчатку и отстраняя черныя, набухшія вены.

— Осторожнѣе, не нажимайте такъ,—сказалъ Стратоновъ.—Вѣдь этакъ вы всѣ кольца трахеи поломаете! Не спѣшите!

Гладкія, хрящеватыя кольца трахеи ровно двигались подъ моимъ пальцемъ вмѣстѣ съ дыханіемъ дѣвочки; я фиксировалъ трахею крючкомъ и сдѣлалъ въ ней разрѣзъ; изъ разрѣза слабо засвистѣлъ воздухъ.

— Расширитель!

Я ввелъ въ разрѣзъ расширитель... Слава Богу, сейчасъ конецъ! Но изъ-подъ расширителя не было слышно того характернаго шипящаго шума, который говоритъ о свободномъ выходѣ воздуха изъ трахеи.

— Вы мимо ввели расширитель, въ средостѣніе!—вдругъ нервно крикнулъ Стратоновъ.

Я вытащилъ расширитель и дрожащими отъ волненія руками ввелъ его вторично,—но опять не туда. Я все больше терялся. Глубокая воронка раны то и дѣло заливалась кровью, которую сестра

милосердія быстро вытирала ватнымъ шарикомъ; на днѣ воронки кровь пѣнилась отъ воздуха, выходящаго изъ разрѣзанной трахеи; сама рана была безобразная и неровная, ввиду ея зіялъ ходъ, проложенный моимъ расширителемъ. Сестра милосердія стояла съ страдающимъ лицомъ, прикусивъ губу, сидѣлка, державшая ноги дѣвочки, низко опустила голову, чтобъ не видѣть...

Стратоновъ взялъ у меня расширитель и сталъ вводить его самъ. Но онъ долго не могъ найти разрѣза. Съ большимъ трудомъ ему удалось наконецъ ввести расширитель; раздался шипящій шумъ, изъ трахеи съ кашлемъ полетѣли брызги кровавой слизи. Стратоновъ ввелъ канюлю, наклонился и сталъ трубочкою высасывать изъ трахеи кровь.

— Коллега, вѣдь это нечего же объяснять, это само собою понятно,—сказалъ онъ по окончаніи операциі: —разрѣзъ нужно дѣлать въ самой серединѣ трахеи, а вы какимъ-то образомъ ухитрились сдѣлать его сбоку; и зачѣмъ вы сдѣлали такой большой разрѣзъ?

„Зачѣмъ!“ На трупѣ у меня и разрѣзы были нужной длины, и лежали они точно въ серединѣ трахеи...

У оперированной образовался дифтеритъ раны. Повязку приходилось мѣнять два раза въ день, температура все время была около сорока. Въ громадной гноящейся воронкѣ раны трубка не могла держаться плотно; приходилось туго тампонировать вокругъ нея марлею, и тѣмъ не менѣе трубка держалась плохо. Перевязки дѣлалъ Стратоновъ.

Однажды, раскрывъ рану, мы увидѣли, что часть трахеи омертвѣла. Это еще больше усложнило дѣло. Лишенная опоры, трубочка теперь, при введеніи въ разрѣзъ, упиралась просвѣтомъ въ переднюю стѣнку трахеи, и дѣвочка начинала задыхаться. Стратоновъ установилъ трубочку, какъ слѣдуетъ, и сталъ тщательно обкладывать ее ватой и марлей. Дѣвочка лежала, выкативъ страдающіе глаза, отчаянно топоча ножками и стараясь вырваться изъ рукъ державшей ее сидѣлки; лицо ея косилось отъ плача, но плача не было слышно: у трахеотомированныхъ воздухъ идетъ изъ легкихъ въ трубку, минуя голосовую щель, и они не могутъ издать ни звука. Перевязка была очень болѣзненна, но сердце у дѣвочки работало слишкомъ плохо, чтобы ее можно было хлороформировать.

Наконецъ, Стратоновъ наложилъ повязку; дѣвочка сѣла; Стратоновъ испытующе взглянулъ на нее.

— Дышитъ все-таки скверно!—сказалъ онъ, нахмурившись, и снова сталъ поправлять трубочку.

Лицо дѣвочки перестало морщиться; она сидѣла спокойно и, словно задумавшись, неподвижно смотрѣла въ даль поверхъ нашихъ головъ. Вдругъ послышался какой-то странный, слабый, прерывистый трескъ... Крѣпко стиснувъ челюсти, дѣвочка скрипѣла зубами.

— Ну, Нюша, потерпи немножко, сейчасъ не будетъ больно!--страдающимъ голосомъ произнесъ Стратоновъ, нѣжно глядя ее по щекѣ.

Дѣвочка широко открытыми, неподвижными

глазами смотрѣла въ дверь и продолжала быстро скрипѣть зубами; у нея все во рту трещало, какъ будто она торопливо разгрызала карамель; это былъ ужасный звукъ, мнѣ казалось, что она въ крошки разгрызла собственные зубы, и ротъ ея полонъ кашицы изъ раздробленныхъ зубовъ...

Черезъ три дня больная умерла. Я далъ себѣ слово никогда больше не дѣлать трахеотоміи.

Но чего же я этимъ достигъ? Товарищи, начавшіе работать одновременно со мною, но менѣе мягкосердечные, могутъ теперь спасти человѣку жизнь тамъ, гдѣ я стою, беспомощно опустивъ руки. Года черезъ полтора послѣ моей первой и послѣдней трахеотоміи въ нашу больницу во время моего дежурства привезли рабочаго изъ Колпина съ сифилитическимъ суженіемъ гортани; суженіе развивалось постепенно въ теченіе мѣсяца, и ужъ двое сутокъ больной почти совсѣмъ не могъ дышать. Исхудалый, съ торчащими вихрами рѣдкихъ волосъ, съ синевато-землистымъ лицомъ, онъ сидѣлъ, схватившись руками за грудь, дыша съ тяжелымъ хрипящимъ шумомъ. Я послалъ за товарищемъ, ассистентомъ-хирургомъ, и велѣлъ отвести больного въ операционную.

Ассистентъ осмотрѣлъ его.

— Придется операцию сдѣлать тебѣ, горло разрѣзать,—сказалъ онъ.

— Да, да, хорошо!.. Поскорѣе, ради Бога!—въ смертной тоскѣ произнесъ больной, закивавъ голову.

Пока приготовляли инструменты, больному дали вдыхать кислородъ.

— Ну, ложись!—сказаль товарищъ.

Больной положиль на себя широкій крестъ и, поддерживаемый служителями, полѣзъ на операціонный столъ. Пока мы мыли ему шею, онъ все время продолжалъ дышать кислородомъ. Я хотѣль взять у него трубку, онъ умоляюще ухватился за нее руками.

— Еще немножко, еще воздухомъ дайте подышать!—сипло прошепталъ онъ.

— Довольно, довольно! Сейчасъ тебѣ легко будетъ!—сказаль товарищъ.—Закрой глаза.

Больной еще разъ широко перекрестился и зажмурился.

Операція производилась подъ кокаиномъ. Одинъ-другой разрѣзъ, я развелъ крючками края раны, товарищъ вскрыль перстневидный хрящъ,—и брызги кровавой слизи съ кашлемъ полетѣли изъ разрѣза. Товарищъ ввелъ трубку и наложилъ повязку.

— Готово!—сказаль онъ.

Больной поднялся, жадно и глубоко вбирая въ грудь воздухъ; онъ улыбался безконечно-радостною, недоумѣвающей улыбкою и въ удивленіи крутиль головою.

— Что, братъ, ловко распатронили?—засмѣялся товарищъ.

И всѣ кругомъ смѣялись; смѣялись сестры, сидѣлки, служители... А больной попрежнему радостно-изумленно улыбался и, беззвучно шепча что-то, крутиль головою, пораженный чудеснымъ могуществомъ нашей науки.

Назавтра я зашелъ въ палату взглянуть на

него. Больной встрѣтилъ меня тою же радостно-недоумѣвающей улыбкою.

— Какъ дѣла?—спросилъ я.

Онъ закивалъ головою и развелъ руками, показывая, какъ ему хорошо... Я вышелъ съ тяжелымъ чувствомъ: я не могъ бы спасти его; если бы не было подъ рукою товарища, больной бы погибъ.

И я думалъ: нѣтъ, вздоръ всѣ мои клятвы! Что же дѣлать? Правъ Бильротъ,—„наши успѣхи идутъ черезъ горы труповъ“. Другого пути нѣтъ. Нужно учиться, нечего смущаться неудачами... Но въ моихъ ушахъ раздавался скрежетъ погубленной мною дѣвочки, и я съ отчаяніемъ чувствовалъ, что я не могу, не могу, что у меня не поднимется рука на новую операцію.

Какъ же въ данномъ случаѣ слѣдуетъ поступать? Вѣдь я не рѣшилъ вопроса,—я просто убѣждалъ отъ него. Лично я могъ это сдѣлать, но что было бы, если бы такъ поступали всѣ? Одинъ старый врачъ, завѣдующій хирургическимъ отдѣленіемъ N—ской больницы, рассказывалъ мнѣ о тѣхъ терзаніяхъ, которыя ему приходится переживать, когда онъ даетъ оперировать молодому врачу.—„Нельзя не дать, нужно же и имъ учиться, но какъ могу я смотрѣть спокойно, когда онъ, того и гляди, заѣдетъ ножомъ чортъ знаетъ куда?!“

И онъ отбираетъ ножъ у оператора и оканчиваетъ операцію самъ. Это очень добросовѣстно, но... но со стороны, отъ работавшихъ у него врачей, я слышалъ, что поступать въ его отдѣленіе не стоитъ: хирургъ онъ хороший, но у него ни-

чему не научишься. И это понятно. Хирургъ, который такъ щепетильно относится къ своимъ пациентамъ, не можетъ быть хорошимъ учителемъ. Вотъ что, напр., рассказываетъ одинъ русскій врачъ-путешественникъ о знаменитомъ Листерѣ, творцѣ антисептики; „Листеръ слишкомъ близко принимаетъ къ сердцу интересы своего больного и слишкомъ высоко ставитъ свою нравственную отвѣтственность передъ каждымъ оперируемымъ. Вотъ почему Листеръ рѣдко довѣряетъ своимъ ассистентамъ перевязку артерій, и вообще всѣ манипуляціи, касающіяся непосредственно оперируемаго, онъ выполняетъ собственноручно. Поэтому его молодые ассистенты не обладаютъ достаточною оперативною ловкостью“.

Если думать только о каждомъ данномъ больномъ, то иное отношеніе къ дѣлу и невозможно. Тотъ же путешественникъ,—проф. А. С. Тауберъ,—рассказывая о нѣмецкихъ клиникахъ, замѣчаетъ: „Громадная разница въ теченіи ранъ наблюдается въ клиникахъ между ампутаціями, произведенными молодыми ассистентами, и таковыми, сдѣланными ловкой и опытной рукой профессора: первыя нерѣдко ушибаютъ ткани, разминаютъ нервы, слишкомъ коротко урѣзываютъ мышцы или высоко обнажаютъ артеріальные сосуды отъ ихъ влагалницъ,—все это моменты, неблагоприятные для скорого заживленія ампутаціонной раны“.

Но нужно ли приводить еще ссылки въ доказательство истины, что, не имѣя опыта, нельзя стать опытнымъ операторомъ? Гдѣ же тутъ выходить? Съ точки зрѣнія врача можно еще прими-

риться съ этимъ: „все равно, ничего не подѣлаешь“. Но когда я воображаю себя пациентомъ, лежащимъ подъ ножъ хирурга, дѣлающаго свою первую операцію,—я не могу удовлетвориться такимъ рѣшеніемъ, я сознаю, что *долженъ* быть другой выходъ во что бы то ни стало.

На одинъ изъ такихъ выходовъ указалъ еще въ тридцатыхъ годахъ извѣстный французскій фізіологъ Мажанди. „Хорошій хирургъ анатомическаго театра,—говоритъ онъ,—не всегда будетъ хорошимъ госпитальнымъ хирургомъ. Онъ каждую минуту долженъ ждать тяжелыхъ ошибокъ, прежде чѣмъ пріобрѣтетъ способность оперировать съ увѣренностью. Способность эту будетъ въ состояніи дать ему только долгая практика, тогда какъ онъ долженъ былъ бы пріобрѣсти ее съ самаго начала, если бы его образованіе было лучше направлено. Больше всего въ этомъ виноватъ способъ обученія, который и до настоящаго времени практикуется въ нашихъ школахъ. Учащіеся переходятъ непосредственно отъ мертвой природы къ живой, они принуждены пріобрѣтать оытность на счетъ гуманности, на счетъ жизни себѣ подобныхъ. Господа! Прежде чѣмъ обращаться къ человѣку,—развѣ у насъ нѣтъ существъ, которыя должны имѣть въ нашихъ глазахъ меньше цѣны и на которыхъ позволительно примѣнять свои первыя попытки? Я бы хотѣлъ, чтобъ въ дополненіе къ медицинскому образованію у насъ требовалось умѣнье оперировать на живыхъ животныхъ. Кто привыкъ къ такого рода операціямъ, тотъ смѣется надъ трудностями, пе-

редь которыми беспомощно останавливается столько хирурговъ“.

Этотъ совѣтъ Мажанди очень легко исполнимъ; тѣмъ не менѣе и до настоящаго времени онъ нигдѣ не примѣняется. Изобрѣтая какую-либо *новую* операцію, хирургъ большею частью продѣлываетъ ее предварительно надъ животными. Но, сколько я знаю, нигдѣ въ мірѣ нѣтъ обычая, чтобы молодой хирургъ допускался къ операціи на живомъ человѣкѣ лишь послѣ того, какъ пріобрѣтетъ достаточно опытности въ упражненіяхъ надъ живыми животными. Да и гдѣ ужъ требовать этого, когда далеко не всегда операціямъ на живомъ человѣкѣ предшествуетъ достаточная подготовка даже въ операціяхъ на трупѣ. Въ тридцатыхъ годахъ хирургъ, занимавшійся анатоміей, вызывалъ пренебрежительный смѣхъ. Вотъ какъ, напр., отзывался профессоръ хирургіи Диффенбахъ о молодомъ французскомъ хирургѣ Вельпо: „это какой-то анатомическій хирургъ“. „По мнѣнію Диффенбаха,—говоритъ Пироговъ,—это была самая плохая рекомендація для хирурга“.

Такъ было въ тридцатыхъ годахъ,—а вотъ что сообщаетъ о современныхъ хирургахъ уже упомянутый выше проф. А. С. Тауберъ: „Въ Германіи обыкновенно молодые ассистенты хирургическихъ клиникъ учатся оперировать не на мертвомъ тѣлѣ, а на живомъ. Никто не станетъ отрицать того, что живая кровь, струящаяся подъ ударомъ ножа, или содроганіе живыхъ мышцъ во время оперированія развиваютъ въ молодомъ операторѣ смѣлость, паходчивость и увѣренность въ своихъ

дѣйствіяхъ; но, съ другой стороны, я думаю, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что такое упражненіе неопытной руки въ операціяхъ на живомъ—негуманно и несогласно съ задачами врача вообще“.

Мнѣ думается, что только самое строгое и систематическое проведеніе въ жизнь правила, рекомендуемаго Мажанди, могло бы хоть до извѣстной степени спасти больныхъ отъ необходимости платить своею кровью и жизнью за образованіе искусныхъ хирурговъ. Но все-таки это лишь до извѣстной степени. Когда можно признать хирурга „достаточно“ опытнымъ? Гдѣ для этого граница?

Въ 1873 году, на вершинѣ своей славы и опытности, Бильротъ писалъ одной своей старой знакомой: „У меня много оперированныхъ и еще больше такихъ, которыхъ предстоитъ оперировать; они занимаютъ все мои мысли; изъ года въ годъ увеличивается ихъ число, бремя становится все тяжелѣе и тяжелѣе. Часъ назадъ я ушелъ отъ одной славной женщины, которую я вчера оперировалъ,—страшная операція... Какимъ взглядомъ смотрѣла она на меня сегодня вечеромъ! „Останусь я жива?“ Я надѣюсь, она останется жива, но наше искусство такъ несовершенно! Столѣтіе все увеличивающагося знанія и опытности хотѣлъ бы я имѣть за собою,—тогда, можетъ быть, я могъ бы кое-что сдѣлать. Но такъ, какъ теперь,—успѣхи наши подвигаются довольно медленно, и то немногое, чего достигаетъ одинъ, такъ трудно передать другимъ! Получающій долженъ самое важное сдѣлать самъ“.

Хирургія есть искусство, и, какъ таковое, она

болѣе всего требуетъ творчества и менѣе всего мирится съ шаблономъ. Гдѣ шаблонъ, — тамъ ошибокъ нѣтъ, гдѣ творчество, — тамъ каждую минуту возможна ошибка. Долгимъ путемъ такихъ ошибокъ и промаховъ и вырабатывается мастеръ, а путь этотъ лежитъ опять-таки черезъ „горы труповъ“... Тотъ же Бильротъ, молодымъ доцентомъ хирургіи, писалъ своему учителю Бауму объ одномъ больномъ, которому Бильротъ произвелъ три раза въ теченіе одной недѣли насильственное вытяженіе ноги, не подозрѣвая, что головка бедра переломлена. „Дѣйствіе вытяженія на воспаленныя части оказалось, понятно, чрезвычайно губельнымъ: наступила гангрена и смерть... Случай былъ для меня очень поучителенъ, потому что онъ, какъ и многіе другіе, научилъ меня, *чего не должно дѣлать*. Но это, разумѣется, *entre nous*“.

Англійскій хирургъ Педжетъ рассказываетъ изъ своей практики такой случай: „У молодого чело-вѣка я удалилъ изъ глубокихъ частей бедра опухоль; по окончаніи операціи, вокругъ бедра мною была наложена полоска лишкаго пластыря, окружавшая со всѣхъ сторонъ оперированную конечность, а сверхъ пластыря для бѣльшей прочности наложена была еще повязка. На другой день вся конечность сильно опухла, а на четвертыя сутки уже развилось острое воспаленіе всей клѣтчатки, окружающей рану. Затѣмъ открылось кровотече-ніе, отчего оперированный ослабѣлъ и умеръ. Прямою причиною его смерти была полоска пластыря, которая была паложена вокругъ его конечности и въ теченіе двухъ дней не снималась.

Съ этой минуты, я увѣренъ, никто не видалъ болѣе, чтобы я накладывалъ пластырь вокругъ конечности иначе, какъ спирально. Какъ ни казалось малымъ это обстоятельство, тѣмъ не менѣе оно стоило жизни этому человѣку“.

Яркую картину процесса выработки опытности далъ Пироговъ въ своихъ нашумѣвшихъ „Анналахъ Дерптской хирургической клиники“, изданныхъ на нѣмецкомъ языкѣ въ концѣ тридцатыхъ годовъ. Съ откровенностью генія онъ разсказалъ въ этой „исповѣди практическаго врача“ о всѣхъ своихъ ошибкахъ и промахахъ, которые онъ совершилъ во время завѣдыванія клиникою. То, о чемъ другіе рѣшались сообщать лишь въ частныхъ письмахъ, „entre nous“, — Пироговъ, ко всеобщему смущенію и соблазну, оповѣстилъ на весь міръ. Картина, нарисованная имъ, получилась потрясающая.

Да, это все ужъ совершенно неизбежно, и никакого выхода отсюда нѣтъ. Такъ оно и останется: передъ неизбежностью этого должны замолкнуть даже терзанія совѣсти. И все-таки—самъ я ни за что не согласился бы быть жертвой этой неизбежности, и никто изъ жертвъ не хочетъ быть жертвами... И сколько такихъ проклятыхъ вопросовъ въ этой страшной наукѣ, гдѣ шагу нельзя ступить, не натолкнувшись на живого человѣка!

VII.

Въ 1888 году бухарестскій профессоръ Петреску предложилъ лечить крупозное воспаленіе лег-

нихъ большими (разъ въ десять больше приня-
тыхъ) дозами наперстянки. По его многолѣтнимъ
наблюденіямъ смертность при такомъ леченіи съ
20—30% понижалась до 3%, болѣзнь обрывалась
и исчезала, „какъ по мановенію волшебнаго жезла“.
Докладъ Петреску объ его способѣ, сдѣланный
имъ въ Парижской Медицинской Академіи, обра-
тилъ на себя общее вниманіе, — сообщенные имъ
результаты, дѣйствительно, были поразительны.
Способъ стали примѣнять другіе врачи, и въ боль-
шинствѣ случаевъ остались имъ очень довольны.

Я завѣдывалъ въ то время палатою, гдѣ ле-
жали больные крупозною пневмоніей. Прельщен-
ный упомянутыми сообщеніями, я, съ согласія
старшаго ординатора, рѣшилъ испробовать спо-
собъ Петреску. Только что передъ этимъ я про-
челъ въ „Большичной газетѣ Боткина“ статью
д-ра Рехтзамера объ этомъ способѣ. Хотя онъ и
находилъ надежды Петреску нѣсколько преувели-
ченными, но не отрицалъ, что нѣкоторые изъ его
больныхъ выздоровѣли именно только благодаря
примѣненному имъ способу Петреску; по мнѣнію
автора, способъ этотъ можно бы рекомендовать,
какъ послѣднее средство, въ тяжелыхъ случаяхъ
у алкоголиковъ и стариковъ. „Ни въ одномъ изъ
моихъ случаевъ,—прибавлялъ д-ръ Рехтзамеръ,—
я не могъ констатировать смерти больного въ за-
висимости отъ отравленія наперстянкой“.

Въ мою палату былъ положенъ на второй день
болѣзни старикъ-штукатуръ; все его правое лег-
кое было поражено сплошь, онъ дышалъ очень
часто, стоналъ и метался; жена его сообщила, что

онъ съ дѣтства сильно пьетъ. Случай былъ подходящій, и я назначилъ больному наперстянку по Петреску.

Подписывая свой рецептъ, я невольно остановился,—такъ поразилъ онъ меня своею необычностью. На немъ стояло:

„Rp. Inf. fol. Digitalis ex 8,0 (!): 200,0.

DS. Черезъ часъ (!) по столовой ложкѣ“.

Это значитъ: настой двухсотъ граммовъ воды на восьми граммахъ наперстянки, а восклицательные знаки, по требованію закона, предназначены для аптекаря: высшее количество листьевъ наперстянки, которое можно въ теченіе сутокъ безъ вреда дать человѣку, опредѣляется въ 0,6 граммовъ; такъ вотъ, восклицательные знаки и увѣдомляютъ аптекаря, что, прописавъ мою чудовищную дозу, я не описался, а дѣйствовалъ вполнѣ сознательно... Я перечитывалъ свой рецептъ,—и эти восклицательные знаки смотрѣли на меня задорно и вызывающе, словно говорили: „да, давать человѣку больше шести десятыхъ грамма наперстянки нельзя, если не хочешь отравить его,—а ты назначаешь количество, въ тринадцать разъ болѣе дозволеннаго!“

Я вышелъ изъ больницы, а восклицательные знаки моего рецепта неотступно стояли передъ моими глазами. Мнѣ вспоминались слова д-ра Рехт-замера: „ни въ одномъ изъ моихъ случаевъ я не могъ констатировать смерти больного въ зависимости отъ отравленія наперстянкой“... Ну, а если на мою долю выпадетъ печальная необходимость

„констатировать смерть отъ отравленія наперстянкой“,—наперстянкой, выписывая которую, я самъ ставилъ такіе краснорѣчивые восклицательные знаки?

На слѣдующій день больному стало хуже; онъ тупо смотрѣлъ на меня потускнѣвшими глазами, кончикъ его носа посинѣлъ, пульсъ былъ попрежнему частый, и появились перебои. Отчего это все,—отъ наперстянки или несмотря на нее? У больного сердце было слабое, и явленія могли обусловливаться естественнымъ процессомъ, съ которымъ наперстянка еще не успѣла справиться.

— А если это отъ наперстянки?—мелькнула у меня мысль.

Я подавилъ въ себѣ эту мысль: вѣдь ужъ многіе испытывали способъ и нашли, что онъ дѣйствуетъ хорошо. Я снова выписалъ больному наперстянку.

Черезъ два дня старикъ умеръ при все усиливавшейся сердечной слабости и оглушеніи. У воротъ больницы я встрѣтилъ его жепу; она шла изъ покойницкой, низко нагнувъ платокъ на опухшіе глаза, и что-то глухо говорила себѣ подыносъ. Съ смутнымъ чувствомъ стыда и страха перечитывалъ я скорбный листъ умершаго: подробное, изо дня въ день, описаніе теченія все ухудшающейся болѣзни, рецепты, усѣянныя восклицательными знаками, и въ концѣ — лаконическая приписка дежурнаго врача: „Въ два часа ночи больной скончался“... Мнѣ было странно,—въ какомъ бреду дѣйствовалъ я, назначая свое леченіе.—непровѣренное, дерзкое? Можетъ быть, ста-

рикъ все равно бы умеръ, но могу ли я поручиться, что смерть вызвана не тѣмъ чудовищнымъ количествомъ сильно-дѣйствующей наперстянки, которое я ввелъ въ его кровь? И это въ то время, когда для борьбы съ болѣзнию и безъ того требовались всѣ силы организма... Вскорѣ я прочелъ во „Врачѣ“ статью д-ра Рубеля, который, тщательно разобравъ свои собственные опыты, опыты Петреску, его учениковъ и сторонниковъ, неопровержимо доказалъ, что „способъ Петреску причиняетъ во многихъ случаяхъ явный, иногда даже угрожающій жизни вредъ, и можно только посоветовать возможно скорѣе предать его полному забвенію“.

Я рѣшилъ примѣнять впредь на своихъ больныхъ только средства, уже достаточно проверенныя и несомнѣнныя. Чѣмъ больше я теперь знакомился съ текущею медицинскою литературою, тѣмъ все больше утверждался въ своемъ рѣшеніи. Передо мною раскрылось пѣчто ужасающее. Каждый номеръ врачебной газеты содержалъ въ себѣ сообщенія о десяткахъ новыхъ средствъ, и такъ изъ недѣли въ недѣлю, изъ мѣсяца въ мѣсяць; это былъ какой-то громадный, бѣшеный, безконечный потокъ, при взглядѣ на который разбѣгались глаза: новыя лекарства, новыя дозы, новые способы введенія ихъ, новыя операціи, и тутъ же,—десятки и сотни... загубленныхъ человѣческихъ здоровій и жизней.

Одни изъ нововведеній, какъ пузыри пѣны на потокѣ, вскакивали и тотчасъ же лопались, оставляя за собою одинъ-другой трупъ. Такъ, напр.,

въ 1888 году д-ръ Розенбушъ выступилъ со статьею, гдѣ горячо рекомендовалъ впрыскивать чахоточнымъ растворъ креозота въ ткань легкихъ, отъ чего, по его словамъ, самъ онъ получилъ прекрасные результаты. Д-ръ Стахевичъ попробовалъ примѣнить этотъ способъ къ двумъ своимъ больнымъ, и получилъ вотъ что: „у перваго больного кашель послѣ впрыскиванія сталъ сильнѣе, а разрушеніе верхушки праваго легкаго, въ которую было произведено впрыскиваніе, пошло гораздо быстрѣе. У другого больного послѣ впрыскиванія тотчасъ же появилась примѣсь крови къ мокротѣ, а на слѣдующій день наступило обильное кровохарканіе“... II впрыскиванія креозота исчезли со сцены.

Проф. Мерингъ, заставляя животныхъ вдыхать пенталь, нашелъ, что вещество это представляетъ изъ себя очень хорошее усыпляющее средство. Послѣ этого д-ръ Голлендеръ испыталъ пенталь на своихъ больныхъ и получилъ блестящіе результаты. На съѣздѣ естествоиспытателей и врачей въ Галле, въ сентябрѣ 1891 года, онъ далъ о пенталѣ самый восторженный отзывъ. „Въ настоящее время,—заявилъ Голлендеръ, — пенталь по вѣрности дѣйствія и по поразительно хорошему самочувствію послѣ наркоза представляетъ наилучшее обезболивающее для кратковременныхъ операцій: онъ не производитъ дурныхъ послѣдствій, и примѣненіе его не представляетъ никакой опасности; онъ не оказываетъ никакого вреднаго дѣйствія ни на сердце, ни на дыханіе“... Широкою рукою стали испытывать пенталь. Черезъ полгода

д-ръ Геглеръ сообщилъ, что у одного крѣпкаго мужчины пенталь вызвалъ одышку съ спньюхою и въ заключеніе остановку дыханія; его удалось спасти только благодаря принятымъ энергичнымъ мѣрамъ оживленія. Черезъ два мѣсяца послѣ этого въ Ольмюцѣ умерла отъ вдыханій пентала дама, у которой собирались выдернуть зубъ. Около этого же времени „Английскій Зубоврачебный Журналъ“ сообщилъ, что послѣ вдыханія десяти капель пентала умерла 33-хъ-лѣтняя жепщина, страдавшая зубною болью. Д-ръ Брейеръ чуть не потерялъ одну здоровую дѣвочку, у которой послѣ вдыханія пентала исчезли пульсъ и дыханіе. У д-ра Зика умерли отъ пентала двое, — здоровый, крѣпкій мужчина и молодая дѣвушка съ поражениемъ тазобедреннаго сустава, но въ остальномъ крѣпкая и здоровая... Прошло всего полтора года послѣ сообщенія Голлепдера. На съѣздѣ нѣмецкихъ хирурговъ проф. Гурльтъ выступилъ съ докладомъ о сравнительной смертности при различныхъ обезболивающихъ средствахъ. Опираясь на громадный статистическій матеріалъ, онъ показалъ, что въ то время, какъ эфиръ, закись азота, бромистый этиль и хлороформъ даютъ одну смерть на тысячи и десятки тысячъ случаевъ, пенталь даетъ одну смерть *на 199 случаевъ*. „Отъ наркоза пенталомъ,—вполнѣ основательно заключилъ проф. Гурльтъ, — по имѣющимся до сихъ поръ даннымъ слѣдуетъ *прямо предостеречь*“. И пенталь безслѣдно исчезъ изъ практики...

А кто не помнитъ побѣднаго шествія и позорнаго крушенія коховскаго туберкулина? Тысячамъ

туберкулезныхъ широкою рукою впрыскивался этотъ прославленный туберкулинъ, и черезъ два года выяснилось съ несомнѣнностью, что онъ ничего не приноситъ, кромѣ вреда.

Такова была исторія тѣхъ изъ предлагавшихся новыхъ средствъ, которыя по испытаніи оказывались негодными. Судьба другихъ новыхъ средствъ была иная: они выходили изъ испытанія окрѣпшими и признанными, съ точно установленными показаніями и противопоказаніями; и все-таки путь ихъ шелъ черезъ тѣ же загубленныя здоровья и жизни людей.

Среди жителей многихъ гористыхъ мѣстностей распространена своеобразная болѣзнь, — зобъ, заключающаяся въ опуханіи лежащей надъ нижнею частью горла щитовидной железы. Въ числѣ различныхъ способовъ леченія зоба было, между прочимъ, предложено полное удаленіе всей щитовидной железы. Результаты этой операціи оказались очень хорошими: больные выписывались здоровыми, лишеніе щитовидной железы (назначеніе которой совершенно неизвѣстно), повидимому, не вызывало никакихъ вредныхъ послѣдствій. Но вотъ въ 1883 году бернскій профессоръ Кохеръ опубликовалъ статью, гдѣ сообщилъ слѣдующее. Онъ произвелъ тридцать четыре полныхъ изсѣченія зоба и былъ очень доволенъ результатами; но однажды одинъ его знакомый врачъ рассказалъ ему, что онъ пользуется дѣвушку, которой девять лѣтъ назадъ Кохеръ вырѣзалъ зобъ; врачъ этотъ рекомендовалъ Кохеру посмотреть больную теперь. И вотъ что увидѣлъ Кохеръ. У больной была млад-

шая сестра; девять лѣтъ назадъ обѣ онѣ были такъ похожи другъ на друга, что ихъ часто принимали одну за другую. „За эти девять лѣтъ,— рассказываетъ Кохеръ,—младшая сестра превратилась въ цвѣтущую, хорошепъкую дѣвушку, оперированная же осталась маленькою и является отвратительный видъ полудиотки“. Тогда Кохеръ рѣшилъ навести справки о судьбѣ всѣхъ оперированныхъ имъ зобатыхъ. Всѣ 28 человекъ, у которыхъ было сдѣлано лишь частичное вырѣзываніе щитовидной железы, были найдены совершенно здоровыми; изъ восемнадцати же человекъ, у которыхъ была вырѣзана вся железа, здоровыми оказались только двое; остальные представляли своеобразный комплексъ симптомовъ, который Кохеръ характеризуетъ слѣдующимъ образомъ: „задержаніе роста, большая голова, шишковатый носъ, толстыя губы, неуклюжее тѣло, неповоротливость мысли и языка при сильной мускулатурѣ,—все это съ несомнѣнностью указываетъ на близкое родство описываемаго страданія съ идиотизмомъ и кретинизмомъ“. Между тѣмъ, нѣкоторымъ изъ оперированныхъ зобъ доставлялъ очень незначительныя неудобства, и операція была принята почти лишь съ косметическою цѣлью; а результатъ — идиотизмъ... Впослѣдствіи мнѣніе Кохера о связи указанныхъ симптомовъ съ удаленіемъ щитовидной железы вызвало возраженія, но тѣмъ не менѣе въ настоящее время ни одинъ хирургъ ужъ не рѣшится произвести полного вылуценія щитовидной железы, если ея заболѣваніе

непосредственно не грозитъ больному неминуемою смертью.

Въ 1884 году Коллеръ ввелъ во всеобщее употребленіе одно изъ самыхъ драгоцѣнныхъ врачевныхъ средствъ, — кокаинъ, который вызываетъ прямо идеальное мѣстное обезболиваніе. Черезъ два года петербургскій профессоръ Коломнинъ, собираясь сдѣлать одной женщинѣ операцию, ввелъ ей въ прямую кишку растворъ кокаина. Вдругъ больная посинѣла, у нея появились судороги, и черезъ полчаса она умерла при явленіяхъ отравленія кокаиномъ. Проф. Коломнинъ пріѣхалъ домой, заперся у себя въ кабинетъ и застрѣлился... Въ настоящее время, перечитывая сообщенія о кокаинѣ за первые годы послѣ его введенія, поражаетъ, въ какихъ большихъ дозахъ его назначали; проф. Коломнинъ, напр., ввелъ своей больной около полутора граммовъ кокаина; и такія дозы въ то время были не въ рѣдкость; Гундманъ полагалъ, что смертельная доза кокаина для взрослога человѣка должна быть „очень велика“. Горькій опытъ Коломнина и другихъ научилъ насъ, что доза эта, напротивъ, очень невелика, что нельзя вводить въ организмъ человѣка больше шести сотыхъ грамма кокаина; эта доза *въ двадцать пять разъ* меньше той, которую назначилъ своей больной несчастный Коломнинъ.

Въ концѣ восьмидесятихъ годовъ проф. Касть предложилъ въ качествѣ прекраснаго и безвреднаго снотворнаго новое вещество — сульфопаль. Стали испытывать это средство другіе врачи и нашли, что сульфопаль, дѣйствительно, представ-

ляетъ изъ себя „безвредное, не вызывающее никакихъ побочныхъ дѣйствій спотворное“ (д-ръ Эстрейхеръ). Но ужъ черезъ три мѣсяца послѣ появленія статьи Каста д-ръ Шмей сообщилъ, что онъ назначилъ два грамма сульфонала старику, страдавшему артеріосклерозомъ и приступами грудной жабы. „Эффектъ получился ужасный: вскорѣ послѣ приѣма послѣдовалъ жесточайшій приступъ удушья, и затѣмъ всю ночь повторялись такіе же приступы съ промежутками лишь въ нѣсколько минутъ“. На основаніи этого д-ръ Шмей совѣтовалъ быть осторожнымъ съ назначеніемъ сульфонала при сердечной жабѣ и артеріосклерозѣ. Дальнѣйшія наблюденія выяснили, что съ большою осторожностью слѣдуетъ также назначать сульфональ при сильномъ малокровіи, эмфиземѣ легкихъ, острой меланхоліи и морфинизмѣ, что, далѣе, не совсѣмъ безопасно давать сульфональ долгое время непрерывно. Какою цѣною это выяснилось? За пять лѣтъ со времени введенія средства проф. Лешинъ насчиталъ въ литературѣ шестнадцать случаевъ отравленія сульфоналомъ со смертельнымъ исходомъ...

Выводъ изъ всего этого былъ для меня ясенъ: я буду впредь употреблять только тѣ средства, которыя безусловно испытаны и не грозятъ мнимъ больнымъ никакимъ вредомъ.

Года три тому назадъ я лечилъ одну учительницу, большую чахоткою. Въ то время появились извѣстія, что Робертъ Кохъ, продолжавшій работать надъ своимъ опозорившимся туберкулиномъ, усовершенствовалъ его и примѣняетъ снова. Боль-

ная обратилась ко мнѣ за совѣтомъ, не подвергнуться ли ей впрыскиваніямъ этого „очищеннаго“ туберкуллина.

— Подождите лучше, — отвѣтилъ я. — Пускай раньше выяснится, дѣйствительно ли онъ много лучше стараго.

Я поступилъ вполнѣ добросовѣстно. Но у меня возникъ вопросъ: на комъ же это должно выясниться? Гдѣ-то тамъ, за моими глазами, дѣло выяснится на тѣхъ же больныхъ, и, если средство окажется хорошимъ... я благополучно стану примѣнять его къ своимъ больнымъ, какъ примѣняю теперь такія цѣнныя, незамѣнимыя средства, какъ кокаинъ и сульфопаль. Но что было бы, если бы всѣ врачи смотрѣли на дѣло такъ же, какъ я?

Мы еще очень мало знаемъ человѣческой организмъ и управляющіе имъ законы. Примѣняя новое средство, врачъ можетъ заранѣе лишь съ большею или меньшею вѣроятностью предвидѣть, какъ это средство будетъ дѣйствовать; можетъ быть, оно окажется полезнымъ; но если оно и ничего не припесетъ, кромѣ вреда, то все же дивиться будетъ нечему: игра идетъ въ темную, и пужно быть готовымъ на всѣ неожиданности. До извѣстной степени возможность такихъ неожиданностей уменьшается тѣмъ, что средства предварительно испытываются на животныхъ; это громадная поддержка; но организмы животныхъ и человѣка все-таки слишкомъ различны, и безошибочно заключать отъ первыхъ ко вторымъ нельзя. И вотъ къ человѣку подходятъ только съ извѣстною *возможностью*, что примѣняемое средство поможетъ

ему или не повредить; тутъ всегда большій или меньшій рискъ; расчеты могутъ не оправдаться, и притомъ это не всегда сразу дѣлается очевиднымъ: клиническое наблюденіе трудно и сложно; часто бываетъ, что средство долго производитъ благопріятное впечатлѣніе, а затѣмъ оказывается, что это было лишь результатомъ самовнушенія.

Путемъ этого постояннаго и непрерывнаго риска, блуждая въ темнотѣ, ошибаясь и отрекаясь отъ своихъ заблужденій, медицина и добыла большинство изъ того, чѣмъ она теперь по праву гордится. Не было бы риска, не было бы и прогресса; это свидѣтельствуеть вся исторія врачебной науки.

Въ первой половинѣ девятнадцатаго вѣка опухоли яичниковъ у женщинъ лечились внутренними средствами; попытки удалять опухоли оперативнымъ путемъ посредствомъ вскрытія живота (овариотомія) кончались такъ печально, что, пиши я свои записки полвѣка назадъ, я привелъ бы эти попытки въ видѣ примѣра непростительнаго врачебнаго экспериментированія на людяхъ. Въ то время въ Англіи жилъ молодой хирургъ Спенсеръ Уэльсъ. Ему случалось ассистировать при овариотоміяхъ, и онъ вынесъ впечатлѣніе, что операція эта прямо непозволительна. Вскорѣ затѣмъ ему пришлось въ качествѣ хирурга участвовать въ Крымской кампаніи; тамъ онъ видѣлъ много ранъ живота, много наблюдалъ ихъ теченіе. Воротившись въ 1856 году въ Лондонъ, Спенсеръ Уэльсъ чувствовалъ уже значительно меньшій страхъ къ такимъ ранамъ. Теперь ему казалось,

что при умѣломъ оперированіи оваріотомія можетъ давать хорошіе результаты. Между тѣмъ, она внушала всѣмъ такое недовѣріе, что врачи называли ее „убійственной“ операціею, а судебные прокуроры прямо заявляли о необходимости привлечь подобныхъ операторовъ къ суду. Несмотря на это, Спенсеръ Уэльсъ рѣшилъ при первомъ удобномъ случаѣ рискнуть на операцію. Случай вскорѣ представился. Уэльсъ произвелъ оваріотомію... Оперированная умерла.

„Я думаю,—разсказываетъ Спенсеръ Уэльсъ,—трудно представить себѣ положеніе болѣе обезкураживающее, чѣмъ то, въ какомъ я находился. Первая моя попытка потерпѣла полную неудачу; не только у другихъ, но и во мнѣ самомъ она усиливала опасеніе, что я иду по дорогѣ къ довольно-таки незавидной извѣстности. Рѣшительно все было противъ меня. Врачебная пресса громила операцію самымъ энергичнымъ образомъ, въ медицинскихъ обществахъ ее рѣшительно порицали люди самага высокаго авторитета“. Тѣмъ не менѣе Спенсеръ Уэльсъ продолжалъ оперировать, и все болѣе удачно. Отношеніе къ операціи мало-по-малу стало измѣняться. „Уже въ 1864 году оваріотомія была повсюду признана вполне законной операціею, а еще немного спустя она была уже объявлена триумфомъ современной хирургіи“...

Такъ разсказывалъ въ восьмидесятихъ годахъ покрытый всемірною славою Спенсеръ Уэльсъ, одинъ изъ благодѣтелей человѣчества, благодаря операціи котораго была спасена жизнь десяткамъ тысячъ женщинъ. Кто упрекнетъ его за его смѣ-

лость? Побѣдителя не судятъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ, когда Берингъ ввелъ въ употребленіе свою противудифтерійную сыворотку, профессоръ Пурьежъ, указывая на ненаучность постановки его опытовъ, отмѣчалъ, между прочимъ, ту смѣлость и то „опасеніе совѣсти“, съ которыми Берингъ долженъ былъ впрыскивать дѣтямъ противоядіе дифтеріи, не зная въ точности какія отъ этого получатся послѣдствія. Но сыворотка оказалась полезною (или, по крайней мѣрѣ, кажется пока таковою), — и Беринга можно только благодарить, и никто не спроситъ: рѣшился ли бы Берингъ подвергнуть впрыскиванію сыворотки первымъ своего собственнаго ребенка?

Когда у Пирогова подъ старость образовался ракъ верхней челюсти, лечившій его д-ръ Выводцевъ обратился къ Бильроту съ предложеніемъ сдѣлать Пирогову операцію. Бильротъ, ознакомившись съ положеніемъ дѣла, не рѣшился на операцію. „Я теперь ужъ не тотъ безстрашный и смѣлый операторъ, какимъ вы меня знали въ Цюрихѣ,—писалъ онъ Выводцеву.—Теперь при показаніи къ операціи я всегда ставлю себѣ вопросъ: *допускаю ли я на себѣ сдѣлать операцію, которую хочу сдѣлать на больномъ?*“... Значитъ, раньше Бильротъ дѣлалъ на больныхъ операціи, которыхъ на себѣ не позволилъ бы сдѣлать? Конечно. Иначе мы не имѣли бы ряда тѣхъ новыхъ блестящихъ операцій, которыми мы обязаны Бильроту.

Выходъ оказывается вовсе не такимъ простымъ и яснымъ, какъ мнѣ казалось. „Употреблять только испытанное“... Пока я ставлю это правиломъ лишь

для самого себя, я нахожу его хорошимъ и единственно возможнымъ; но когда я представляю себѣ, что правилу этому станутъ слѣдовать всѣ, я вижу, что такой образъ дѣйствій ведетъ не только къ гибели медицины, но и къ полнѣйшей безсмыслицѣ. „Вы говорите,—писалъ недавно умершій знаменитый французскій хирургъ Пэанъ,—вы говорите, что къ людямъ можно примѣнять только тѣ средства, которыя были предварительно испытаны на людяхъ; но вѣдь это—положеніе, опровергающее само себя; если бы, къ своему несчастію, медицина вздумала слѣдовать ему, то она осудила бы себя на самый прямолинейный эмпиризмъ, на самую догматическую традицію. Опыты на животныхъ служили бы только для спекулятивныхъ разысканій; ветеринарная медицина, конечно, извлекала бы изъ этихъ опытовъ много пользы, но медицинѣ человѣческой съ ними нечего было бы дѣлать“.

И дѣйствительно, во что бы тогда превратилась медицина? Новыхъ, еще не испытанныхъ средствъ примѣнять нельзя; отказываться отъ средствъ уже признанныхъ тоже нельзя: тотъ врачъ, который не сталъ бы лечить сифилиса ртутью, оказался бы съ этой точки зрѣнія не менѣе виновнымъ, чѣмъ тотъ, который сталъ бы лечить упомянутую болѣзнь какимъ-либо неизвѣданнымъ средствомъ; чтобы отказаться отъ стараго, нужна не меньшая дерзость, чѣмъ для того, чтобы ввести новое; между тѣмъ исторія медицины показываетъ, что теперешняя наука наша, несмотря на всѣ ея блестящія положительныя пріобрѣтенія,

все-таки больше всего, пользуясь выражением Ма-жанди, обогатилась именно своими потерями. И въ результатѣ получилось бы вотъ что: практическая медицина впала бы въ полное окаченѣніе вплоть то того далекаго времени, когда человѣческой организмъ будетъ совершенно познанъ наукою и когда дѣйствіе примѣняемаго новаго средства будетъ заранѣе предвидѣться во всѣхъ его подробностяхъ. А между тѣмъ со всѣхъ сторонъ люди взываютъ къ медицинѣ: „помоги же! Отчего ты такъ мало помогаешь?“

Мое положеніе оказывается въ высшей степени страннымъ. Я все время хочу лишь одного—не вредить больному, который обращается ко мнѣ за помощью: правило это, казалось бы настолько элементарно и обязательно, что противъ него нельзя и спорить; между тѣмъ соблюденіе его систематически обрекаетъ меня во всемъ на полную немѣлость и полный застой. Каждую дорогу мнѣ загораживаетъ живой человѣкъ; я вижу его, и поворачиваю назадъ. Душевное спокойствіе свое я этимъ, разумѣется, спасаю, но вопросъ остается попрежнему нерѣшеннымъ.

Такъ и съ разбираемымъ вопросомъ. Гдѣ выходъ? Гдѣ граница допустимаго? Я не знаю. А между тѣмъ именно настоящее время дѣлаетъ эти вопросы особенно настоятельными. Созданіемъ бактериологіи закончилась великая эпоха капитальныхъ открытій въ области медицины, и наступило временное затишье. И, какъ всегда въ такія времена, голову поднимаетъ эмпірія, и практика наводняется цѣлымъ моремъ всевозможныхъ новыхъ

средствъ: безъ конца и безъ перерыву предлагаются все новыя и новыя химическія вещества,—анезинъ, косапринъ, голокаинъ, кріофинъ, мидроль, фезинъ и тысячи другихъ; больнымъ впрыскиваютъ самые разнообразныя бактерійныя токсины и антитоксины, вытяжки изъ всѣхъ мыслимыхъ животныхъ органовъ; изобрѣтаются различнѣйшія операціи, кровавыя и некровавыя. Можетъ быть, отъ всего этого урагана для насъ останется много цѣнныхъ средствъ; но ужасъ беретъ, когда подумаешь, какою цѣною это будетъ куплено, и жутко становится за больныхъ, которые, какъ бабочки на огонь, неудержимо, часто вопреки убѣжденію врачей, стремятся навстрѣчу этому урагану.

Однажды, вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ, мнѣ пришлось быть у одной моей старушки-тетушки, генеральши. Она стала мнѣ рассказывать о своихъ многочисленныхъ болѣзняхъ, — сердцебіеніяхъ, боляхъ подъ ложечкой, нервныхъ тикахъ и мучительныхъ безсонницахъ.

— Мнѣ мой докторъ прописалъ отъ безсонницы новое средство... *Самое новое!* Ты его, должно быть, и не знаешь еще... Какъ его? Хло-ра-лозь... Не хлораль-гидратъ, онъ дѣйствуетъ на сердце,— а этотъ совершенно безвредный; усовершенствованный хлораль-гидратъ.

И она принесла изящную коробочку съ облатками, прописанными ей моднымъ докторомъ, и съ торжествомъ показала мнѣ рецептъ...

— Бѣдная ты, бѣдная!—подумалъ я.

VIII.

Отъ вопросовъ спутанныхъ и тяжелыхъ, на которые не знаешь, какъ отвѣтить, передъ которыми останавливаешься въ полной безпомощности, мнѣ приходится теперь перейти къ вопросу, на который возможенъ только одинъ, совершенно опредѣленный отвѣтъ. Здѣсь грубо и сознательно не хотятъ вѣдаться съ человѣкомъ, приносимымъ въ жертву наукѣ,—

Во имя грядущаго льется здѣсь кровь,
Здѣсь нѣтъ настоящаго,—къ чорту любовь!

Съ тяжелымъ чувствомъ приступаю къ этой главѣ, но что дѣлать? Изъ пѣсни слова не выкинешь.

„Нѣкій д-ръ Кохъ,— читаемъ мы въ газетѣ „Врачъ“ — напечаталъ брошюру: „Aerztliche Versuche an lebenden Menschen (Врачебные опыты на живыхъ людяхъ)“, которая, какъ нельзя лучше, будетъ содѣйствовать дальнѣйшему подрыву довѣрія и уваженія къ врачамъ со стороны неврачебной публики. Авторъ доказываетъ, будто бы „живосѣченія уже давно переступили черезъ порогъ нашихъ больницъ“, — другими словами, будто бы въ современныхъ больницахъ дѣлаются опыты надъ живыми людьми, похожіе на лабораторныя живосѣченія низшихъ животныхъ... Какъ и слѣдовало ожидать, за книгу Коха не замедлили ухватиться разные фельетонисты и хроникеры общей печати. Желательно, чтобъ германскіе товарищи не оставили безъ подробнаго разъясненія ни одного изъ „фактовъ“ д-ра Коха, ибо только

этимъ путемъ можно уничтожить значеніе его книги“ („Врачъ“, 1893, стр. 906).

Я не читалъ упоминаемой брошюры и не знаю, насколько „факты“ д-ра Коха заслуживаютъ тѣхъ ироническихъ ковычекъ, въ которыя ихъ помѣщаетъ редакція „Врача“. Но въ самомъ заявленіи Коха, къ сожалѣнію, много глубоко-вѣрнаго. Въ доказательство этого можно привести очень длинный рядъ фактовъ, и при томъ фактовъ, которые нельзя заключить въ ковычки, потому что факты эти документально засвидѣтельствованы самими ихъ виновниками.

Въ послѣдующемъ изложеніи я по возможности точно буду указывать на первоисточники, чтобъ читатель самъ могъ провѣрить сообщаемыя мною данныя. Я ограничусь при этомъ одною лишь областью венерическихъ болѣзней; несмотря на щекотливость предмета, мнѣ приходится остановиться именно на этой области, потому что она особенно богата такого рода фактами: дѣло въ томъ, что венерическія болѣзни составляютъ спеціальнѣйшій удѣлъ людей, и ни одна изъ нихъ не прививается животнымъ; поэтому многіе вопросы, которые въ другихъ отрасляхъ медицины рѣшаются животными прививками, въ венерологіи могутъ быть рѣшены только прививкою людямъ. И венерологи не остановились передъ этимъ; буквально каждый шагъ впередъ въ ихъ наукѣ запятнанъ преступленіемъ.

Существуетъ, какъ извѣстно, три венерическихъ болѣзни: гоноррея, мягкая язва и сифилисъ. Начну съ первой.

Специфическій микроорганизмъ, обусловли-
вающій гоноррею, былъ открытъ Нейсеромъ въ
1879 году. Его образцово поставленные опыты
доказывали съ большою вѣроятностью, что откры-
тый имъ „гонококкъ“ и есть специфическій воз-
будитель гонорреи. Но съ полною убѣдительностью
доказать специфичность какого-нибудь микроор-
ганизма возможно въ бактериологiи только пу-
темъ прививки: если, прививая животному чистую
разводку микроорганизма, мы получаемъ извѣст-
ную болѣзнь, то этотъ микроорганизмъ и есть воз-
будитель данной болѣзни. Къ сожалѣнiю, ни одно
изъ животныхъ, какъ мы знаемъ, не восприм-
чиво къ гонорреѣ. Приходилось либо оставить от-
крытiе подъ сомнѣнiемъ, либо прибѣгнуть къ
прививкамъ людямъ. Самъ Нейсеръ предпочелъ
первое.

Послѣдователи его оказались не такъ щепе-
тильны. Первымъ, привившимъ гонококка чело-
вѣку, былъ д-ръ *Максъ Бокгартъ*, ассистентъ про-
фессора Ринекера. „Господинъ тайный совѣтникъ
фонъ-Ринекеръ,—пишетъ Бокгартъ,—всегда дер-
жался того взгляда, что раскрытiе причинъ вене-
рическихъ болѣзней можетъ быть достигнуто лишь
путемъ прививокъ людямъ“ ¹⁾. По предложенiю
своего патрона, Бокгартъ привилъ чистую куль-
туру гонококка одному больному, страдавшему
прогрессивнымъ параличомъ и находившемуся въ
последней стадiи болѣзни: у него уже нѣсколько
мѣсяцевъ назадъ исчезла чувствительность, про-

¹⁾ „Beitrag zur Aetiologie des Harnröhrentrippers“. *Viertel-
jahrschr. für Dermatol. und Syphilis*. 1883, p. 7.

лежни увеличивались съ каждымъ днемъ, и въ скоромъ времени можно было ждать смертельнаго исхода. Прививка удалась, но отдѣленіе гноя было очень пезначительно. Чтобъ усилить отдѣленіе, больному было дано полъ-литра пива. „Успѣхъ получился блестящій“,—пишетъ Бокгартъ. Гноеотдѣленіе стало очень обильнымъ... Черезъ десять дней послѣ прививки больной умеръ въ паралитическомъ припадкѣ. Вскрытіе показало, между прочимъ, острое гонорройное воспаленіе мочевого канала и пузыря съ начинающимся омертвѣніемъ послѣдняго и большое количество нарывовъ въ правой почкѣ; въ гноѣ этихъ нарывовъ найдены многочисленныя гонококки ¹⁾.

Способъ чистой разводки, употребленный Бокгартомъ, былъ очень несовершенный, и его опытъ большого научнаго значенія не имѣлъ. Первая несомнѣнно чистая культура гонококка была получена д-ромъ Эрнстомъ Буммомъ ²⁾. Чтобы доказать ея специфичность, Буммъ ушкомъ платиновой проволоки привилъ культуру на мочевой каналъ женщины, мочеполовые пути которой при повторномъ изслѣдованіи были найдены нормальными. Развился типическій уретритъ, потребовавшій для своего леченія шесть недѣль (о. с., р. 147). Изслѣдуя различныя особенности своихъ развонокъ, Буммъ такимъ же образомъ привилъ гонококка еще другой женщинѣ. Результатъ получился тотъ же, что и въ первомъ случаѣ (р. 150).

¹⁾ *Ibid.*, pp. 7—10.

²⁾ *E. Bumm.*, „Der Mikroorganismus der gonorrhoeischen Schleimhauterkrankungen“. 2. Ausg. Wiesbaden. 1887.

Замѣтимъ, что уже болѣе двадцати пяти лѣтъ назадъ Неггерать доказаль, къ какимъ тяжелымъ и серьезнымъ послѣдствіямъ, особенно у женщинъ, ведетъ та „невинная“ гоноррея, о которой невѣжды и до сихъ поръ еще говорятъ съ улыбкой; въ наукѣ на этотъ счетъ разногласій давно уже нѣтъ. Вотъ что, напр., говоритъ такой авторитетный специалистъ по данному предмету, какъ уже упомянутый нами Нейсеръ: „*Я не колеблюсь заявляю, что по своимъ послѣдствіямъ гоноррея есть болѣзнь, несравненно болѣе опасная (ungleich schlimmere), чѣмъ сифилисъ, и думаю, что въ этомъ со мною согласятся особенно всѣ гинекологи*“¹⁾. Впрочемъ, и самъ Буммъ въ предисловіи къ своей работѣ заявляетъ, что „гонорройное зараженіе составляетъ одну изъ самыхъ важныхъ причинъ тяжелыхъ заболѣваній половыхъ органовъ“²⁾,—что не помѣшало ему, однако, подвергнуть опасности такого заболѣванія двухъ своихъ пациентокъ. Правда, по словамъ Бумма, въ его опытахъ „были приняты всѣ (?) мѣры предосторожности противъ зараженія половыхъ органовъ“, по дѣло въ томъ, что эти „всѣ“ мѣры крайне ненадежны. Притомъ, къ очень тяжелымъ послѣдствіямъ можетъ повести гонорройное заболѣваніе и однихъ мочевыхъ путей.

Дальнѣйшій шагъ впередъ въ культивировкѣ гонококка былъ сдѣланъ д-ромъ Эрнстомъ Верт-

¹⁾ *Prof. Al. Neisser. Ueber die Nothwendigkeit von Spezialkliniken für Haut—und venerische Kranke. Klinisches Jahrbuch. Bd. II, p. 199.*

²⁾ о. с. р. IV.

гей.момъ ¹⁾, которому удалось получить чистую культуру на пластинкахъ. „Для вѣрнаго доказательства того,—пишетъ Вертгеймъ,—что растущія на пластинкахъ колоніи дѣйствительно представляютъ собою колоніи нейсерова гонококка, естественно, должно было сдѣлать прививку на мочевой каналъ человѣка“ ²⁾. Вертгеймъ привилъ свои культуры четыремъ больнымъ-паралитикамъ и одному идиоту, тридцатидвухлѣтнему Ш. У идиота Ш. „довольно сильное гноетеченіе“ замѣчалось еще по прошествіи двухъ мѣсяцевъ со времени прививки ³⁾. Дальнѣйшихъ опытовъ Вертгеймъ не дѣлалъ, „за недостаткомъ въ соотвѣтственномъ матеріалѣ“ ⁴⁾.

Способъ Вертгейма былъ провѣренъ другими изслѣдователями. *Гебгардъ* ⁵⁾ съ успѣхомъ прививалъ культуры Вертгейма людямъ (подробностей Гебгардъ въ своей работѣ не приводитъ). Положительный результатъ дали также опыты *Карла Менге*: онъ привилъ гонококка женщинѣ, страдавшей раковымъ пузырно-влагалищнымъ свищомъ;

¹⁾ Предварительное сообщеніе въ *Deutsche med. Wochenschrift*, 1891, № 50 („Reinzüchtung des Gonococcus Neisser mittels des Plattenverfahrens“). Подробная статья въ *Archiv für Gynäkologie*. Bd. 42 (1892) („Die ascendirende Gonorrhoe beim Weibe“).

²⁾ *D. med. Woch.*

³⁾ *Archiv*, pp. 17, 28, 33—34, 37, 39.

⁴⁾ Замѣчу, что этотъ же Вертгеймъ два раза впрыснулъ *себѣ* подъ кожу чистыя разводки гонококковъ,—оба раза съ положительнымъ результатомъ.

⁵⁾ Der Gonococcus-Neisser auf der Platte und in Reincultur. *Berlin. klin. Woch.* 1892, № 11, p. 238.

онъ же привиль гоноррею другой женщиѣ съ опухолью мозга, за два дня до ея смерти ¹⁾).

На особенно широкую ногу были поставлены опыты *Фингера Гона и Шлангенгауфера* ²⁾). Они сдѣлали прививки четырнадцати тяжелымъ больнымъ, большею частью страдавшимъ чахоткою и умершимъ черезъ 3 — 8 дней послѣ прививки. „Чрезвычайно цѣнный гистологическій матеріалъ“ доставиль больной Ф. Д., 21 года, умершій черезъ трое сутокъ послѣ прививки. „Принимая во вниманіе,—говорять авторы,—кратковременность процесса, продолжавшагося всего трое сутокъ, должно удивляться интенсивности процесса, поведшаго къ такимъ глубокимъ гистологическимъ измѣненіямъ“.

Гоноррея является одною изъ самыхъ частыхъ причинъ гнойнаго воспаления глазъ новорожденныхъ. Вопросомъ объ отношеніи гонококка къ болѣзнямъ глазъ новорожденныхъ занимались многіе изслѣдователи. *Е. Френкель* привиль воспалительныя отдѣленія больныхъ на глаза тремъ дѣтямъ, долженствовавшимъ вскорѣ умереть. Одинъ изъ нихъ жилъ послѣ прививки еще десять дней, и у него развилось типическое гнойное воспаление глазъ ³⁾). *Тимендорфъ* прививалъ гонорройное

1) Ein Beitrag zur Kultur des Gonococcus *Centralblatt für Gynäcologie*. 1893. № 8.

2) Zur Biologie des Gonococcus. *Archiv für Dermatologie und Syphilis*. Bd. 28, 1894, pp. 304—306, 317—324.

3) Bericht über eine bei Kindern beobachtete Endemie infectiöser Kolpitis. *Virchow's Archiv*, Bd. 99, Heft 2 (1885). pp. 263—264.

отдѣленіе больныхъ дѣвочекъ на глаза атрофическимъ дѣтямъ, у которыхъ получалось гнойное воспаленіе глазъ съ характеристическими гонококками ¹⁾. *Кронеръ* привилъ слизисто-гнойныя, свободныя отъ гонококковъ отдѣленія беременных и роженицъ на глаза шестерымъ взрослымъ слѣпцамъ (съ отрицательнымъ результатомъ) ²⁾.

Такова *далеко еще не полная* исторія гонорреи съ интересующей насъ точки зрѣнія. Теперь мнѣ слѣдовало бы перейти къ прививкамъ мягкой язвы; но на нихъ я останавливаться не буду: первыхъ, прививки эти по своимъ послѣдствіямъ сравнительно невинны: изслѣдователь привьетъ больному язву на плечо, бедро или животъ, и черезъ недѣлю залечить; это вѣдь для больного совершенные „пустяки“, а между тѣмъ живая человѣческая кожа — „самая естественная питательная среда“ для микроорганизма мягкой язвы, какъ выражается д-ръ Спичка ³⁾. Во-вторыхъ, прививки мягкой язвы такъ многочисленны, что описанію ихъ пришлось бы посвятить нѣсколько печатныхъ листовъ; такія прививки дѣлали Гунтеръ, Рикоръ, Ролле, Бюзене, Надо, Кюллерье, Линдвурмъ, де-Лука, Маннино, В. Бекъ, Штраусъ, Гюббенетъ, Бэреншпрунгъ, Дюкрэ, Крефтингъ, Спичка и многіе, многіе др.

¹⁾ Verhandlungen der 57 Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Magdeburg 1884. *Archiv für Gynäkologie*, Bd. 25, 1885, p. 114.

²⁾ *ibid.*, p. 113.

³⁾ Zur Aetiologie des Schankerbubo. *Archiv für Dermat. und Syphilis*. 1894, Bd. 28, p. 32.

Перейдемъ къ сифилису. Не заходя далеко въ старину, я изложу его исторію лишь со времени знаменитаго французскаго сифилидолога Филиппа Рикора. Рикоръ разрѣшилъ многіе темные вопросы своей науки и совершенно перестроилъ все зданіе венерологій. Но и у него, конечно, не обошлось безъ ошибокъ. Одною изъ такихъ весьма прискорбныхъ ошибокъ было утвержденіе Рикора что сифилисъ въ своей вторичной стадіи незаразителенъ. Причиною этой ошибки было то, что Рикоръ, совершившій безчисленное количество прививокъ *венерическимъ больнымъ*, не рѣшался экспериментировать надъ здоровыми ¹⁾. Исторіей опроверженія этой ошибки Рикора мы теперь и займемся.

Однимъ изъ первыхъ высказался за заразительность вторичныхъ явленій сифилиса дублинскій врачъ *Вилліамъ Уоллесъ* въ своихъ замѣчательныхъ „Клиническихъ лекціяхъ о венерическихъ болѣзняхъ“. Лекціи эти замѣчательны потому классическому безстыдству, съ какимъ Уоллесъ рассказываетъ о своихъ разбойничьихъ опытахъ прививки сифилиса здоровымъ людямъ. „Операцію прививки,—говоритъ онъ,—я совершаю однимъ изъ трехъ способовъ: либо я дѣлаю уколъ

¹⁾ По этому поводу совершенно справедливо замѣчаетъ Ринекеръ: „Непонятно, почему Рикоръ съ такимъ безусловнымъ порицаніемъ относится къ прививкамъ здоровымъ людямъ: при массѣ его опытовъ не могло же ему остаться неизвѣстнымъ, что и прививки больнымъ не особенно рѣдко опасны для нихъ“. Въ общей сложности Рикоръ совершилъ до *селисотъ* прививокъ гонорреи, мягкой язвы и сифилиса.

лашцетомъ и наносу на ранку отдѣленіе язвы или кондиломы; либо поднимаю кожицу нарывнымъ пластыремъ и покрываю обнаженную поверхность корпіей, смоченной гноемъ; либо, наконецъ, удаляю кожицу треніемъ пальца, обернутаго въ полотенце, и на обнаженную поверхность наносу гной. Результаты при всѣхъ трехъ способахъ были одинаковые“ 1).

Въ дальнѣйшихъ лекціяхъ Уоллесъ подробно рассказываетъ о прививкахъ, сдѣланныхъ имъ пяти здоровымъ людямъ, въ возрастѣ отъ 19 до 35 лѣтъ. У всѣхъ развился характерный сифилисъ 2). „Приводимые факты,—говоритъ Уоллесъ въ двадцать второй лекціи,—составляютъ только часть, и притомъ чрезвычайно незначительную часть фактовъ, которые я былъ бы въ состояніи вамъ привести“ 3). Въ двадцать третьей лекціи онъ еще разъ повторяетъ, что изложенные имъ опыты составляютъ лишь очень небольшую часть произведенныхъ имъ 4).

„Позволительно ли еще,—писалъ по поводу этихъ опытовъ Шнепфъ 5),—ждать болѣе убѣдительныхъ доказательствъ заразительности вторичныхъ явленій сифилиса? Не нужно новыхъ опы-

1) W. Wallace, „Lectures on cutaneous and venereal diseases“. *The Lancet* for 1835—36. Vol. II, p. 132.

2) „Clinical lectures on venereal diseases“. *The Lancet* for 1836—37. Vol. II, pp. 535, 536, 538, 620, 621.

3) *ibid.*, p. 539.

4) *ibid.*, p. 615.

5) „De la contagion des accidens consecutifs de la syphilis“. *Annales des maladies de la peau et de la syphilis*, publ. par A. Cazenave, Vol. IV, 1851—52, p. 44.

товъ на здоровыхъ людяхъ: опыты Уоллеса дѣлають ихъ совершенно бесполезными. Дѣло рѣшено, наука не хочетъ новыхъ жертвъ; тѣмъ хуже для тѣхъ, кто закрываетъ глаза передъ свѣтомъ“.

Но оргія только еще начиналась...

Въ 1851 году были опубликованы „замѣчательные“, „дѣлающіе эпоху“ опыты *Валлера*. Вотъ какъ описываетъ онъ свои опыты:

„Первый опытъ. Дурстъ, мальчикъ 12-ти лѣтъ, № скорбнаго листа 1396, въ теченіе многихъ лѣтъ страдаетъ паршами головы. Въ остальномъ онъ совершенно здоровъ, никогда не страдалъ ни сыпью, ни золотухой. Такъ какъ по роду болѣзни ему предстояло пребыть въ больницѣ нѣсколько мѣсяцевъ и такъ какъ онъ раньше не страдалъ сифилисомъ, то я призналъ его весьма годнымъ для прививки, которая и была совершена 6-го августа. На кожѣ праваго бедра были сдѣланы насѣчки, и въ свѣжія, слегка кровоточащія ранки введенъ гной, взятый съ сифилитика. Этотъ гной я втеръ шпательемъ въ ранки, затѣмъ корпіей, пропитанной тѣмъ же гноемъ, растеръ скарифицированное мѣсто и, покрывъ послѣднее этою же корпіею, наложилъ повязку“... Въ началѣ октября у ребенка появилась характерная сифилитическая сыпь ¹⁾.

„Второй опытъ. Фридрихъ, 15 лѣтъ, № скорбнаго листа 5676, въ теченіе семи лѣтъ страдаетъ

¹⁾ *Waller*, „Die Contagiosität der secundären Syphilis“. *Wierteljahrsehr. für d. prakt. Heilkunde*. Prag. 1851. Bd. I. (XXIX), pp. 124—126.

волчанкою правой щеки и подбородка. Больной до сихъ поръ еще не страдалъ сифилисомъ и такимъ образомъ годился для прививки. Она была совершена 27 іюля. Въ свѣжіе надрѣзы на лѣвомъ бедрѣ я ввелъ кровь женщины, страдавшей сифилисомъ, и затѣмъ перевязалъ ранки корпіей, пропитанной тою же кровью“. Въ началѣ октября успѣхъ прививки былъ внѣ всякаго сомнѣнія ¹⁾).

„Обоихъ больныхъ,—прибавляетъ Валлеръ,—я нарочно показалъ г. директору больницы Ридлю, всѣмъ гг. старшимъ врачамъ больницы (Бему и др.), многимъ врачамъ города, нѣсколькимъ профессорамъ (Якшу, Кубику, Оппольцеру, Дитриху и др.), почти всѣмъ госпитальнымъ врачамъ и многимъ иностраннымъ. Единогласно подтвердили всѣ правильность діагноза сифилитической сыпи и выразили готовность въ случаѣ нужды выступить свидѣтелями истинности результатовъ моихъ прививокъ“.

Не правда ли, какой полный и точный... судебный протоколъ? Сообщены всѣ подробности „дѣянія“, точно указаны пострадавшіе, поименно перечислены всѣ свидѣтели... Если бы прокуроры заглядывали въ эту область, то работы имъ было бы здѣсь немного.

Опыты Валлера послужили сигналомъ для повсемѣстной провѣрки вопроса о заразительности вторичнаго сифилиса.

Въ мартѣ 1852 года *проф. Ринекеръ* привилъ гной сифилитика двѣнадцатилѣтнему мальчику,

¹⁾ *Ibid.* pp. 126—128.

лежавшему въ больницѣ вслѣдствіе неизлечимой пляски св. Витта. Черезъ мѣсяць на мѣстѣ прививки развилась инфильтрація и затвердѣніе. Конституціональныхъ симптомовъ въ этомъ случаѣ не послѣдовало ¹⁾).

Въ 1855 году въ одномъ изъ засѣданій Общества пфальцскихъ врачей, во время преній о заразительности вторичнаго сифилиса (по поводу опытовъ Валлера), секретарь Общества познакомилъ собраніе съ содержаніемъ сообщенія, присланнаго ему однимъ отсутствующимъ товарищемъ. „Особое стеченіе обстоятельствъ доставило упомянутому товарищу возможность, безъ нарушенія законовъ гуманности, произвести опыты по вопросу о заразительности вторичнаго сифилиса“. Опыты эти заключались въ слѣдующемъ: 1) Гной плоскихъ мокнущихъ кондиломъ и отдѣленіе трещинъ одной сифилитички были привиты одиннадцати человѣкамъ, — тремъ женщинамъ 17, 20 и 25 лѣтъ и восьми мужчинамъ въ возрастѣ отъ 18 до 28 лѣтъ. У всѣхъ развился сифились. 2) Гной сифилитическихъ язвъ былъ привитъ тремъ женщинамъ 24, 26 и 35 лѣтъ. Всѣ три получили сифились. 3) Кровью сифилитика были смазаны ножныя язвы шестерыхъ больныхъ; у тронхъ развился сифились. 4) Кровь сифилитика была введена въ

¹⁾ „Ueber die Ansteckungsfähigkeit der constitutionellen Syphilis“. *Verhandlungen der phys.-medic. Gesellschaft in Würzburg*. Bd. III. 1852, p. 391. Въ клиникѣ того же проф. Ринекера два врача, д-ръ Варнери изъ Лозанны и д-ръ В. Р., согласились подвергнуться прививкѣ, и оба получили сифились (*ibid*).

ранки отъ кровавыхъ банокъ тремъ лицамъ. Безъ результата ¹⁾.

Итакъ, прививка была произведена *двадцати* тремъ лицамъ, *семнадцать* изъ нихъ получили сифились,—и все это оказалось возможнымъ совершить „безъ нарушенія законовъ гуманности“! Вотъ по-истинѣ удивительное „стеченіе обстоятельствъ“! Ниже мы увидимъ, что подобныя „стеченія обстоятельствъ“ нерѣдки въ сифилидологін... Кто былъ авторъ приведенныхъ опытовъ, такъ и осталось неизвѣстнымъ; онъ счелъ за лучшее навсегда скрыть отъ свѣта свое позорное имя, и въ наукѣ онъ до сихъ поръ извѣстенъ подъ названіемъ „Пфальцскаго Анонима“.

Все тотъ же вопросъ о заразительности вторичнаго сифилиса былъ предметомъ изслѣдованія кіевскаго профессора *X. фонъ-Гюббенета*. Имъ были произведены, между прочимъ, слѣдующіе опыты:

1) „И. Сузиковъ, фельдшеръ, 20 лѣтъ отъ роду, подвергся въ февралѣ 1852 года прививкѣ слезистаго прыща сифилитика, находясь въ цвѣтущемъ здоровьи... Я поставилъ мушку на лѣвомъ бедрѣ и, удаливъ такимъ образомъ кожицу, шпателемъ перенесъ на обнаженное мѣсто матерію слизистыхъ прыщей и потомъ наложилъ корпію, пронитанную тѣмъ же самымъ отдѣленіемъ... На пятой недѣлѣ обнаружилась *roseola* на груди и животѣ. Съ этихъ поръ сифилитическое страданіе стало быстро возрастать. Я продержалъ больного въ этомъ

¹⁾ „Auszüge aus den Protocollen des Vereines pfälzischer Aerzte vom Jahre 1855“. *Aerztliches Intelligenz-Blatt*. 1856. № 35, pp. 425--426.

положеніи еще цѣлую недѣлю, для того, чтобы показать его по возможности большому числу врачей и дать имъ возможность удостовѣриться въ дѣйствительности факта. Наконецъ я обратился къ ртутному леченію, и больной выздоровѣлъ черезъ три мѣсяца“.

2) „Солдатъ Тимоѳей Максимовъ, отъ роду 33 лѣтъ, 13 января 1858 года поступилъ въ хирургическую клинику съ застарѣлой фистулой мочевого канала. Такъ какъ больной по всѣмъ соображеніямъ долженъ былъ пребыть въ госпиталѣ довольно долго, и времени, слѣдовательно, имѣлось въ виду достаточно для того, чтобы выждать результатъ, то мнѣ этотъ случай показался удобнымъ для опыта. Марта 14-го привита матерія, взятая съ покрытыхъ слизистыми прыщами и изъязвленныхъ миндалей солдата Нестерова... Къ 22-му мая характерная roseola... 2-го іюня начато ртутное леченіе, и черезъ шесть недѣль больной выздоровѣлъ“ ¹⁾.

„Читая эти два описанія, — говоритъ проф. В. А. Манассенинъ, — не знаешь, чему болѣе удивиться: тому ли хладнокровію, съ которымъ экспериментаторъ даетъ сифилису развиваться порѣзче для большей ясности картины и „чтобы показать больного большому числу врачей“, или же той начальнической логикѣ, въ силу которой подчиненнаго можно подвергнуть тяжелой, иногда смертельной болѣзни, даже не спросивъ его согласія. Желалъ бы я знать, привилъ ли бы проф. Гюббе-

¹⁾ Проф. Х. фонъ-Гюбенетъ. „Наблюденіе и опытъ въ сифилисѣ“. *Военно-Медиц. Журналъ*. Ч. 77. 1860. стр. 423—427.

петь сифились своему сыну, даже если бы тотъ и согласился!“¹⁾

Свою статью проф. Гюббенетъ заканчиваетъ слѣдующими словами: „Считаю нужнымъ замѣтить, что, произведя множество неудачныхъ опытовъ надъ больными, я былъ вполне убѣжденъ, что встрѣчу ту же самую неудачу въ отношеніи здоровыхъ: только на основаніи этого убѣжденія я и могъ себѣ позволить произвести эти опасные опыты“. (Не будемъ ужъ говорить о томъ, что профессоръ-специалистъ не могъ не знать объ удачныхъ прививкахъ хотя бы Валлера; но и самимъ проф. Гюббенетомъ первая удачная прививка была произведена въ 1852 году, послѣдняя же въ 1858. Неужели и въ 1858 году профессоръ приступалъ къ прививкѣ, тоже „вполне убѣжденный“?) „Обнародованіе этихъ наблюденій,—продолжаетъ Гюббенетъ,—можетъ быть, удержать людей даже съ такой скептической натурой, какъ и моя, отъ производства дальнѣйшихъ опытовъ, могущихъ повести къ совершенному разстройству здоровыхъ лицъ, имъ подвергающихся. Я бы еще нѣсколько успокоился относительно судьбы жертвъ, если бы опыты эти распространили въ публикѣ убѣжденіе въ заразительности вторичныхъ припадковъ... Если опыты эти могутъ раскрыть истину въ столь важномъ дѣлѣ, то страданіемъ нѣсколькихъ лицъ человѣчество еще не очень дорого заплатитъ за истинно-полезный и практический результатъ“.

¹⁾ „Лекціи общей терапіи“. Ч. I. Спб. 1879, стр. 66.

Непонятно, почему въ такомъ случаѣ проф. Гюббенетъ не привилъ сифилиса *себѣ*? Или, можетъ быть, это было бы слишкомъ „дорого“ даже и для человѣчества?

Въ 1858 году французское правительство обратилось къ Парижской Медицинской Академіи за разрѣшеніемъ все еще остававшагося спорнымъ вопроса, заразителенъ ли вторичный сифилисъ. Была назначена комиссія, и докладчикомъ этой комиссіи выступилъ въ академіи д-ръ *Жиберъ*. Между прочимъ, онъ сообщилъ, что съ цѣлью выясненія предложеннаго вопроса д-ръ *Озіасъ-Тюреннъ* привилъ отдѣленіе сифилитика двумъ взрослымъ больнымъ, страдавшимъ волчанкою, и у обоихъ развился сифилисъ. Самъ докладчикъ сдѣлалъ прививки двумъ другимъ больнымъ, также страдавшимъ волчанкою, и также въ обоихъ случаяхъ получилъ сифилисъ ¹⁾.

Докладъ Жибера вызвалъ въ академіи бурныя и продолжительныя пренія; въ нихъ горячее участіе принялъ Рикоръ, который упрямо, несмотря на всю очевидность, отрицалъ до тѣхъ поръ заразительность вторичнаго сифилиса; въ концѣ концовъ Рикоръ былъ принужденъ сознаться, что ошибался, и присоединился къ мнѣнію о заразительности вторичнаго сифилиса.

Самый сильный и авторитетный противникъ новыхъ взглядовъ былъ побѣжденъ. Но, несмотря на это, опыты, теперъ ужъ даже безцѣльные, все продолжались и продолжались... Въ 1859 году

¹⁾ *Bulletin de l'Academie imperiale de médecine*. Tome XXIV Paris. 1858—1859, p. 888—890.

Гюено привилъ отдѣленіе сифилитическихъ слизистыхъ бляшекъ десятилѣтнему мальчику І. Б.-Б., страдавшему паршами головы, и получилъ у него сифились¹⁾. Въ томъ же 1859 году *проф. Бэрэншпрунгъ* съ успѣхомъ привилъ сифилитическій гной восемнадцатилѣтней дѣвушкѣ Бергѣ Б. Онъ же отдѣленіемъ твердаго шанкра привилъ сифились двадцатитрехлѣтней проституткѣ Маріи Г.²⁾. *Проф. Линдвурмъ* въ 1860—1861 гг. привилъ сифились пяти лежавшимъ въ его больницѣ женщинамъ 18-ти, 19, 30, 45 и 71 года. Вотъ описаніе послѣдняго изъ этихъ опытовъ: „Марія Е., 71 года, въ теченіе многихъ лѣтъ страдаетъ большою, глубокою язвою лба. Обѣ лобныя пазухи вслѣдствіе разрушенія переднихъ стѣнокъ открыты; дно язвы густо покрыто грануляціями, между которыми зондъ легко доходить до кости, а кое-гдѣ проходитъ и въ кость... 27 мая 1861 года больной была вприснута подъ кожу между лопатками кровь сифилитички“. Больная получила сифились³⁾.

Какъ сообщаетъ Цейсель, д-ромъ *Рознеромъ*, по порученію *проф. Гебры*, были произведены слѣдующіе опыты: 1) „Отдѣленіе плоскаго кондилома, сидѣвшаго на груди одной кормилицы, было при-

1) „Nouveau fait d'inoculation d'accidents syphil. secondaires“ *Gaz. hebdomad. de méd. et de chirurgie*, 1859, № 15. Гюено за свой опытъ понесъ страшное наказаніе: Ліонскій Исправительный Трибуналъ приговорилъ его... къ *ста* франкамъ штрафа!

2) „Mittheilungen aus der Klinik für syphil. Kranke“. *Annalen des Charité-Krankenhauses* Bd. IX. Heft 1. 1860. p. 167—168.

3) „Ueber die Verschiedenheit der syphilitischen Krankheiten“. *Würzburger Medicinische-Zeitschrift*. 1862. Bd. III, pp. 146—148, 174.

вито 50-лѣтнему больному, страдавшему чрезвычайно сильно развитымъ зудомъ“. Сифились. 2) „Гной шанкра былъ привитъ на предплечіе кормилицѣ, страдавшей пятнистымъ сифилидомъ. Уколы у этой пропитанной сифилисомъ женщины принялись и развились въ характеристическія пустулы. Гной этихъ-то послѣднихъ былъ снова привитъ одному прокаженному больному, не страдавшему прежде сифилисомъ... Эта прививка также принялась“ 1).

Докторъ *Пюшъ* привилъ на животъ больному, лежавшему въ *Hôpital du Midi*, отдѣленіе твердой язвы сифилитика. Прививка не удалась. Черезъ три недѣли *Пюшъ* привилъ этому больному отдѣленіе другого сифилитика. На этотъ разъ опытъ увѣнчался успѣхомъ: больной получилъ сифились 2).

Съ цѣлью выясненія вопроса, заражается ли сифилисомъ человѣкъ, однажды уже перенесшій сифились, проф. *Видалъ-де-Касси* произвелъ слѣдующій опытъ:

„М., 37 лѣтъ отъ роду“. (Перенесъ сифились, постунилъ въ больницу съ параличомъ нижнихъ конечностей; раньше работалъ въ сыромятномъ заведеніи, потомъ былъ сторожемъ). „Больной началъ выздоравливать, но пожелалъ остаться еще на нѣкоторое время въ госпиталь, въ ожиданіи казеннаго мѣста служенія. Въ январѣ 1852 года ему было приставлено по маленькой мушкѣ на

1) *Германъ Цейель*, „Руководство къ изученію общаго сифилиса“. Спб. 1866, стр. 29.

2) *Henri Lee*, „Hunterian lectures on syphilis“. *The Lancet*, 1875, vol. II, p. 122.

каждое бедро, вслѣдствіе недѣятельности мочевого пузыря; послѣ снятія кожицы раны были перевязаны корпією, пропитанною въ гноѣ, снятомъ съ слизистыхъ прыщей, которыми страдалъ другой больной. Но отъ этой прививки не было никакихъ послѣдствій. Я предложилъ впослѣдствіи повторить этотъ опытъ. 12 апрѣля 1852 года, когда больной началъ жаловаться на трудность дыханія, ему была приставлена мушка на верхней части рукъ, которая 13 апрѣля была перевязана корпією, пропитанной гноемъ слизистыхъ прыщей другого больного. 15 апрѣля: рана на каждой рукѣ покрылась сѣрватою перепонкою, нагноеніе очень обильно и отвратительнаго запаха; на эти раны вновь была наложена корпія, пропитанная тѣмъ же гноемъ“ и т. д. ¹⁾). Видалъ очень недоволенъ щепетильностью ученыхъ, не рѣшающихся на подобные опыты. „Къ несчастью,—говоритъ онъ,—самые дѣльные изъ сифилографовъ, которые по своей логикѣ и навыку къ клиническимъ наблюденіямъ могли бы принести огромную пользу, считаютъ опытъ за средство безнравственное и пренебрегаютъ имъ“ ²⁾).

Заразительнъ ли сифились въ третичномъ періодѣ? Большинство опытовъ говоритъ за незаразительность, *Дидэ* прививалъ безъ результата здоровымъ людямъ кровь сифилитиковъ въ третичной стадіи ³⁾; *Фингеръ* сдѣлалъ болѣе три-

¹⁾ *Проф. А. Видалъ*, „О венерическихъ болѣзняхъ“. Пер. съ фр. Спб. 1857, стр. 560—561.

²⁾ *Ibid.*, стр. 31.

³⁾ *Gaz méd. de Paris*, 1846. Цит. по Дансеро, „Ученіе о сифилисѣ“, стр. 607,

дцати отрицательныхъ прививокъ отдѣленіемъ гумозныхъ язвъ и періоститовъ десяти „здоровымъ, т.-е. не сифилитическимъ субъектамъ“¹⁾.

Цѣлый рядъ опытовъ былъ произведенъ различными изслѣдователями по вопросу о томъ, заразительны ли во вторичной стадіи сифилиса всевозможныя нормальныя и патологическія, но не специфическія отдѣленія больного. Такъ, *Бассэ* прививалъ гонорройный гной, взятый съ сифилитика, на кожу здороваго человѣка и получилъ отрицательный результатъ²⁾. Проф. *В. М. Тарновскій* былъ счастливѣе. „Зимою 1863 года, въ Калинкинской больницѣ,—разсказываетъ онъ,—послѣ восемнадцати (!) попытокъ мнѣ удалось привить женщинѣ, имѣвшей бородавчатые наросты и никогда не страдавшей сифилисомъ, слизисто-гнойное отдѣленіе другой больной“ (сифилитички). Развился характерный сифилисъ³⁾. Въ той же Калинкинской больницѣ проф. Тарновскій сдѣлалъ рядъ опытовъ для провѣрки утвержде-нія Кюллере, что на цѣльную слизистую оболочку мягкая язва не прививается. „Мало того,—пишетъ профессоръ,—въ теченіе прошлаго 1868—1869 учебнаго года я рѣшился сдѣлать тотъ же опытъ съ отдѣляемымъ твердаго шанкра и послѣдовательныхъ явленій сифилиса. Двумъ больнымъ,

1) *E. Finger*, „Die Syphilis und die vener. Krankheiten“. Wien. 1886, p. 7.

2) Рѣчь *Ролле* на Ливскомъ конгрессѣ 1864 г. *Gaz hebdomad.* 1864, p. 706.

3) *В. М. Тарновскій*, „Курсъ венерическихъ болѣзней“. Спб. 1870, стр. 67.

никогда не имѣвшимъ сифилиса и не представлявшимъ во влагалницѣ и наружныхъ частяхъ ни малѣйшихъ ссадинъ, было введено въ рукавъ одной — отдѣляемое твердаго шанкра, другой — слизистыхъ папулъ“. Сифилиса не послѣдовало ¹⁾. Тотъ же проф. Тарновскій, испытывая предохранительную жидкость Ланглебера, произвелъ, между прочимъ, слѣдующіе два опыта: „Отдѣляемое твердаго шанкра въ одномъ случаѣ и мокнущихъ слизистыхъ папулъ въ другомъ было положено мною на внутреннюю поверхность плеча здороваго субъекта, гдѣ помощью ланцета предварительно была соскоблена кожица. Заразительная матерія оставлена въ соприкосновеніи съ обнаженнымъ мѣстомъ отъ пяти до десяти минутъ, затѣмъ послѣднее натерто предохранительною жидкостью. Въ обоихъ случаяхъ развитія сифилитическихъ явленій не послѣдовало“ ²⁾.

Весною 1897 года проф. Тарновскій покинулъ за выслугою лѣтъ каѳедру Военно-Медицинской Академіи. Его прощальная лекція была посвящена... врачебной этикѣ. Повидимому, въ этой лекціи г-номъ профессоромъ были высказаны очень возвышенныя и благородныя мысли: молодежь устроила ему шумную овацію.

Можно ли передать сифились отдѣляемымъ мягкой язвы сифилитика? Этотъ вопросъ пытался рѣшить экспериментальнымъ путемъ доцентъ (нынѣ проф. Казанскаго университета) А. Г. Ге. „Опытъ

¹⁾ *Ibid.*, стр. 64

²⁾ Э. Лансеро. „Ученіе о сифилисѣ“. Пер. подъ ред. проф. В. М. Тарновскаго. Спб. 1876. стр. 669, примѣч. редактора.

былъ произведенъ надъ женщиною, страдающею норвежскою проказою, никогда не имѣвшей сифилиса и *давшей на опытъ свое согласіе (sic!)*“. Результатъ получился отрицательный ¹⁾. Отрицательный результатъ дали также четыре прививки *Ригера*, произведенныя имъ въ клиникѣ Ринекера ²⁾. Болѣе успѣшными оказались опыты *Биденкапа*... Впрочемъ, виноватъ: опытовъ Биденкапъ не производилъ; къ нему на помощь пришло одно изъ тѣхъ волшебныхъ „стеченій обстоятельствъ“, которыя въ обыденной жизни совершенно невѣроятны, но которыя въ сифилидологіи, какъ мы уже знаемъ, иногда случаются.

„Первый случай. Дѣвушка, принятая 9 октября 1862 года съ бленорреей влагалища и мочевого канала, *изъ баловства* привила себѣ иглой шанкерный ядъ изъ искусственныхъ язвъ одной больной, которая была пользуема сифилизаціей... Образовались двѣ язвы, которыя не сопровождались конституціональнымъ сифилисомъ.

„Второй случай. Дѣвушка съ экземой предплечій, но никогда не страдавшая венерическими пораженіями, привила себѣ *изъ шалости, подобно предыдущей больной* 18 (восемнадцать!) шанкровъ; къ нимъ прибавилось 12 другихъ отъ пробныхъ прививаній гноемъ первоначально образовавшихся нустулъ, такъ какъ способъ ихъ происхожденія вначалѣ не былъ извѣстенъ“. Больная получила сифилисъ ³⁾.

¹⁾ *Дневникъ Казанскаго Общества врачей*, 1881, стр. 12.

²⁾ См. *Bäumler*, „Сифилисъ“, въ „Руков. къ частн. патол. и терапіи“ Цимсена, т. III. ч. I. Харьковъ. 1886, стр. 84.

³⁾ *Ibid.*

Съ цѣлью рѣшенія вопроса, заразительно ли молоко женщинъ, больныхъ сифилисомъ, *Падова* привилъ четыремъ здоровымъ кормилицамъ молоко, взятое отъ сифилитички; результатъ во всѣхъ случаяхъ получился отрицательный ¹⁾. Этимъ же вопросомъ занимался д-ръ *Р. Фоссъ*; онъ привилъ въ Калининской больницѣ молоко сифилитической женщины тремъ проституткамъ, „*давшимъ на опытъ свое согласіе*“.

Опытъ первый. Пелагея А—ва, *тринадцати* лѣтъ, крестьянка Новгородской губерніи; имѣла сифилисъ, вылечилась, 25 сентября 1875 г. ей впрыснута въ спину молоко сифилитички. Получился только нарывъ величиною „съ небольшой кулакъ“.

Опытъ второй. Наталья К—ва, 15 лѣтъ, проституціей стала заниматься недавно. Поступила съ уретритомъ и вагинитомъ. Впрыснута молоко сифилитички. Безъ результата.

Опытъ третій. Любовь Ю—нъ, 16 лѣтъ, проститутка; поступила въ больницу съ уретритомъ; сифилиса никогда не имѣла. 27 сентября ей впрыснуть подъ лѣвую лопатку полный правцовскій шприцъ молока сифилитички. *Дѣвушка получила сифилисъ* ²⁾.

Докторъ Фоссъ, какъ и проф. Ге, увѣряетъ, что его жертвы дали на опытъ свое согласіе. Что это, насмѣшка? Самой старшей изъ дѣвушекъ было всего *шестнадцать* лѣтъ! Если согласіе даже дѣй-

¹⁾ *Лансеро*, стр. 614.

²⁾ „Ist die Syphilis durch Milch übertragbar?“ *St.-Petersburger Med. Wochenschrift*. 1876, № 23. Въ оригиналъ всѣ три дѣвушки названы полными фамиліями.

ствительно было дано, то знали ли эти дѣти *на что* они соглашались, можно ли было придавать какое-нибудь значеніе ихъ согласію?

Довольно. Я привелъ далеко не всѣ имѣющіеся въ моемъ распоряженіи факты прививки сифилиса людямъ. Но ужъ и приведенные, мнѣ кажется, съ достаточною убѣдительностью говорятъ за то, что опыты эти не представляютъ собою чего-то исключительнаго и случайнаго: они производятся систематически, о нихъ сообщаютъ спокойно, не боясь суда ни общественной совѣсти, ни своей,—сообщаютъ такъ, какъ будто рѣчь идетъ о кроликахъ или собакахъ. Я только приведу еще нѣсколько подобныхъ же опытовъ изъ другихъ областей медицины; хотя тамъ они сравнительно и рѣже (благодаря возможности производить опыты надъ животными), но безотпосительно встрѣчаются все-таки въ слишкомъ достаточномъ количествѣ.

Изслѣдуя способы зараженія человѣка глистами, *проф. Grassi* и *д-ръ Каландруччіо* дали семилѣтнему мальчику, до тѣхъ поръ не страдавшему глистами, пилюлю съ зародышами глистовъ-струнцовъ (аскаридъ); черезъ три мѣсяца у ребенка выдѣлилось 143 глиста длиною въ 18—23 ст. каждый ¹⁾. На съѣздѣ врачей въ Галле *проф. Энтгейнъ* сообщилъ о своихъ опытахъ подобнаго же рода: зародыши глистовъ-струнцовъ онъ далъ въ пиццѣ тремъ дѣтямъ, и черезъ три мѣсяца въ ихъ испражненіяхъ были уже яйца струнца ²⁾.

1) *Prof. B. Grassi*. „Trichocephalus und Ascarisentwicklung.“ *Centralbl. f. Bakteriol. u. Paras.* 1887. Bd. I, p. 131.

2) *Врачъ*, 1891, стр. 972.

Желая ознакомиться съ измѣненіями, происходящими въ печени при сахарной болѣзни, проф. *Фрериксъ* и *Эрлихъ* вкалывали въ печень больнымъ сахарною болѣзнью троакаръ. „По удаленіи стилета въ трубкѣ троакара оказывалось нѣсколько капель крови, обыкновенно съ печеночными клѣтками, иногда же и болѣе значительный, колбасообразный кусокъ печени“ ¹⁾.

Д-ръ *Фелейзенъ*, открывшій микроорганизмъ рожи, привилъ разводку своихъ рожистыхъ стрептококковъ 58-лѣтней старухѣ съ множественною фибросаркомою кожи. Рожа привилась. „На шестой день послѣ прививки у больной появился угрожающій упадокъ силъ, который потребовалъ примѣненія возбуждающихъ средствъ“ ²⁾. Послѣ этого Фелейзенъ привилъ рожу еще шести больнымъ, страдавшимъ волчанкою и разнаго рода опухолями ³⁾.

1) *Fr. Th. v. Frerichs*, „Ueber den Diabetes“, Berlin. 1884, p. 272.

2) *Dr. Fehleisen*. „Die Aethiologie des Erysipels“. Berlin. 1883, pp. 21—23.

3) О. с. р. 29. Въ оправданіе своихъ опытовъ д-ръ Фелейзенъ ссылается на отмѣченное нѣкоторыми наблюдателями цѣлебное дѣйствіе рожи на злокачественныя опухоли и волчанку. Но вотъ исторія одного изъ больныхъ, которымъ Фелейзенъ привилъ рожу: „Двадцатилѣтній мужчина, послѣднія двѣнадцать лѣтъ страдаетъ волчанкою и много разъ перенесъ рожу“. Какое основаніе имѣлъ Фелейзенъ ждать, что привитая имъ рожа исцѣлитъ больного, который ужъ много разъ безъ всякой пользы для себя перенесъ рожу? Восьмилѣтней девочкѣ съ саркомою глаза, послѣ удавшейся прививки, Фелейзенъ вторично привилъ рожу, „съ цѣлью узнать, остается ли соотвѣтственный индивидуумъ послѣ перенесенной рожи на некоторое время невосприимчивымъ къ рожѣ“.

Въ мартѣ 1887 года къ берлинскому хирургу *Евг. Гану* обратилась за помощью женщина съ ракомъ грудной железы. Произвести операцію было уже невозможно. „Чтобы отказомъ отъ операціи не открыть больной безнадежность ея состоянія и чтобы доставить ей облегченіе и успокоеніе психическимъ впечатлѣніемъ произведенной операціи“, д-ръ Ганъ вырѣзалъ изъ пораженной груди кусочекъ опухоли и... привилъ его на другую, здоровую грудь своей паціентки; прививка удалась ¹⁾. Такимъ образомъ былъ установленъ очень важный фактъ прививаемости рака. Опытъ Гана былъ впоследствии съ успѣхомъ повторенъ *проф. Бергманомъ* и неизвѣстнымъ хирургомъ, анонимно приславшимъ свое сообщеніе парижскому профессору Корнилю.

Д-ръ *Н. А. Финнъ* изслѣдовалъ въ одномъ изъ кавказскихъ военныхъ госпиталей вопросъ о заразительности пятнистаго тифа. По его предложенію, ординаторъ *Артемовичъ* вприснулъ подъ кожу семнадцати здоровымъ солдатамъ кровь больныхъ пятнистымъ тифомъ. Ни одинъ изъ привитыхъ не заболѣлъ, „только у двухъ сдѣлались простые нарывы на мѣстѣ уколовъ“. Кромѣ того, двадцать восемь здоровыхъ молодыхъ солдатъ было положено д-ромъ Финномъ въ одну палату съ пятнисто-тифозными больными. Они пролежали съ больными „въ теченіе четырехъ-пяти дней, при плотно сдвину-

¹⁾ *E. Hahn*, „Ueber Transplantation der carcin. Haut“. *Berl. Klin. Woch.* 1888. № 21

тыхъ кроватяхъ, а иногда покрывались одѣялами тифозныхъ больныхъ“ 1).

Въ декабрѣ 1887 г. д-ръ *Штиклеръ* прочелъ въ Нью-Йоркской Медицинской Академіи докладъ о предохранительныхъ прививкахъ скарлатины. Онъ сдѣлалъ наблюденіе, что лица, заразившіяся отъ животныхъ копытною и другими родственными болѣзнями, по перенесеніи этихъ болѣзней становятся невосприимчивыми къ скарлатинѣ. Чтобы провѣрить свое наблюденіе, Штиклеръ сталъ прививать дѣтямъ кровь больныхъ лошадей и содержимое пузырьковъ большихъ коровъ. Послѣ этого онъ клалъ дѣтей на подушки, бывшія въ употребленіи у скарлатинозныхъ больныхъ, а также заставлялъ ихъ дышать воздухомъ, выдыхаемымъ этими больными; такихъ дѣтей счетомъ было двадцать; кромѣ того, двѣнадцати дѣтямъ Штиклеръ впрыснулъ подъ кожу кровь, взятую у лихорадившихъ скарлатинозныхъ больныхъ. Изъ всѣхъ этихъ дѣтей одни совсѣмъ не заболѣли скарлатиною, другіе получили скарлатину, но въ легкой формѣ; тяжелыхъ заболѣваній не было 2).

Проф. *Робертъ Бартоло* изъ Огіо пользовалъ больную, у которой вслѣдствіе рака черепныхъ

1) *Протоколы засѣд. Имп. Кавк. Мед. Об-ва* за 1878—1879 г. № 8, стр. 167. Д-ра Финнъ и Артемовичъ впрыснули кровь пятнисто-тифозныхъ больныхъ также и себѣ.

2) Реферирюя докладъ Штиклера изъ одного америкапскаго журнала, *Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde* (Bd. IV, 1888, p. 369), замѣчаетъ: „Полученные результаты во всякомъ случаѣ достаточно важны для того, чтобы побудить къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ въ этомъ направленіи“.

покрововъ была обнажена задняя доля большого мозга. Профессоръ воспользовался рѣдкимъ случаемъ и продѣлалъ надъ своею пациенткою рядъ опытовъ электрическаго раздраженія мозга. Гальваническое раздраженіе твердой мозговой оболочки оказалось безболѣзненнымъ, фарадическое — вызвало сокращеніе мускуловъ на всей противоположной половинѣ тѣла. Послѣ этого „изолированная игла одного электрода была воткнута въ лѣвую долю мозга, а другой электродъ приставленъ къ твердой мозговой оболочкѣ; когда былъ замкнутъ токъ, послѣдовали мускульныя сокращенія въ правой рукѣ, ногѣ и въ лѣвыхъ глазныхъ мышцахъ, а лѣвый зрачекъ расширился. Несмотря на весьма очевидную боль, которую это доставляло больной, на лицѣ ея появилась улыбка, какъ будто это было ей очень пріятно“. Тотъ же опытъ былъ повторенъ и надъ правой мозговой долей. „Когда игла входила въ вещество мозга, больная испытала острую боль въ затылкѣ. Съ цѣлью достигнуть болѣе ясно выраженныхъ реакцій, сила тока была увеличена; послѣ того, какъ токъ былъ замкнутъ, лицо больной выразило ужасъ, и она начала громко кричать; ея глаза, съ сильно расширенными зрачками, стали неподвижными, губы посинѣли, и на губахъ показалась пѣна; она потеряла сознаніе, и въ лѣвой половинѣ тѣла появились сильныя конвульсіи. Конвульсіи продолжались пять минутъ и смѣнились глубокимъ обморочнымъ состояніемъ; сознаніе воротилось къ больной черезъ двадцать минутъ послѣ начала опыта“. Черезъ нѣкоторое время опытъ

былъ снова повторенъ съ болѣе слабымъ токомъ, а три дня спустя „состояніе больной значительно ухудшилось. Вечеромъ явился приступъ судорогъ, продолжавшійся около пяти минутъ, послѣ этого больная впала въ глубокой обморокъ, и у нея развился полный параличъ правой стороны тѣла“. Несчастная вскорѣ умерла. По мнѣнію профессора Бартоло, смерть ея послѣдовала отъ основной болѣзни ¹⁾.

„Вотъ какъ относятся врачи къ больнымъ, ввѣряющимъ въ ихъ руки свое здоровье!“—скажетъ иной читатель, прочитавъ эту главу. Такое заключеніе будетъ совершенно невѣрно. Сотня дру-

¹⁾ *British Med. Journ.* 1874, vol. I, p. 687. Реферирюя это сообщеніе изъ одного американскаго изданія, цитированный журналъ выразилъ порицаніе автору за его опыты. Бартоло прислалъ въ редакцію письмо, гдѣ въ свое оправданіе ссылается на то, что больной все равно предстоялъ скорый конецъ, что она согласилась на опыты, и что, по его мнѣнію, опыты эти не грозили никакою опасностью. „Я былъ вполне увѣренъ,—пишетъ онъ,—что тонкія иголки электродовъ могутъ быть безъ всякаго вреда введены въ вещество мозга, но я вижу теперь, что ошибся. Повторять подобныя опыты, зная, насколько они вредны, было бы въ высшей степени преступно. Я могу только выразить сожалѣніе, что факты, которые, какъ я надѣялся, должны были способствовать прогрессу науки, были получены путемъ причиненія нѣкотораго вреда пациенткѣ“ (p. 727). По мнѣнію журнала, письмо это „способно обезоружить всякую дальнѣйшую критику“; редакция находитъ письмо искреннимъ, вполне достойнымъ профессора автора и даже... гуманнымъ! (p. 723). И это безъ всякой ироніи.—Въ общемъ опыты Бартоло вызвали, впрочемъ, дружное негодованіе врачебной печати.

гая врачей, видящихъ въ больныхъ людяхъ лишь объекты для своихъ опытовъ, не даетъ еще права клеймить цѣлое сословіе, къ которому принадлежатъ эти врачи. Параллельно можно привести ничуть не меньшее количество фактовъ, гдѣ врачи производили самые опасные опыты *надъ самими собою*. Такъ, у всѣхъ еще въ памяти опыты Петтенкофера и Эммериха, принявшихъ внутрь чистыя разводки холерныхъ бациллъ, причемъ соляная кислота желудка была предварительно нейтрализована содою. То же самое продѣлали надъ собою проф. И. И. Мечниковъ, д-ра Гастерликъ и Латани. Сифились привили себѣ д-ра Борджіони ¹⁾, Варнери ²⁾, Линдеманъ ³⁾, и многіе, многіе другіе;

¹⁾ 6 февраля 1862 г. проф. Пеллицари привилъ кровь сифилитической больнои д-рамъ Борджіони, Рози и Пассильи, „которые мужественно обрекли себя на опыты, несмотря на отговариванія профессора“. У д-ра Борджіони прививка удалась: черезъ два мѣсяца послѣ прививки появились починны головныя боли, общая сыпь, опуханіе железъ; десять дней спустя первичная язва на рукѣ стала заживать; лишь тогда д-ръ Борджіони приступилъ къ ртутному леченію (*Gaz. hebdom.*, 1862, № 22, p. 349—350).

²⁾ *Verhandlungen der phys. med. Gesellschaft in Würzburg* Bd. III, 1852, p. 391. Ст. проф. Ринекера.

³⁾ Интересуясь различными вопросами сифилидологін, д-ръ Линдеманъ произвелъ надъ собою слѣдующіе опыты. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ черезъ каждые пять дней онъ прививалъ себѣ на руки мягкія язвы; черезъ три мѣсяца послѣ этого онъ привилъ себѣ отдѣленіе сифилитика и получилъ сифились. Черезъ семнадцать дней послѣ появленія общей высыпи папуль Линдеманъ снова сталъ прививать себѣ мягкіе шанкры различной вредоносности. Комиссія, назначенная Парижской Медицинской Академіей, изслѣдовала д-ра Линдемана, и вотъ какъ описываетъ она его состояніе устами своего

молодые и здоровые, они для науки пошли на опыты, которые искалѣчили всю ихъ жизнь. Отъ сотни-другой этихъ героевъ заключать о геройствѣ врачебнаго сословія вообще столь же несправедливо, какъ изъ вышеприведенныхъ опытовъ надъ больными дѣлать заключеніе, что такъ относятся къ своимъ больнымъ врачи вообще.

Но что безусловно вытекаетъ изъ приведенныхъ опытовъ и чему не можетъ быть оправданія, — это то позорное равнодушіе, какое встрѣчаютъ описанныя звѣрства въ врачебной средѣ. Въдѣ приведенный мною мартирологъ больныхъ, припесенныхъ въ жертву наукѣ, добытъ мною не путемъ какихъ-нибудь тайныхъ розысковъ, — сами виновники этихъ опытовъ печатно, во всеуслышаніе сообщаютъ о нихъ! Казалось бы, опубликованіе перваго же такого опыта должно бы сдѣлать совершенно невозможнымъ ихъ повтореніе; первый же такой экспериментаторъ долженъ бы быть съ позоромъ выброшенъ навсегда изъ врачебной среды. Но этого нѣтъ. Гордо подиявъ головы, шествуютъ эти своеобразные служители

докладчика Бэгена: „Обѣ руки (отъ плечъ до ладоней) покрыты язвами; многія язвы слились; вокругъ нихъ острое и болѣзненное воспаленіе; нагноеніе очень обильно; дно большинства язвъ сѣроватаго цвѣта; въ общности все эти поврежденія, говоря языкомъ хирургіи, имѣютъ очень дурной видъ. По всему тѣлу — обильная сыпь сифилитическихъ папулъ.—Д-ръ Л. исполненъ мужества и довѣрія и выразилъ намѣреніе прибѣгнуть, наконецъ, къ правильному леченію своей болѣзни, ставшей уже застарѣлою и серьезною“. (*Bulletin de l'Academie Nation. de médecine. Tome XVII. Paris. 1851 - 1852, pp. 879 - 885*).

науки, не встрѣчая сколько-нибудь дѣятельнаго отпора ни со стороны товарищей-врачей, ни со стороны врачебной печати. Изъ всѣхъ органовъ послѣдней миѣ извѣстенъ только одинъ, упорно и энергично протестовавшій противъ каждой попытки экспериментировать надъ живыми людьми, — это русская газета „Врачь“, выходящая подъ редакціей недавно умершаго проф. В. А. Манассена. Страницы этой газеты такъ и нестрять замѣтками редакціи въ такомъ родѣ: „Опять неизволительные опыты!“ „Мы рѣшительно не понимаемъ, какъ врачи могутъ позволять себѣ подобные опыты!“ „Не ждать же, въ самомъ дѣлѣ, чтобы прокуроры взяли на себя трудъ разъяснить, гдѣ кончаются опыты позволительные и начинаются уже преступныя!“ „Не пора ли врачамъ сообща возстать противъ подобныхъ опытовъ, какъ бы поучительны сами по себѣ они ни были?“

О, да, пора, пора! Но пора ужъ и обществу перестать ждать, когда врачи наконецъ выйдутъ изъ своего бездѣйствія, и принять собственныя мѣры къ огражденію своихъ членовъ отъ ревнителей науки, забывшихъ о различіи между людьми и морскими свинками.

IX.

Кончая въ университетѣ, я восхищался медициною и горячо вѣрилъ въ нее. Научныя пріобрѣтенія ея громадны, очень многое въ человѣческомъ организмѣ намъ доступно и понятно; современемъ

же для насъ не будетъ въ немъ никакихъ тайнъ, и путь къ этому вѣренъ. Съ такимъ совершенно опредѣленнымъ отношеніемъ къ медицинѣ я приступилъ къ практикѣ. Но тутъ я опять натолкнулся на живого человѣка, и всѣ мои установившіеся взгляды зашатались и заколебались. „Значенія этого органа мы еще не знаемъ“, „дѣйствіе такого средства намъ пока совершенно непонятно“, „причины происхожденія такой-то болѣзни неизвѣстны“... Пускай наукою завоевана громадная область, но что до этого, если кругомъ раскидываются такіе необъятные горизонты, гдѣ все еще темно и непонятно? Что, въ сущности, понимаю я въ больномъ человѣкѣ, если не понимаю *всего*, какъ могу я къ нему подступиться? Часовой механизмъ неизмѣримо проще человѣческаго организма; а между тѣмъ могу ли я взяться за починку часовъ, если не знаю назначенія хотя бы одного самаго ничтожнаго колесика въ часахъ?

Такъ же, какъ при первомъ моемъ знакомствѣ съ медициной, меня теперь опять поразило безконечное несовершенство ея діагностики, чрезвычайная шаткость и неувѣренность всѣхъ ея показаній. Только раньше я пренесполнялся глубокимъ презрѣніемъ къ кому-то „имъ“, которые создали такую плохую науку; теперь же ея несовершенство встало передо мною естественнымъ и неизбѣжнымъ фактомъ, но еще болѣе тяжелымъ, чѣмъ прежде, потому что онъ паталкивался на жизнь.

Вотъ передо мною этотъ загадочный, недоступный мнѣ живой организмъ, въ которомъ я такъ мало понимаю. Какія силы управляютъ имъ, ка-

ковы тѣ тончайшіе процессы, которые непрерывно совершаются въ немъ? Въ чемъ суть дѣйствія вводимыхъ въ него лекарствъ, въ чемъ тайна зарожденія и развитія болѣзни? Коховская палочка вызываетъ въ организмѣ чахотку, леффлорова, которая на видъ такъ мало разнится отъ коховской, вызываетъ дифтеритъ,—почему? Я впрыскиваю больному подъ кожу растворъ апоморфина,—онъ циркулируетъ по всему тѣлу индифферентно, а соприкасаясь съ рвотнымъ центромъ возбуждаетъ его; у меня даже намекъ нѣтъ на пониманіе того, какія химическія особенности опредѣленныхъ нервныхъ клѣтокъ и апоморфина обуславливаютъ это взаимоотношеніе.

Ко мнѣ обращается за помощью дѣвушка, страдающая мигренями. Въ чемъ суть этой мигрени? Во время припадка лобъ у больной становится холоднымъ, а зрачокъ расширяется; дѣвушка малокровна; все это указываетъ на то, что причиною мигрени въ данномъ случаѣ является раздраженіе симпатическаго нерва, вызванное общимъ малокровіемъ. Хорошее объясненіе! Но какимъ образомъ и почему малокровіе вызвало въ этомъ случаѣ раздраженіе симпатическаго нерва? Гдѣ и каковы тѣ цѣлительныя силы организма, которыя борются съ происшедшимъ разстройствомъ и которыя я долженъ поддержать? Какъ дѣйствуетъ на спазмъ симпатическаго нерва тотъ фенацетинъ съ коффеиномъ, на малокровіе—то желѣзо, которые я прописываю? И вотъ больная стоитъ передо мною, и я берусь ей помочь, и, можетъ быть, даже помогу,—и въ то же время *ничего* не понимаю, что

съ нею, почему и какъ поможетъ ей то, что я назначаю.

Я не имѣю даже отдаленнаго представленія о типическихъ процессахъ, общихъ всѣмъ человѣческимъ организмамъ; а между тѣмъ каждый больной предстаётъ передо мною во всемъ богатствѣ и разнообразіи своихъ индивидуальныхъ особенностей и отклоненій отъ средней нормы. Что могу я знать объ нихъ? Двое на видъ совершенно одинаково здоровыхъ людей промочили себѣ ноги; одинъ получилъ насморкъ, другой — острый суставный ревматизмъ; почему?.. Высшая доза морфія—три центиграмма; взрослой, совсѣмъ не слабой больной впрыснули подъ кожу пять миллиграммовъ морфія,—и она умерла; для объясненія такихъ фактовъ въ медицинѣ существуетъ спеціальное слово—„идіосинкразія“, но это слово не даетъ мнѣ никакихъ указаній на то, когда я долженъ ждать чего-либо подобнаго... Высшій суточный пріемъ хлораль-гидрата—пять граммовъ; недавно д-ръ Дэвисъ сообщилъ объ одномъ больномъ, который, страдая зубною болью, въ теченіе трехъ сутокъ безъ всякаго вреда для себя принялъ шестьдесятъ граммовъ хлорала, т.-е. по двадцать граммовъ въ сутки; у меня нѣтъ никакихъ основаній отрицать возможность этого. Если бы авторъ вмѣсто 60 поставилъ 160, я тоже съ увѣренностью не могъ бы отрицать,—такъ мало мы знаемъ человѣка въ его особенностяхъ.

И какія средства даетъ мнѣ наука проникнуть въ живой организмъ, узнать его болѣзнь? Кое-что она мнѣ, конечно, даетъ. Передо мною, напр.,

больной: онъ лихорадитъ, жалуется на ломоту въ суставахъ, селезенка и печень его увеличены. Я беру у него кашлю крови и смотрю подъ микроскопомъ: среди кровяныхъ тѣлецъ быстро извиваются тонкія спиральныя существа; это спироиллы возвратнаго тифа, и я съ полною увѣренностью говорю: у больного—возвратный тифъ. Если бы наука давала мнѣ столь же вѣрныя средства для познанія всѣхъ болѣзней и всѣхъ особенностей каждаго организма, то я могъ бы чувствовать подъ ногами почву. Но въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ этого нѣтъ. На основаніи совершенно ничтожныхъ данныхъ я долженъ строить выводы, такіе важные для жизни и здоровья моего больного...

Я былъ однажды приглашенъ къ одной старой дѣвушкѣ лѣтъ поды пятьдесятъ, владѣтельница небольшого дома на Петербургской сторонѣ; она жила въ трехъ маленькихъ, низкихъ комнатахъ, уставленныхъ кіютами съ лампадками, вмѣстѣ съ своей подругой дѣтства, такою же желтою и худую, какъ она. Больная, на видъ очень нервная и истеричная, жаловалась на сердцебіеніе и боли въ груди; днемъ, часовъ около пяти, у нея являлось сильное стѣсненіе дыханія и какъ будто затрудненное глотаніе.

— Нѣтъ у васъ такого ощущенія, какъ будто при глотаніи въ горлѣ у васъ появляется шаръ?—спросилъ я, имѣя въ виду извѣстный признакъ истеріи—globus hystericus.

— Да, да, именно!—обрадовалась больная.

Сердце и легкія ея при самомъ тщательномъ

изслѣдованіи оказались здоровыми; ясное дѣло, у больной была истерія. Я назначилъ соотвѣтственное леченіе.

— А что, докторъ, не могу я вдругъ сразу помереть?—спросила больная.

Она сообщила мнѣ, что хотѣла бы завѣщать свой домъ подругѣ, безъ завѣщанія же все перейдетъ къ ея единственному законному наслѣднику брату, выжигѣ и плуту, который взялъ у нея по родственному, безъ росписки, всѣ ея деньги, около шести тысячъ, и потомъ отказался возвратить.

— Странное дѣло, что же вамъ мѣшаетъ составить завѣщаніе?—сказалъ я.—Непосредственной опасности нѣтъ, но мало ли что можетъ случиться! Пойдете по улицѣ,—васъ конка задавитъ. Всегда лучше сдѣлать завѣщаніе заблаговременно.

— Вѣрно, вѣрно!—въ раздумѣ произнесла больная.—Вотъ только поправлюсь, сейчасъ же схожу къ нотаріусу.

Это было въ три часа. А въ пять, черезъ два часа, ко мнѣ прибѣжала подруга больной и, рыдая, объявила, что больная умерла: встала отъ обѣда, вдругъ пошатнулась, поблѣднѣла, изъ рта ея хлынула кровь, и она упала мертвая.

— Зачѣмъ, зачѣмъ вы, докторъ, не сказали!?!—твердила женщина, плача и захлебываясь, безумно стуча себѣ кулакомъ по бедру.—Вѣдь мнѣ теперь по міру идти, злодѣй меня на улицу выгнать!

И теперь я понималъ: очевидно, у больной была аневризма; затрудненное глотаніе подъ вечеръ (послѣ обѣда!), которое я объяснилъ себѣ, какъ

globus hystericus, вызывалось набуханіемъ аневризмы подѣ вліяніемъ увеличеннаго кровяного давленія послѣ ѣды... Но что кому пользы отъ этого поздняго діагноза?

Въ такихъ случаяхъ меня охватывали ярость и отчаяніе: да что же это за наука моя, которая оставляетъ меня такимъ слѣпымъ и безпомощнымъ?! Вѣдь я, какъ преступникъ, не могу взглянуть теперь въ глаза этой пущеной мною поміру жепциниѣ, а чѣмъ же я виновать?

И чѣмъ дальше, тѣмъ чаще приходилось мнѣ испытывать такое чувство. Даже тамъ, гдѣ, какъ въ описанномъ случаѣ, діагнозъ казался мнѣ яснымъ, дѣйствительность то и дѣло опровергала меня; часто же я стоялъ передъ больнымъ въ полномъ педоумѣніи: какія-то жалкія, ничего не говорящія данныя,—строй на нихъ что-нибудь! И я почи напролетъ расхаживалъ по комнатѣ, обдумывая и сопоставляя эти данныя, и ни къ чему опредѣленному не могъ придти; если же я, наконецъ, и ставилъ діагнозъ, то меня все-таки все время грызла неотгонимая мысль: „а если моя догадка невѣрна? Какая у меня возможность провѣрить ея правильность?“ И всю жизнь жить и дѣйствовать подѣ непрерывнымъ гнетомъ такой неувѣренности!..

Но скажемъ, діагнозъ болѣзни я поставилъ правильно. Мнѣ нужно ее лечить. Какія гарантіи даетъ мнѣ наука въ цѣлесообразности и дѣйствительности рекомендуемыхъ ею средствъ? Суть дѣйствія большинства изъ этихъ средствъ для насъ еще крайне неясна, и показанія къ ихъ употреб-

ленію наука устанавливаетъ эмпирически, путемъ клиническаго наблюденія. Но мы уже знаемъ, какъ непрочно и обманчиво клиническое наблюденіе. Данное средство, по единогласнымъ свидѣтельствамъ всѣхъ наблюдателей, дѣйствуетъ превосходно, а черезъ годъ-другой оно уже выбрасывается за бортъ, какъ бесполезное или даже вредное. Два года царилъ туберкулинъ Коха,—и вѣдь видѣли, видѣли собственными глазами, какое „блестящее“ дѣйствіе онъ оказывалъ на туберкулезъ! Въ томъ безконечно сложномъ и непонятномъ процессѣ, который представляетъ собою жизнь больного организма, переплетаются тысячи вліяній,—безчисленные способы вредоноснаго дѣйствія данной болѣзни и окружающей среды, безчисленные способы цѣлебнаго противодѣйствія силъ организма и той же окружающей среды,—и вотъ тысяча первымъ вліяніемъ является наше средство. Какъ опредѣлить, что именно въ этомъ сложномъ дѣлѣ вызвано имъ? Древнегреческій врачъ Хризиппъ запрещалъ лихорадящимъ больнымъ ѣсть, Діоксиппъ—пить, Сильвій заставлялъ ихъ потѣть, Бруссэ пускалъ имъ кровь до обморока, Керри сажалъ ихъ въ холодныя ванны,—и каждый видѣлъ пользу именно отъ своего способа. Средневѣковые врачи съ большимъ, по ихъ мнѣнію, уснѣхомъ примѣняли противъ рака... мазь изъ чловѣческихъ испражнений. Въ прошломъ вѣкѣ, чтобы „помочь“ прорѣзыванію зубовъ, дѣтямъ дѣлали по десяти и двадцати разъ разрѣзы десенъ, дѣлали это даже десятидневнымъ дѣтямъ; еще въ 1842 году Ундервудъ совѣтовалъ при этомъ раз-

рѣзать десны на протяженіи цѣлыхъ челюстей, и притомъ рѣзать поглубже, до самыхъ зубовъ, „поврежденія которыхъ нечего опасаться“... И все это, по мнѣнію наблюдателей, помогало!..

Я вступилъ въ практику съ опредѣленнымъ запасомъ терапевтическихъ знаній, данныхъ мнѣ школою. Какъ было относиться къ этимъ знаніямъ? Естественное дѣло,—спокойно и увѣренно примѣнять ихъ къ жизни. Но только я попробовалъ такъ дѣйствовать, какъ тотчасъ же натолкнулся на разочарованіе. Отваръ сенеги рекомендуютъ назначать для возбужденія кашля въ тѣхъ случаяхъ, когда легкія наполнены жидкою, легко отдѣляющеюся мокротою. Я назначалъ сенегу и приглядывался,—и ни въ одномъ случаѣ не могъ съ увѣренностью сказать, что моя сенега дѣйствительно удалила изъ легкихъ больного хоть одну лишнюю каплю мокроты... Я назначалъ желѣзо при малокровіи, и даже въ тѣхъ случаяхъ, когда больной поправлялся, ни разу не могъ поручиться за то, что это произошло хоть сколько-нибудь благодаря желѣзу.

Выходило такъ, что я долженъ вѣрить на слово въ то, что эти и многія другія средства дѣйствуютъ именно указываемымъ образомъ. Но такая вѣра была прямо невозможна,—сама же наука непрерывно подрывала и колебала эту вѣру. Однимъ изъ наичаще рекомендуемыхъ средствъ противъ чахотки является креозотъ и его производныя; а между тѣмъ все громче раздаются голоса, заявляющіе, что креозотъ нисколько не помогаетъ противъ чахотки и что онъ—только, такъ сказать, лекар-

ственный ярлык, наклеиваемый на чахоточнаго. Основное правило діететики брюшнаго тифа требует кормить больного только жидкою пищею; и опять противъ этого идетъ все усиливающееся теченіе, утверждающее, что такимъ образомъ мы только замариваемъ больного голодомъ. Мышьякъ признается незамѣнимымъ средствомъ при многихъ кожныхъ болѣзняхъ, малокровіи, маляріи, — и вдругъ распространенная, солидная медицинская газета приводитъ о немъ такой отзывъ: „Самое замѣчательное въ исторіи мышьяка—это то, что онъ неизмѣнно пользовался любовью врачей, убійць и барышниковъ... Врачамъ слѣдовало бы понять, что мышьякъ даетъ слишкомъ мало, чтобы пользоваться вѣчнымъ почтеніемъ. Преданіе о мышьякѣ—позоръ нашей терапіи“.

Первое время такіе неожиданные отзывы прямо ошеломляли меня: да чему же, наконецъ, вѣрить! И я все больше убѣждался, что вѣрить я не долженъ ничему, и ничего не долженъ принимать, какъ ученикъ; все заподозрѣть, все отвергнуть,— и затѣмъ принять обратно лишь то, въ дѣйствительности чего убѣдился собственнымъ опытомъ. Но въ такомъ случаѣ для чего же весь многовѣковой опытъ врачебной науки, какая ему цѣна?

Одинъ молодой врачъ спросилъ знаменитаго Сиденгама, „англійскаго Гиппократа“, какія книги нужно прочесть, чтобы стать хорошимъ врачомъ.

— Читайте, мой другъ, „Донъ-Кихота“,—отвѣтилъ Сиденгамъ.—Это очень хорошая книга, я и теперь часто перечитываю ее.

Но вѣдь это же ужасно! Это значитъ,—никакой

традиціи, никакой преемственности наблюденія; учись безъ предвзятости наблюдать живую жизнь, и каждый начинай все сначала.

Съ тѣхъ поръ прошло больше двухъ вѣковъ, медицина сдѣлала впередъ гигантскій шагъ, во многомъ она стала наукой; и все-таки какая еще громадная область остается въ ней, гдѣ и въ настоящее время самыми лучшими учителями являются Сервантесъ, Шекспиръ и Толстой, никакого отношенія къ медицинѣ не имѣющіе!

Но разъ я поставленъ въ необходимость не вѣрить чужому опыту, то какъ могу я вѣрить и своему собственному? Скажемъ, я личнымъ опытомъ убѣдился въ цѣлебности извѣстнаго средства; но *какъ же, какъ оно дѣйствуетъ, почему?* Пока мнѣ неясенъ способъ его дѣйствія, я ничѣмъ не гарантированъ отъ того, что и мое личное впечатлѣніе — лишь оптический обманъ. Вся моя предыдущая естественно-научная подготовка протестуетъ противъ такого грубо-эмпирическаго образа дѣйствій, противъ такого блужданія оцущью, съ закрытыми глазами. И я особенно сильно чувствую всю тяжесть этого состоянія, когда съ зыбкой и въ то же время вязкой почвы эмпириі перехожу на твердый путь науки: я вскрываю полость живота, гдѣ очень легко можетъ произойти гнилостное зараженіе брюшины; но я знаю, что дѣлать для избѣжанія этого; если я приступлю къ операціи съ прокипяченными инструментами, съ тщательно дезинфицированными руками, то зараженія *не должно* быть. Если больной страдаетъ близорукостью, то соотвѣтственное вогнутое стекло

должно помочь ему. Вывихъ локтя, если нѣтъ осложненій, при соотвѣтственныхъ манипуляціяхъ *долженъ* вправиться. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ необходима преемственность, здѣсь, кромѣ „Донъ-Кихота“, нужно знать и читать еще кое-что. Конечно, и ошибки, и прогрессъ возможны и въ этой области; но ошибки будутъ обуславливаться моею неподготовленностью и неопытностью, прогрессъ будетъ совершаться путемъ улучшенія прежняго, а не путемъ его отрицанія.

Будущее нашей науки блестяще и несомнѣнно. То, что уже добыто ею, ясно рисуетъ, чѣмъ станетъ она въ будущемъ: полное пониманіе здороваго и больного организма, всѣхъ индивидуальных особенностей каждаго изъ нихъ, полное пониманіе дѣйствія всѣхъ примѣняемыхъ средствъ, — вотъ что ляжетъ въ ея основу. „Когда физиологія, — говоритъ Клодь Бернаръ, — дастъ все, чего мы въ правѣ отъ нея ждать, то она превратится въ медицину, ставшую теоретическою наукою; и изъ этой теоріи будутъ выводиться, какъ и въ другихъ наукахъ, необходимыя примѣненія, т.-е. прикладная, практическая медицина“.

Но какъ еще неизмѣримо далеко до этого!.. И мнѣ все чаще стала приходиться въ голову мысль: пока этого нѣтъ, какой смыслъ можетъ имѣть врачебная дѣятельность? Для чего эта игра въ жмурки, для чего обманъ общества, думающаго, что у насъ есть какая-то „медицинская наука?“ Пусть этимъ занимаются гомеопаты и подобные имъ мудрецы, которые съ легкимъ сердцемъ все безконечное разнообразіе жизненныхъ процессовъ втиски-

вають въ пару догматическихъ формуль. Для насъ же задача можетъ быть только одна—работать для будущаго, стремиться познать и покорить себѣ жизнь во всей ея широтѣ и сложности. А относительно настоящаго можно лишь повторить то, что сказалъ когда-то средневѣковой арабскій писатель Аверроесъ: „Честному человѣку можетъ доставлять наслажденіе теорія врачебнаго искусства, но его совѣсть никогда не позволитъ ему переходить къ врачебной практикѣ, какъ бы обширны ни были его познанія“.

За эту мысль я хватался каждый разъ, когда ужъ слишкомъ жутко становилось отъ той непроглядной тьмы, дѣйствовать въ которой я былъ обреченъ несовершенствомъ своей науки. Я самъ понималъ, что мысль эта нелѣпа: теперешняя безсистемная, сомнѣвающаяся научная медицина, конечно, несовершенна, но она все-таки неизмѣримо полезнѣе всѣхъ выдуманныхъ изъ головы системъ и грубыхъ эмпирическихъ обобщеній; именно совѣсть врача и не позволила бы ему гнать больныхъ въ руки гомеопатовъ, пасторовъ Кнейшповъ и Кузьмичей. Но эту мыслью о жизненной непригодности теперешней науки я старался скрыть и затемнить отъ себя другую, слишкомъ страшную для меня мысль: я начиналъ все больше убѣждаться, что самъ я лично совершенно негоденъ къ выбранному мною дѣлу и что, рѣшая отдаться медицинѣ, я не имѣлъ самага отдаленнаго представленія о тѣхъ требованіяхъ, которымъ долженъ удовлетворять врачъ.

При теперешнемъ несовершенствѣ теоретиче-

ской медицины, медицина практическая можетъ быть только искусствомъ, а не наукой. Нужно на себѣ почувствовать всю тяжесть вытекающихъ отсюда послѣдствій, чтобъ ясно понять, что это значить. Ту больную съ аневризмой, о которой я рассказывалъ, я изслѣдовалъ вполнѣ добросовѣстно, примѣнилъ къ этому изслѣдованію все, что требуется наукой, и тѣмъ не менѣе грубо ошибся. Будь на моемъ мѣстѣ *настоящій* врачъ. онъ могъ бы поставить правильный діагнозъ: его совершенно особенная, творческая наблюдательность уцѣпилась бы за массу неуловимыхъ признаковъ, которые ускользнули отъ меня, бессознательнымъ вдохновеніемъ онъ возмѣстилъ бы отсутствіе ясныхъ симптомовъ и почувалъ бы то, чего не въ силахъ познать. Но такимъ настоящимъ врачомъ можетъ быть только талантъ, какъ только талантъ можетъ быть настоящимъ поэтомъ, художникомъ или музыкантомъ.

А я, поступая на медицинскій факультетъ, думалъ, что медицинѣ можно научиться... Я думалъ, что для этого нуженъ только извѣстный уровень знаній и извѣстная степень умственного развитія; съ этимъ я научусь медицинѣ такъ же, какъ всякой другой прикладной наукѣ, напр., химическому анализу. Когда медицина станетъ наукой,—единой, всеобщей и безгрѣшной, то оно такъ и будетъ; тогда обыкновенный средній человѣкъ сможетъ быть врачомъ. Въ настоящее же время „научиться“ медицинѣ, т.-е. врачебному искусству, такъ же невозможно, какъ научиться поэзій или искусству сценическому. И есть много превосходныхъ теоре-

тиковъ, истинно „научныхъ“ медиковъ, которые въ практическомъ отношеніи не стоятъ ни гроша.

Но почему я ничего этого не зналъ, поступая на медицинскій факультетъ? Почему вообще я имѣлъ такое смутное и превратное представленіе о томъ, что ждетъ меня въ будущемъ?.. Какъ все это просто произошло! Мы представили свои аттестаты зрѣлости, были приняты на медицинскій факультетъ, и профессора начали читать лекціи. И никто изъ нихъ не раскрылъ намъ глазъ на будущее, никто не объяснилъ, что ждетъ насъ въ нашей дѣятельности. А намъ самимъ эта дѣятельность казалась такой несложной и ясной! Изслѣдовалъ больного, — и говоришь: больной боленъ тѣмъ-то, онъ долженъ дѣлать то-то и принимать то-то. Теперь я видѣлъ, что это не такъ, но на то, чтобы убѣдиться въ этомъ, я долженъ былъ убить семь лучшихъ лѣтъ молодости.

Я совершенно упалъ духомъ. Кое-какъ я несъ свои обязанности, горько смѣясь въ душѣ надъ больными, которые имѣли наивность обращаться ко мнѣ за помощью: они, какъ и я раньше, думаютъ, что тотъ, кто прошелъ медицинскій факультетъ, есть уже врачъ, они не знаютъ, что врачей на свѣтѣ такъ же мало, какъ и поэтовъ, что врачъ-ординарный человѣкъ при теперешнемъ состояніи науки—безмыслица. И для чего мнѣ продолжать служить этой безмыслицѣ? Уйти, взяться за какое ни на есть другое дѣло, но только не оставаться въ этомъ ложномъ и преступномъ положеніи самозванца!

Такъ тянулось около двухъ лѣтъ. Потомъ постепенно пришло смиреніе.

Да, наука даетъ мнѣ не такъ много, какъ я ждалъ, и я не талантъ. Но правъ ли я, отказываясь отъ своего диплома? Если въ искусствѣ въ данный моментъ нѣтъ Толстого или Бетховена, то можно обойтись и безъ нихъ; но больные люди не могутъ ждать, и для того, чтобъ всѣхъ ихъ удовлетворить, нужны десятки тысячъ медицинскихъ Толстыхъ и Бетховеновъ. Это невозможно. А въ такомъ случаѣ такъ ли ужь бесполезны мы, ординарные врачи? Все-таки, беря безотносительно, наукою отвоевана отъ искусства ужь очень большая область, которая съ каждымъ годомъ все увеличивается. Эта область въ нашихъ рукахъ. Но и въ остальной медицинѣ мы можемъ быть полезны и дѣлать очень много. Нужно только строго и неуклонно слѣдовать старому правилу: „*primum non nocere*,—прежде всего не вредить“. Это должно главенствовать надъ всѣмъ. Нужно, далѣе, разъ навсегда отказаться отъ представленія, что дѣятельность наша состоитъ въ спокойномъ и беззаботномъ исполненіи указаній науки. Понять всю тяжесть и сложность дѣла, къ каждому новому больному относиться съ неослабѣвающимъ сознаниемъ новизны и непознанности его болѣзни, непрерывно и напряженно искать и работать надъ собою, ничему не довѣрять, никогда не успокоиваться. Все это страшно тяжело, и подъ бременемъ этимъ можно изнемочь; но пока я буду честно нести его, я имѣю право не уходить.

X.

Въ эту пору сомнѣній и разочарованій я съ особенною охотою сталъ уходить въ научныя занятія. Здѣсь, въ чистой наукѣ, можно было работать не ощупью, можно было точно контролировать и провѣрять каждый свой шагъ; здѣсь полно-властно царили тѣ строгіе естественно-научные методы, надъ которыми такъ зло насмѣхалась врачебная практика. И мнѣ казалось,—лучше положить хоть одинъ самый маленькій кирпичъ въ зданіе великой медицинской науки будущаго, чѣмъ толочь воду въ ступѣ, дѣлая то, чего не понимаешь.

Между прочимъ, я работалъ надъ вопросомъ о роли селезенки въ борьбѣ организма съ различными инфекціонными заболѣваніями. Для прививокъ возвратнаго тифа въ нашу лабораторію были приобрѣтены двѣ обезьянки макаки. За три недѣли, которыя онѣ пробыли у насъ до начала опытовъ, я успѣлъ сильно привязаться къ нимъ. Это были удивительно милые звѣрки, особенно одинъ изъ нихъ, самецъ, котораго звали Степкой. Войдешь въ лабораторію,—они бросаются къ передней стѣнкѣ своей большой клѣтки, ожидая сахара. Одѣлишь ихъ сахаромъ и выпускаешь на волю. Самка, Джильда, болѣе робка; она сбѣжитъ по полу, неуклюже поджимая задъ и трусливо поглядывая на меня; я чуть пошевелинусь,—она поворачивается и, сломя голову, мчится обратно въ клѣтку. Степка же держится со мною совершенно по-пріятельски. Я сяду на стулъ,—онъ немедленно

взбирается ко мнѣ на колѣни и начинаетъ шарить по карманамъ; брови его подняты, близко поставленные большіе глаза смотрятъ съ комичною серьезностью. Онъ вытаскиваетъ изъ моего бокового кармана перкуссiонный молоточекъ.

— У-у!!—изумленно произноситъ онъ, широко раскрывъ глаза, и начинаетъ съ любопытствомъ разсматривать блестящій молоточекъ.

Насмотрѣвшись, Степка бросаетъ молоточекъ на полъ и съ тою же меланхолическою серьезностью, словно исполняя нужное, но очень надоѣвшее дѣло, продолжаетъ меня обыскивать; онъ осторожно беретъ меня своими тонкими коричневыми пальчиками за бороду, снимаетъ пенснэ... Но вскорѣ ему это надоѣдаетъ. Степка взбирается мнѣ на плечо, вздохнувъ, оглядывается—и вдругъ стрѣлою перескакиваетъ на столъ: онъ примѣтилъ на немъ закупоренную пробкою стклянку, а его любимое дѣло—раскупоривать стклянки. Степка быстро и ловко вытаскиваетъ пробку, захлпываетъ ее за щеку и спѣшитъ удрать по шнурку шторы подъ потолокъ: онъ знаетъ, что я стану отнимать пробку. Я хватаю его на полпути.

— Цци-ци-ци-ци! — недовольно визжитъ онъ, вытягивая голову въ плечи, жмура глаза и стараясь вырваться отъ меня.

Я отнимаю пробку. Степка огорченно оглядывается. Но вотъ глаза его оживились: онъ вскакиваетъ на подоконникъ и издаетъ свое изумленное: „у-у!“ На улицѣ стоитъ извозчикъ; Степка, вытянувъ голову, съ жаднымъ любопытствомъ таращитъ глаза на лошадь. Я поглажу его, — онъ

нетерпѣливо отведеть ручонкой мою руку, поправится на подоконникѣ и продолжаетъ глазѣть на лошадь. Пробѣжить по улицѣ собака. Степка весь встрепенется, волосы на шеѣ и спинѣ взъерошатся, глаза безпокойно забѣгають.

— У-у! у-у!.. — повторяеть онъ, страшно волнуясь и суетливо засматривая то въ одно, то въ другое стекло окна.

Собака бѣжитъ дальше. Степка, съ серьезными, испуганными глазами, мчится по столу, опрокидывая стклянки, къ другому окну и, вытянувъ голову, слѣдитъ за убѣгающею собакою.

Съ этимъ веселымъ шельмецомъ можно было проводить, не скучая, цѣлые часы. Сидя съ нимъ, я чувствовалъ, что между нами установилась какая-то связь, и что мы уже многое понимаемъ другъ въ другѣ.

Мнѣ было неприятно самому вырѣзать у него селезенку, и за меня сдѣлалъ это товарищъ. По заживленіи раны, я привилъ Степкѣ возвратный тифъ. Теперь, когда я входилъ въ лабораторію, Степка ужъ не бросался къ рѣшеткѣ; слабый и взъерошенный, онъ сидѣлъ въ клѣткѣ, глядя на меня потемнѣвшими, чуждыми глазами; съ каждымъ днемъ ему становилось хуже; когда онъ пытался вскарабкаться на перекладину, руки его не выдерживали, Степка срывался и падалъ на дно клѣтки. Наконецъ онъ ужъ совсѣмъ не могъ подниматься; исхудалый, онъ неподвижно лежалъ, оскаливъ зубы, и хрипло стоналъ. На моихъ глазахъ Степка и околѣлъ.

Безвѣстный мученикъ науки, онъ лежалъ пе-

редо мною трупомъ Я смотрѣлъ на этотъ жалкій трупикъ, на эту милую, наивную рожицу, съ которой даже смертная агонія не смогла стереть обычнаго комично-серьезнаго выраженія... На душѣ у меня было неприятно и немножко стыдно. Мнѣ вспоминалось изумленное „у-у!!“, съ какимъ Степка разсматривалъ мой молоточекъ, вспоминались его оживленные глаза, которые онъ тарачилъ на лошадь, совсѣмъ какъ ребенокъ,—и у меня шевелилась мысль: настолько ли ужъ неизмѣримо меньше совершенное мною преступленіе, чѣмъ если бы я все это продѣлалъ надъ ребенкомъ?.. Такая сантиментальность по отношенію къ низшимъ животнымъ смѣшна? Но такъ ли ужъ прочны и неизмѣнны критеріи сантиментальности? Двѣ тысячи лѣтъ назадъ, какъ разсмѣялся бы римскій патрицій надъ сантиментальнымъ человѣкомъ, который бы возмущился его приказаніемъ бросить на съѣденіе муренамъ раба, разбившаго вазу! Для него рабъ былъ тоже „низшимъ животнымъ“.

Декартъ смотрѣлъ на животныхъ, какъ на простые автоматы, — оживленные, но не одушевленные тѣла; по его мнѣнію, у нихъ существуетъ исключительно тѣлесное, совершенно безсознательное проявленіе того, что мы называемъ душевными движеніями. Такого же мнѣнія былъ и Мальбраншъ. „Животныя,—говоритъ онъ,—ѣдятъ безъ удовольствія, кричатъ, не испытывая страданія, они ничего не желаютъ, ничего не знаютъ“.

Можно ли въ настоящее время согласиться съ этимъ? Не говоря ужъ о простомъ ежедневномъ наблюденіи, которое вопіетъ противъ такой без-

глазѡй теоретичности,—какъ можемъ согласиться съ этимъ мы, естественники-трансформисты? Тутъ возможно только одно рѣшеніе вопроса, — то, которое даетъ, напр., Гексли. „Великое ученіе о непрерывности,—говоритъ онъ,—не позволяетъ намъ предположить, чтобы что-нибудь могло явиться въ природѣ неожиданно и безъ предшественниковъ, безъ постепеннаго перехода; неоспоримо, что низшія позвоночныя животныя обладаютъ, хотя и въ менѣ развитомъ видѣ, тою частью мозга, которую мы имѣемъ всѣ основанія считать у себя самихъ органомъ сознанія. Поэтому мнѣ кажется очень вѣроятнымъ, что низшія животныя обладаютъ сознаніемъ въ мѣрѣ, пропорціональной степени развитія органа этого сознанія, и что они переживаютъ, въ болѣе или менѣ определенной формѣ, тѣ же чувства, которыя переживаемъ и мы“.

Разъ же это такъ, разъ вѣрно то, что между нами и ими нѣтъ такой рѣзкой границы, какъ когда-то воображали, то такъ ли ужъ смѣшна эта сантиментальность, такъ ли ложны тѣ покальванія совѣсти, которыя испытываешь, нанося имъ мученія? А испытываемое при этомъ чувство есть нѣчто, очень похожее именно на покальванія совѣсти. Одинъ мой товарищъ-хирургъ работаетъ надъ вопросомъ объ огнестрѣльныхъ ранахъ живота,—полезнѣе ли держаться при нихъ выжидательнаго образа дѣйствій или немедленно приступать къ операциі. Онъ привязываетъ собаку къ доскѣ и на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ стрѣляетъ имъ въ животъ изъ револьвера:

затѣмъ однѣмъ собакамъ онъ немедленно производитъ чревосѣченіе, другихъ оставляетъ безъ операціи. Войдешь къ нему въ лабораторію, — въ комнатѣ стоятъ стоны, вой, визгъ; однѣ собаки мечутся, околѣвая, другія лежатъ неподвижно и только слабо визжать. При взглядѣ на нихъ мнѣ не просто тяжело, какъ было тяжело, напримѣръ, смотрѣть первое время на страданія оперируемаго человѣка: мнѣ именно *стыдно, неловко* смотрѣть въ эти облагороженные страданіемъ, почти человѣческіе глаза умирающихъ собакъ. И въ такія минуты мнѣ становится понятнымъ настроеніе старика Пирогова.

„Въ молодости, — рассказываетъ онъ въ своихъ посмертныхъ запискахъ, — я былъ безжалостенъ къ страданіямъ. Однажды, я помню, это равнодушіе мое къ мукамъ животныхъ при вивисекціяхъ поразило меня самого такъ, что я, съ ножомъ въ рукахъ, обратившись къ ассистировавшему мнѣ товарищу, невольно воскликнулъ:

— „Вѣдь такъ, пожалуй, можно зарѣзать и человѣка!

„Да, о вивисекціяхъ можно многое сказать и за, и противъ. Несомнѣнно, онъ важное подспорье въ наукѣ... Но наука не восполняетъ всецѣло жизни человѣка: проходитъ юношескій пылъ и мужская зрѣлость, наступаетъ другая пора жизни и съ нею потребность углубляться въ самого себя: тогда воспоминаніе о причиненномъ насиліи, мукахъ, страданіяхъ другому существу начинаетъ щемить невольно сердце. Такъ было, кажется, и съ великимъ Галлеромъ; такъ, признаюсь, случи-

лось и со мною, и въ послѣдніе годы я ни за что бы не рѣшился на тѣ жестокіе опыты надъ животными, которые я нѣкогда производилъ такъ усердно и равнодушно“.

Все это такъ. Но какъ быть иначе, гдѣ выходъ? Отказаться отъ живосѣченій—это значитъ поставить на карту все будущее медицины, навѣки обречь ее на невѣрный и бесплодный путь клиническаго наблюденія. Нужно ясно сознать все громадное значеніе вивисекцій для науки, чтобы понять, что выходъ тутъ все-таки одинъ—задушить въ себѣ укору совѣсти, подавить жалость и гнать отъ себя мысль о томъ, что за страдающими глазами пытаемыхъ животныхъ таится живое страданіе.

Въ западной Европѣ уже нѣсколько десятилѣтій ведется усиленная агитація противъ живосѣченій; въ послѣдніе годы эта агитація появилась и у насъ въ Россіи. Въ основу своей проповѣди противники живосѣченій кладутъ положеніе, какъ разъ противоположное тому, которое было мною сейчасъ указано,—именно, они утверждаютъ, что *живосѣченія совершенно ненужны наукѣ*.

Но кто же сами эти люди, берущіеся доказывать такое положеніе? Священники, свѣтскія дамы, чиновники,—лица, совершенно непричастныя къ наукѣ; и возражаютъ они Вирхову, Клоду Бернару, Пастеру, Роберту Коху и прочимъ гигантамъ, на своихъ плечахъ несущимъ науку впередъ. Но вѣдь это же невозможная бессмыслица! Методы и пути науки составляютъ въ каждой наукѣ самую ея трудную часть; какъ могутъ

браться судить объ нихъ профаны? Они и сами не могутъ не сознавать этого, и понятно, съ какою радостью должны они привѣтствовать тѣхъ изъ людей науки, которые высказываются въ ихъ духѣ. Въ настоящее время противники живоствченій носятя съ Лаусонъ-Тэтомъ, очень извѣстнымъ *практическимъ* хирургомъ, и съ совершенно ужъ ни въ какомъ отношеніи неизвѣстнымъ „медикомъ-хирургомъ“ Белль-Тайлоромъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ рѣчь этого Белль-Тайлора противъ живоствченій (въ весьма безграмотномъ переводѣ) была разослана нашими антививисекціонистами въ видѣ приложения къ „Новому Времени“. Когда читаешь эту рѣчь, оторопь беретъ отъ той груды лжи и подтасовокъ, которыми она полна, и невольно задаешь себѣ вопросъ: можетъ ли быть жизненнымъ ученіе, которому приходится прибѣгать къ такому беззастѣнчивому обману публики? Опираясь на свой авторитетъ спеціалиста, въ расчетѣ на круглое невѣжество слушателей, Белль-Тайлоръ не останавливается рѣшительно ни передъ чѣмъ.

„Ложно то,—объявляетъ онъ, напр.,—будто бы Гарвей дозналъ законъ кровообращенія посредствомъ вивисекціи. Совсѣмъ нѣтъ! Единственно посредствомъ наблюденія надъ мертвымъ человѣческимъ тѣломъ Гарвей открылъ тотъ фактъ, что клапаны жилъ дозволяютъ крови течъ только въ извѣстномъ направленіи“... (Нужно замѣтить, что знаменитый трактатъ Гарвея о кровообращеніи почти сплошь состоитъ изъ описаній опытовъ, произведенныхъ Гарвеемъ надъ живыми животными; вотъ заглавія нѣсколькихъ главъ трактата: Сар. II.--

„*Ex vivorum dissectione qualis sit cordis motus*“ (движеніе сердца по даннымъ, добытымъ путемъ живосъченій). Cap. III.—„*Arteriarum motus qualis ex vivorum dissectione*“. Cap. IV.—„*Motus cordis et auriculorum qualis ex vivorum dissectione*“ и т. д. ¹⁾).

„Неправда и то, — продолжаетъ Белль-Тайлоръ, — что будто бы черезъ вивисекцію Кохъ нашелъ средство отъ чахотки; напротивъ, его прививанія причиняли сперва лихорадку, а потомъ смерть“. (Рѣчь свою ораторъ произнесъ въ концѣ 1893 года, когда почти никто ужъ и не защищалъ коховскаго туберкулина; но о томъ, что путемъ живосъченій тотъ же Кохъ открылъ туберкулезную палочку, что путемъ живосъченій создавалась вся бактериологія, — Белль-Тайлоръ благоразумно умалчиваетъ).

И такъ дальше безъ конца; что ни утверженіе, то — либо прямая ложь, либо извращеніе дѣйствительности. Въ подстрочномъ примѣчаніи читатель найдетъ еще нѣсколько образчиковъ антививисекціонистской литературы; образчики эти взяты мною изъ новѣйшихъ англійскихъ летучихъ листковъ, тысячами распространяемыхъ въ народѣ антививисекціонистами ²⁾).

1) См. *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Auctore Gulielmo Harweo. Lugduni Batavorum. 1737.*

2) „Каковы практическіе результаты вивисекціи? — спрашиваетъ, напр., д-ръ Стефенъ Смиль. — Они очень велики! Такъ, одинъ американскій врачъ сбрилъ у нѣсколькихъ животныхъ шерсть и выставилъ ихъ на морозъ. Животныя простудились. Изъ этого мы заключаемъ, что зимою слѣдуетъ носить теплую одежду. лягушки были посажены въ

Живосъченія для медицинской науки *необходимы*,—противъ этого могутъ спорить только очень невѣжественные или очень недобросовѣстные люди. Изъ предыдущихъ главъ этихъ записокъ ужь можно было видѣть, какъ многообразна въ нашей наукѣ необходимость живосъченій. Предварительныя опыты на животныхъ представляютъ хоть пѣкоторую гарантію въ томъ, что новое средство не будетъ дано человѣку въ убійственной дозѣ, и что хирургъ не приступитъ къ операціи совершенно неопытнымъ. Не простою случайностью является далѣе то обстоятельство, что преступ-

кипящую воду; онѣ старались выпрыгнуть, ясно выказывая боль. Отсюда слѣдуетъ, что нужно избѣгать купаній въ кипящей водѣ. Но этимъ, сколько я могъ узнать, и исчерпываются практическіе результаты вивисекціи“. („Vivisection. An independent medical view“. 1899, p. 9). Агитаторы-не-врачи доказываютъ ненужность вивисекцій другимъ путемъ. „Вивисекція,—заявляетъ мистриссъ Мона Кэрдъ,—есть главный врагъ науки, которая всегда учила, что законы природы гармоничны и не терпятъ противорѣчій; но если эти законы не терпятъ противорѣчій, то какъ возможно, чтобъ то, что въ нравственномъ отношеніи несправедливо, было въ научномъ отношеніи справедливо, чтобъ то, что жестоко и несправедно, могло насъ вести къ миру и здоровью?“ („The sanctuary of mercy“. 1899, p. 6). И это говорится въ странѣ Дарвина!.. Иногда на мѣсто природы подставляется Богъ. „Я думаю,—говоритъ миссъ Коббъ,—что великій Устроитель всего сущаго есть справедливый, святой, милосердный Богъ; и совершенно немыслимо, чтобъ такой Богъ могъ создать свой міръ такимъ образомъ, чтобъ человѣкъ былъ принужденъ искать средствъ противъ своихъ болѣзней путемъ причиненія мукъ низшимъ животнымъ. Мысль, что таково Божіе опредѣленіе,—по-моему, богохульство“. („Vivisection explained“. 1898, p. 6).

ные опыты надъ людьми особенно многочисленны именно въ области венерическихъ болѣзней, къ которымъ животныя совершенно невоспримчивы. Но самое важное — это то, что безъ живосъченій мы рѣшительно не въ состоянїи познать и понять живой организмъ. Какую область физиологїи или патологїи ни взять, мы вездѣ увидимъ, что почти все существенное было открыто путемъ опытовъ надъ животными. Въ 1883 году прусское правительство, подъ влїяніемъ агитаціи антививисекціонистовъ, обратилось къ медицинскимъ факультетамъ съ запросомъ о степени необходимости живосъченій; одинъ выдающійся нѣмецкій физиологъ вмѣсто отвѣта прислалъ въ министерство „Руководство къ физиологїи“ Германа, причемъ въ руководствѣ этомъ онъ вычеркнулъ всѣ тѣ факты, которыхъ безъ живосъченій было бы невозможно установить; по сообщенію нѣмецкихъ газетъ, „книга Германа вслѣдствіе такихъ отмѣтокъ походила на русскую газету, прошедшую сквозь цензуру: зачеркнутыхъ мѣстъ было больше, чѣмъ незачеркнутыхъ“.

Безъ живосъченій познать и понять живой организмъ невозможно; а безъ полнаго и всесторонняго пониманія его и высшая цѣль медицины, леченіе — невѣрно и ненадежно. Въ 1895 году извѣстный физиологъ проф. И. П. Павловъ демонстрировалъ въ одномъ изъ петербургскихъ медицинскихъ обществъ собаку съ перерѣзанными блуждающими нервами; опытами надъ этой собакой ему удалось разрѣшить нѣкоторые очень важные вопросы въ области физиологїи пищеваренія.

Фельетонистъ „Новаго Времени“, Житель, рѣзко обрушился за эти опыты на проф. Павлова.

Кому и зачѣмъ это нужно—перерѣзать блуждающіе нервы?—спрашивала газета.—Бывали ли въ жизни такіе случаи, которые наводили людей науки на эту мысль? Это одинъ изъ печальнѣйшихъ результатовъ вивисекторскаго виртуозничества, самаго плохого и ненаучнаго свойства... Это, такъ сказать, наука для науки... Когда видишь эти утонченныя ухищренія напряженной, неестественной выдумки гг. вивисекторовъ и сопоставишь ихъ съ тѣмъ простымъ, общимъ фактомъ, что большинство людей умираетъ отъ простой простуды, и гг. врачи не умѣютъ ее вылечить, то торжества ученыхъ собраній по поводу опыта съ блуждающими нервами принимаютъ значеніе сарказма... Самыхъ вѣрныхъ болѣзней не умѣютъ лечить и понимать, и въ то же время увлеченіе вивисекторовъ принимаетъ угрожающіе размѣры и не можетъ не возмущать печальнымъ скудоуміемъ и безсердечіемъ ученыхъ живорѣзовъ.

Вотъ типическое разсужденіе улицы. Для чего изучать организмъ во всѣхъ его отправленияхъ, если не можешь вылечить „простой простуды“? Да именно для того, чтобъ быть въ состояніи вылечить хотя бы ту же самую „простую простуду“ (которая, говоря мимоходомъ, очень не проста). „Это—наука для науки...“ Наука тогда только и наука, когда она не регулируетъ и не связываетъ себя вопросомъ о непосредственной пользѣ. Электричество долгое время было только „курьезнымъ“ явленіемъ природы, не имѣющимъ никакого практическаго значенія; если бы Грэй, Гальвани, Фарадей и прочіе его изслѣдователи не руководствовались правиломъ „наука для науки“, то мы не имѣли бы теперь ни телеграфа, ни телефона, ни

рентгеновскихъ лучей, ни электромоторовъ. Химикъ Шеврель изъ чисто научной любознательности открылъ составъ жировъ, а слѣдствіемъ этого явилась фабрикація стеариновыхъ свѣчей.

Нужно, впрочемъ, замѣтить, что далеко не всѣ актививисекціонисты исходятъ при рѣшеніи вопроса изъ такихъ грубыхъ и невѣжественныхъ предпосылокъ, какъ мы сейчасъ видѣли. Нѣкоторые изъ нихъ пытаются поставить вопросъ на принципиальную почву: таковъ, на примѣръ, англійскій актививисекціонистъ Генри Солтъ, авторъ сочиненія: „Права животныхъ въ ихъ отношеніи къ соціальному прогрессу“. „Допустимъ, — говоритъ онъ, — что прогрессъ врачебной науки невозможенъ безъ живосѣченій. Что же изъ того? Заключать отсюда о законности живосѣченій—слишкомъ поспѣшно; мудрый человѣкъ долженъ принять въ расчетъ и другую, моральную сторону дѣла — гнусную несправедливость причиненія мукъ невиннымъ животнымъ“. Вотъ единственно правильная постановка вопроса для актививисекціониста: можетъ ли наука обойтись безъ живосѣченій или нѣтъ: но животныя мучаются, и этимъ все рѣшается. Вопросъ поставленъ ясно и недвусмысленно. Повторяю, смѣяться надъ противниками живосѣченій нельзя, мученія животныхъ при висекціяхъ дѣйствительно ужасны, и сочувствіе этимъ мукамъ—не сантиментальность; но нужно помнить, что мимо живосѣченій нѣтъ пути къ созданію научной медицины, которая будетъ излечивать людей.

На Западѣ противники живосѣченій уже доби-

лись нѣкоторыхъ довольно существенныхъ ограниченій свободы вивисекціи. Самымъ крупнымъ изъ такихъ ограниченій является англійскій парламентскій актъ 1876 года „о жестокости къ животнымъ“. По этому акту, производить опыты надъ живыми животными имѣютъ право лишь лица, получившія на то специальное разрѣшеніе (которое, къ тому же, во всякое время можетъ быть взято обратно). Въ Австріи министръ народнаго просвѣщенія издалъ въ 1885 году предписаніе, по которому „опыты на живыхъ животныхъ могутъ быть производимы только ради серьезныхъ изслѣдованій и лишь въ видѣ исключенія, въ случаяхъ крайней необходимости“. Въ Даніи для производства живосѣченій требуется разрѣшеніе министра юстиціи (!). Всѣ подобныя распоряженія производятъ очень странное впечатлѣніе. Кому, напр., будутъ выдаваться разрѣшенія? Очевидно, извѣстнымъ ученымъ. Но вотъ въ семидесятыхъ годахъ въ глухомъ нѣмецкомъ городкѣ Вольштейнѣ никому невѣдомый молодой врачъ Робертъ Кохъ путемъ опытовъ надъ животными подробнѣйшимъ образомъ изучаетъ біологію сибире-язвенной палочки и этимъ своимъ изслѣдованіемъ прокладываетъ широкіе пути въ только что народившейся чрезвычайно важной наукѣ—бактеріологіи. Наврядъ ли бы дано было разрѣшеніе на опыты этому неизвѣстному провинціальному врачу... Кто, далѣе, будетъ рѣшать, какіе опыты „необходимы“ для науки? Въ самомъ дѣлѣ, министры юстиціи? Но вѣдь это смѣшно. Ученые факультеты? Но кто же не знаетъ, что академическая ученость почти всегда является

носителницею рутины? Когда Гельмгольцъ открылъ свой законъ сохраненія энергіи, то академія наукъ, какъ самъ онъ рассказываетъ, признала его работу „безсмысленными и пустыми умствованіями“. Его изслѣдованія о скорости проведенія нервнаго тока также встрѣтили лишь улыбку со стороны лицъ, стоявшихъ тогда во главѣ фізіологіи.

Имѣетъ ли антививисекціонистская агитація и въ будущемъ шансы на успѣхъ? Я думаю, что успѣхи ея всецѣло основаны на невѣжествѣ публики и что, по мѣрѣ уменьшенія невѣжества, ея успѣхи будутъ все больше падать.

Билль „о жестокости къ животнымъ“ былъ принятъ англійскимъ парламентомъ въ августѣ 1876 года. Дата знаменательная: какъ разъ въ это время въ Болгаріи свирѣпствовали турки, поощряемые дружественнымъ невмѣшательствомъ Англии. Неужели пытаемая въ лабораторіяхъ лягушки были англійскимъ депутатамъ ближе и дороже, чѣмъ болгарскія дѣвушки и дѣти, насилуемая и избиваемая башибузуками? Конечно, нѣтъ. Дѣло гораздо проще: парламентъ понималъ, что вмѣшательство въ болгарскія дѣла *невыгодно* для Англии, невыгоды же ограниченія живосѣченій онъ не понималъ. А тамъ, гдѣ человѣкъ не видитъ угрозы своей выгодѣ, онъ легко способенъ быть и честнымъ, и гуманнымъ. Въ сентябрѣ 1899 года англичане тысячами подписывались подъ адресомъ осужденному въ Реннѣ Дрейфусу; въ то же время тѣ же англичане шиканіемъ и криками занимали на митингѣ ротъ Джону Морлею, протестовавшему

противъ разбойничьяго отношенія Англии къ Трансваалу. Русская жизнь представляетъ еще болѣе яркіе примѣры такой кажущейся непослѣдовательности.

Когда люди поймутъ, чѣмъ они жертвуютъ, отнимая у науки право живосѣченій, агитація антививисекціонистовъ будетъ обречена на полное безплодіе. На одномъ собраніи противниковъ живосѣченій манчестерскіей епископъ Мургаусъ заявилъ, что онъ предпочитаетъ сто разъ умереть, чѣмъ спасти свою жизнь цѣною тѣхъ адскихъ мукъ, которыя причиняются животнымъ при живосѣченіяхъ. Сознательно идти на такое самопожертвованіе способно лишь очень ничтожное меньшинство.

XI.

Наша врачебная наука въ теперешнемъ ея состояніи очень несовершенна; мы многого не знаемъ и не понимаемъ, во многомъ принуждены блуждать ощупью. А дѣлю приходится имѣть съ здоровьемъ и жизнью человѣка... Ужъ на послѣднихъ курсахъ университета мнѣ понемногу стало выясняться, на какой тяжелой, скользкій и опасный путь обрекаетъ насъ несовершенство нашей науки. Однажды нашъ профессоръ-гинекологъ пришелъ въ аудиторію хмурый и разстроенный.

— Милостивые государи!—объявилъ онъ.—Вы помните женщину съ эндометритомъ, которую я вамъ демонстрировалъ полторы недѣли назадъ и которой я тогда же сдѣлалъ при васъ выскабли-

ваніе матки. Вчера она умерла отъ зараженія брюшины...

Профессоръ подробно изложилъ намъ ходъ болѣзни и результаты вскрытія умершей. Кромѣ раздраженій слизистой оболочки, ради которыхъ было произведено выскабливаніе, у больной оказалась въ толщѣ матки мускульная опухоль, — міома. Выскабливаніе матки при міомахъ сопряжено съ большою опасностью, потому что міомы легко могутъ омертвѣть и подвергнуться гнилостному разложенію. Въ данномъ случаѣ самое тщательное изслѣдованіе матки не дало никакихъ указаній на присутствіе міомы; выскабливаніе было произведено, а слѣдствіемъ этого явилось разложеніе міомы и смерть больной.

— Такимъ образомъ, милостивые государи.— продолжалъ профессоръ, — смерть больной несомнѣнно, была вызвана нашею операціею; не будь операціи, больная, хотя и не безъ страданій, могла бы прожить еще десятки лѣтъ... Къ сожалѣнію, наша наука не всесильна. Такія несчастныя случайности предвидѣть очень трудно, и къ нимъ всегда нужно быть готовымъ. Для избѣжанія подобной ошибки Шульце предлагаетъ...

Профессоръ говорилъ еще долго, но я его уже не слушалъ. Сообщение его какъ бы столкнуло меня съ неба, на которое меня вознесли мои тогдашніе восторги передъ успѣхами медицины. Я думалъ: нашъ профессоръ—европейски-извѣстный специалистъ, всѣми признанный талантъ, тѣмъ не менѣе даже и онъ не гарантированъ отъ такихъ страшныхъ ошибокъ; что же

ждеть въ будущемъ меня, ординарнѣйшаго, ничѣмъ не выдающагося человѣка?

И въ первый разъ это будущее глянуло на меня злобѣще и мрачно. Нѣкоторое время я ходилъ совершенно растерянный, подавленный громадною той отвѣтственности, которая ждала меня въ будущемъ. И вездѣ я теперь находилъ свидѣтельства того, какъ во всѣхъ отношеніяхъ велика эта отвѣтственность. Случайно мнѣ попался номеръ „Новостей Терапіи“, и въ немъ я прочелъ слѣдующее:

Бинцъ сообщаетъ случай выкидыша послѣ пяти приемовъ салициловаго натра по одному грамму. Врачъ, назначившій это средство, былъ привлеченъ къ судебной отвѣтственности, но былъ оправданъ, *въ виду того, что подобные случаи до сихъ поръ еще не опубликованы*, несмотря на то, что примѣненіе салициловаго натра, какъ извѣстно, практикуется въ весьма широкихъ размѣрахъ.

Замѣтка эта случайно попала мнѣ на глаза; я легко могъ ее и не прочесть, а между тѣмъ, если бы въ будущемъ нѣчто подобное произошло со мною, то мнѣ уже не было бы оправданія: теперь такой случай опубликованъ... Я долженъ все знать, все помнить, все умѣть,—но развѣ же это по силамъ человѣку?!

Вскорѣ мое мрачное настроеніе понемногу разсѣялось: пока я былъ въ университетѣ, мнѣ самому ни въ чемъ не приходилось нести отвѣтственности. Но когда я врачомъ приступилъ къ практикѣ, когда я на дѣлѣ увидѣлъ все несовершенство нашей науки, я почувствовалъ себя въ положеніи проводника, которому нужно ночью ве-

сти людей по скользкому и обрывистому краю пропасти: они вѣрятъ мнѣ и даже не подозрѣваютъ, что идутъ надъ пропастью, а я каждую минуту жду, что вотъ-вотъ кто-нибудь изъ нихъ рухнетъ внизъ.

Часто, опредѣливъ болѣзнь, я положительно не рѣшался взяться за ея леченіе и уклонялся подъ первымъ предлогомъ. Въ началѣ моей практики ко мнѣ обратилась за помощью женщина, страдавшая солитеромъ. Самое лучшее и вѣрное средство противъ солитера — вытяжка мужского папоротника. Справляюсь въ книгахъ, какъ его назначить, и читаю: „Средство много потеряло изъ своей славы, потому что его давали въ слишкомъ малыхъ дозахъ... Но съ назначеніемъ его нужно быть осторожнымъ: въ большихъ дозахъ оно производитъ отравленіе“... Въ единственно-дѣйствительныхъ не „слишкомъ малыхъ“ дозахъ я долженъ быть „очень остороженъ“. Какъ возможно при такомъ условіи соблюсти осторожность?.. Я заявилъ больной, что не могу ее лечить, и чтобъ она обратилась къ другому доктору.

Больная широко раскрыла глаза.

— Я вамъ заплачу,—сказала она.

— Да нѣтъ, дѣло не въ томъ... Видите ли... За это нужно взяться, какъ слѣдуетъ, а у меня теперь нѣтъ времени...

Женщина пожала плечами и ушла.

Первое время я испытывалъ такой страхъ чуть не передъ половиною всѣхъ моихъ больныхъ; и страхъ этотъ еще усиливался сознаніемъ моей дѣйствительной неопытности; чего стоилъ одинъ

тотъ случай съ сыномъ прачки, о которомъ я уже рассказывалъ.

Потомъ мало-по-малу явилась привычка; я пересталъ всего бояться, больше сталъ вѣрить въ себя; каждое дѣйствіе надъ больнымъ ужъ не сопровождалось бесплодными терзаніями и мыслями о всѣхъ возможныхъ осложненіяхъ. Но все-таки висящій надъ головою дамокловъ мечъ „несчастнаго случая“ и до сихъ поръ непрерывно держитъ меня въ состояніи какой-то нервной приподнятости.

Никогда напередъ не знаешь, когда и откуда онъ придетъ, этотъ грозный „несчастный случай“. Разъ, я помню, у насъ въ больницѣ дѣлали шестнадцатилѣтней дѣвушкѣ резекцію локтя. Мнѣ поручили хлороформировать больную. И только я поднесъ къ ея лицу маску съ хлороформомъ, только она вдохнула его, — одинъ единственный разъ,—и лицо ея посинѣло, глаза остановились, и пульсъ исчезъ; самыя энергичныя мѣры оживленія не повели ни къ чему; минуту назадъ она говорила, волновалась, глаза блестяли страхомъ и жизнью,—и уже трупъ!.. По требованію родителей было произведено судебно-медицинское вскрытіе умершей; всѣ ея внутренніе органы оказались совершенно нормальными, какъ я и нашелъ ихъ при изслѣдованіи больной передъ хлороформированіемъ; и тѣмъ не менѣе—смерть, отъ этой ужасной идиосинкразіи, которую невозможно предвидѣть. И родители увезли трупъ, осыпавъ насъ проклятіями.

Прошлымъ лѣтомъ я жилъ въ глухой деревушкѣ средней Россіи. Однажды ко мнѣ присы-

лаютъ отъ сосѣдняго помѣщика съ просьбою приѣхать. Я рѣшительно отказался: усталый и изнервничавшійся, я хотѣлъ тутъ лишь одного—отдохнуть, не видѣть страдающихъ лицъ, не испытывать этого постоянного нервнаго подъема: слишкомъ довольно было ужъ и однихъ крестьянъ, отказывать которымъ положительно не поворачивался языкъ. Но, въ концѣ концовъ, конечно, пришлось-таки поѣхать. Больной былъ тихій и славный старикъ, отставной подполковникъ, съ сѣдыми, прокопченными табакомъ усами; у него былъ циррозъ печени съ водянкой живота.

— Я, докторъ, вылечиться не рассчитываю, — тянулъ старикъ своимъ медленнымъ и басистымъ, словно ворчащимъ голосомъ. — Пора помирать, нужно и честь знать. А только ужъ очень воды много набралось въ животъ; видите животъ, — настоящая конна, не продохнешь. Мнѣ мой докторъ каждый мѣсяць выпускаетъ воду, а сейчасъ онъ въ отпускъ... Вотъ я васъ и побезпокоилъ. Инструменты, все это у меня есть.

Жидкость въ такихъ случаяхъ выпускается посредствомъ особаго инструмента, троакара, состоящаго изъ тонкой, прямой металлической трубки, въ которую вложенъ остроконечный стилетъ; троакаромъ прокалываютъ стѣнку живота, извлекаютъ стилетъ, и жидкость вытекаетъ черезъ трубку. Операція эта совершенно безопасна: если вводить стилетъ должнымъ образомъ, онъ никогда не поранитъ кишечника. Я выпустилъ больному жидкость.

Черезъ мѣсяць старикъ прислалъ за мною снова. Я вторично сдѣлалъ проколъ; на этотъ

разъ вытекавшая жидкость была слабо окрашена кровью; вѣроятно, стилетъ поранилъ небольшую венку. На всякій случай я остался при больномъ еще часа на два, но ничего угрожающаго не замѣтилъ. На слѣдующій день рано утромъ за мною присылають отъ больного и просятъ какъ можно скорѣе пріѣхать. За ночь въ старикѣ произошла рѣзкая переменѣна: онъ неподвижно лежалъ на кровати,—мертвенно-блѣдный, съ восковымъ лицомъ, безъ пульса. Были ясны симптомы сильнаго внутренняго кровотеченія. Пока я приготовлялъ физиологическій растворъ соли для подкожнаго вливанія, больной умеръ. Въ чемъ тутъ было дѣло, трудно сказать; вскрыть умершаго мнѣ не позволили; самое вѣроятное,—что остріе троакара поранило ненормально развитую и старчески-перерожденную вѣтку надчревной артеріи, шедшую тамъ, гдѣ ея совсѣмъ нельзя было предполагать, а ночью какое-нибудь рѣзкое движеніе больного или приступъ кашля усилили первоначально слабое кровотеченіе.

Родственники приписали смерть старика естественному ходу болѣзни. Мнѣ было противно молчать, хотѣлось сказать имъ правду и объяснить все,—но къ чему бы это послужило?.. Я ѣхалъ назадъ. Надъ росистыми полями лежало тихое, радостное утро, небо звенѣло трелями жаворонковъ. въ нѣжно-зеленой тѣни роши бѣлѣли стволы березъ, — такіе чистые и спокойные... Неужели мнѣ нигдѣ и никогда не суждено уже испытывать этотъ радостный, ничѣмъ не смущаемый покой?

Англійскій хирургъ Джемсъ Педжетъ говоритъ

въ своей лекціи „о несчастіяхъ въ хирургіи“: „Нѣтъ хирурга, которому не пришлось бы въ теченіе своей жизни одинъ или нѣсколько разъ сократить жизнь больнымъ, въ то время, какъ онъ стремился продолжить ее. И такія приключенія бывають не при однѣхъ только важныхъ операціяхъ. Если бы вы могли пробѣжать полный списокъ операцій, считаеваемыхъ „малыми“, вы нашли бы, что каждый опытный хирургъ или имѣлъ въ своей собственной практикѣ, или видѣлъ у другихъ одинъ или нѣсколько смертельныхъ исходовъ при всякой изъ этихъ операцій. Если хирургъ удалить ножомъ сто атеромъ на волосистой части головы, то,—я осмѣливаюсь утверждать,—одинъ или двое изъ его оперируемыхъ умрутъ. Всякій, кто подъярьядъ наложить такое же число разъ лигатуру на геморроидальныя шишки, получить одинъ или два смертельныхъ исхода“.

И отъ этого нѣтъ спасенія. Каждую минуту можетъ разразиться несчастье и смять тебя навсегда. Въ 1884 году вѣнскій врачъ Шпитцеръ пользовалъ четырнадцатилѣтнюю дѣвочку, страдавшую ознобленіемъ пальцевъ; онъ прописалъ ей іодистаго коллодія и велѣлъ мазать имъ отмороженныя мѣста; у дѣвочки образовалось омертвѣніе мизинца, и палецъ пришлось ампутировать. Мать больной подала на д-ра Шпитцера въ судъ. Судъ приговорилъ его къ уплатѣ истицѣ 650 гульденовъ, къ штрафу въ 200 гульденовъ и къ лишенію права практики. Газеты яростно напали на Шпитцера, осыпая его насмѣшками и издѣвательствами. Въ врачебномъ мірѣ случай этотъ вызвалъ большое

волненіе: Шпитцеръ не могъ имѣть никакихъ основаній ждать, чтобы смазыванія пальца невиннымъ іодистымъ коллодіемъ способны были произвести такое разрушительное дѣйствіе. Осужденный апеллировалъ въ сенатъ. Было затребовано мнѣніе медицинскаго факультета. По докладу извѣстнаго хирурга проф. Альберта, факультетъ единогласно далъ слѣдующее заключеніе: „Примѣненные докторомъ Шпитцеромъ смазыванія іодистымъ коллодіемъ не повели къ гангренѣ въ рядѣ опытовъ, специально произведенныхъ факультетомъ съ этою цѣлью. Въ литературѣ и наукѣ не имѣется указаній на опасность примѣненія упомянутаго средства вообще и въ случаяхъ, подобныхъ происшедшему, въ частности. Поэтому нѣтъ основанія обвинять д-ра Шпитцера въ невѣжествѣ“. Но Шпитцеръ ужъ не нуждался въ оправданіи. Въ тотъ день, когда было опубликовано факультетское заключеніе, трупъ Шпитцера былъ вытасченъ изъ Дуная: онъ не вынесъ тяжести всеобщихъ осужденій и утопился.

Да, ужъ пощады въ подобныхъ случаяхъ не жди ни отъ кого! Врачъ долженъ быть богомъ, не ошибающимся, не вѣдающимъ сомнѣній, для котораго все ясно и все возможно. И горе ему, если это не такъ, если онъ ошибся, хотя бы не ошибиться было невозможно... Лѣтъ пятнадцать назадъ фельетонистъ „Петербургской Газеты“ г. Амикусъ огласилъ одинъ „возмутительный“ случай, происшедшій въ хирургической клиникѣ проф. Коломнина. Мальчикъ Харитоновъ, „съ болью въ тазобедренномъ суставѣ“ былъ приве-

зень родителями въ клинику; при изслѣдованіи мальчика ассистентомъ клиники, д-ромъ Т. (названа полная фамилія), произошло вотъ что:

„Т. просить, чтобъ Харитоновъ прыгнулъ на больную ногу: тотъ, конечно, отказывается, завѣряя почтеннаго эскулапа, что онъ не можетъ стоять на больной ногѣ. Но эскулапъ не слушаетъ завѣреній несчастнаго юноши и съ помощью присутствующихъ заставляеть прыгнуть. Тотъ прыгнулъ. Раздался страшный крикъ, и несчастный мальчикъ упалъ на руки своихъ палачей: отъ прыжка нога сломилась у самаго бедра“. У больного „съ ужа-сающею быстротою“ развилась саркома, и онъ умеръ „по винѣ своихъ мучителей“.

Д-ръ Т. въ письмѣ въ редакцію газеты объяснилъ, какъ было дѣло. Мальчикъ жаловался на боли въ суставѣ, но никакихъ наружныхъ признаковъ пораженія въ суставѣ не замѣчалось; были основанія подозрѣвать туберкулезъ тазобедреннаго сустава (кокситъ). Стоять на больной ногѣ Харитоновъ могъ. „Я предложилъ больному стать на больную ногу и слегка подпрыгнуть. При такой пробѣ у кокситиковъ при самомъ началѣ болѣзни, когда все другіе признаки отсутствуютъ, болѣзнь выдаетъ себя легкою болью въ суставѣ“. Послѣдовалъ переломъ. Такіе переломы относятся къ числу такъ называемыхъ *самородныхъ переломовъ*: у мальчика, какъ впоследствии оказалось, была центральная костномозговая саркома; она разѣла изнутри кость и уничтожила ея обычную твердость: достаточно было перваго сильнаго движенія, чтобы случился переломъ; тотъ же самый переломъ самъ собою сдѣлался бы у больного или въ клиникѣ, или на возвратномъ пути домой.

„Узнать навѣрное такую болѣзнь, когда еще нельзя найти самой опухоли, въ высокой степени трудно, иногда положительно *невозможно*“. Къ этому нужно еще прибавить, что упомянутая болѣзнь вообще принадлежитъ къ числу очень рѣдкихъ, въ противоположность кокситу, болѣзни очень распространенной.

Объясненіе д-ра Т. вызвало новыя глумленія фельетониста.

Не правда ли, поразительно! — писалъ г. Амикусъ. — Самодѣйствующій переломъ!.. Это ли еще не есть верхъ несчастной случайности, въ особенности для насъ, профановъ, впервые слышащихъ о самородныхъ, самодѣйствующихъ, автоматическихъ переломахъ рукъ и ногъ. Только въ такихъ необычайныхъ случаяхъ можно вполне оцѣнить, что значить наука, и горько всплакнуть надъ своимъ невѣжествомъ... Что же остается дѣлать профану? Не спорить же съ наукой! Остается только пристыженно понурить голову передъ сіяніемъ ослѣпляющей науки и немедленно испробовать съ тревожнымъ чувствомъ (посредствомъ ударовъ о твердые предметы), не подкрался ли къ нему самому этотъ предательскій самородный переломъ.

Послѣ этого еще цѣлую недѣлю по газетамъ трепали и высмѣивали д-ра Т.

Со стороны возмущаться подобными ошибками врачей легко. Но въ томъ-то и трагизмъ нашего положенія, что представься на завтра врачу другой такой же случай, — и врачъ *обязанъ* былъ бы поступить совершенно такъ же, какъ поступилъ въ первомъ случаѣ. Конечно, для него было бы гораздо спокойнѣе поступить иначе: наружныхъ признаковъ пораженія сустава не замѣчается; есть способъ узнать, не туберкулезъ ли это; но вдругъ

болѣзнь окажется костной саркомой, и тоже послѣдуетъ переломъ! Правда, костныя саркомы такъ рѣдки, что за всю свою практику врачъ встрѣтитъ ихъ всего два-три раза; правда, если теперь же взяться за леченіе туберкулезнаго сустава, то можно надѣяться на полное и прочное излеченіе его, а все-таки... лучше подальше отъ грѣха; лучше пусть больной отправляется домой и представится снова тогда, когда уже появятся несомнѣнные наружныя признаки... Тотъ трусъ, который попустилъ бы такъ, былъ бы недостойнъ имени врача.

Общество живетъ слишкомъ невѣрными представленіями о медицинѣ, и это — главная причина его несправедливаго отношенія къ врачамъ; оно должно узнать силы и средства врачебной науки и не винить врачей въ томъ, въ чемъ виновато несовершенство науки. Тогда и требовательность къ врачамъ понизилась бы до разумнаго уровня.

А впрочемъ,— понизилась ли бы она и тогда?.. Чувство не знаетъ и не хочетъ знать логики. Недавно я испыталъ это на самомъ себѣ. У моей жены роды были очень трудныя, потребовалась операція. И передо мною зловѣще-ярко встали всевозможныя при этомъ несчастія.

— Нужно сдѣлать операцію, — спокойно и хладнокровно сказалъ мнѣ врачъ-акушеръ.

Какъ могъ онъ говорить объ этомъ такъ спокойно?! Вѣдь онъ знаетъ, какія многочисленныя случайности грозятъ роженицѣ при подобной операціи; пусть случайности эти рѣдки, но все-таки же онъ существуютъ и возможны. А онъ долженъ ясно понять, что значить для меня потерять На-

ташу, онъ *навѣрное* долженъ сдѣлать операцію удачно, въ противномъ случаѣ это будетъ ужасно, и ему не можетъ быть извиненія, — ни ему, ни наукѣ; не *смѣетъ* онъ ни въ чемъ погрѣшнить!.. И передъ этимъ охватившимъ меня чувствомъ стали блѣдны и безсильны всѣ доводы моего разума и знанія.

ХII.

Въ обществѣ къ медицинѣ и врачамъ распространено сильное недовѣріе. Врачи издавна служатъ излюбленнымъ предметомъ каррикатуръ, эпиграммъ и анекдотовъ. Здоровые люди говорятъ о медицинѣ и врачахъ съ усмѣшкою, больные, которымъ медицина не помогла, говорятъ о ней съ ярою ненавистью.

Эти насмѣшки и это недовѣріе вначалѣ сильно конфузили меня. Я чувствовалъ, что въ основѣ своей онѣ справедливы, что въ наукѣ нашей, дѣйствительно, есть многое, чего мы должны конфузиться. Чувствуя это, я иногда не прочь былъ и самъ въ откровенную минуту выказать свое пренебрежительное и насмѣшливое отношеніе къ медицинѣ. Однажды въ деревнѣ мы возвращались вечеромъ съ прогулки. Ко мнѣ подошла баба съ просьбою осмотрѣть и полечить ее. Я зашелъ къ ней въ избу вмѣстѣ съ своей двоюродной сестрой. Баба жаловалась, что ей „подпираетъ корешки“ и схватываетъ подложечкой, что, когда она наклоняется, у нея сильно кружится голова. Я изслѣдовалъ ее и сказалъ, чтобъ она зашла ко мнѣ за каплями.

— Что у нея?—спросила сестра, когда мы вышли.

— А я почему знаю!—съ усмѣшкой отвѣтила я.—Поднираетъ корешки какіе-то.

Сестра удивленно подняла брови.

— Вотъ странно! Ты такъ увѣренно держался,—я думала, для тебя все совершенно ясно.

— Дня черезъ два изслѣдую ее еще разъ,—можетъ быть, выяснится.

— Ну, и наука же ваша!

— Наука—что говорить! Наука, можно сказать,—точная!

И я сталъ рассказывать ей случаи, показывавшіе, какъ „точно“ наша наука, и какъ наивно смотрять на врачей больные.

Мнѣ не разъ случалось такимъ тономъ говорить о медицинѣ; все, что я рассказывалъ, была правда, но всегда послѣ подобныхъ разговоровъ мнѣ становилось совѣстно: эту правду я оцѣнивалъ, ставясь на точку зрѣнія своихъ слушателей, въ душѣ же у меня, несмотря на все, отношеніе къ медицинѣ было серьезное и полное уваженія.

Очевидно, во всемъ этомъ крылось какое-то глубокое недоразумѣніе. Медицина не оправдываетъ ожиданій, которыя на нее возлагаются, — надъ нею смѣются и въ нее не вѣрятъ. Но правильны ли и законны ли самыя эти ожиданія? Есть наука объ излеченіи болѣзней, которая называется медицинной; человѣкъ, обучившійся этой наукѣ, долженъ безошибочно узнавать и вылечивать болѣзни; если онъ этого не умѣетъ, то либо самъ онъ плохъ, либо его наука никуда не годится.

Такой взглядъ былъ совершенно естественъ,

но въ то же время совершенно неправиленъ. Не существуетъ хоть сколько-нибудь законченной науки объ излеченіи болѣзней; передъ медициною стоитъ живой человѣческой организмъ съ безконечно-сложною и запутанною жизнью; многое въ этой жизни уже понято, но каждое новое открытіе въ то же время раскрываетъ все болѣшую чудесную ея сложность; темнымъ и мало-понятнымъ путемъ развиваются въ организмѣ многія болѣзни, неясны и неуловимы борющіяся съ ними силы организма, иѣтъ средствъ поддержать эти силы; есть другія болѣзни, сами по себѣ болѣе или менѣе понятныя; но сплошь да рядомъ онѣ протекаютъ такъ скрытно, что всѣ средства науки безсильны для ихъ опредѣленія.

Это значить, что врачи не нужны, а ихъ наука никуда не годится? Но вѣдь есть многое другое, что наукѣ уже понятно и доступно, во многомъ врачъ можетъ оказать существенную помощь. Во многомъ онъ и безсиленъ, но въ чемъ именно онъ безсиленъ, можетъ опредѣлить только самъ врачъ, а не больной; даже и въ этихъ случаяхъ врачъ незамѣнимъ, хотя бы по одному тому, что онъ понимаетъ всю сложность происходящаго передъ нимъ болѣзненнаго процесса, а больной и его окружающіе не понимаютъ.

Люди не имѣютъ даже самаго отдаленнаго представленія ни о жизни своего тѣла, ни о силахъ и средствахъ врачебной науки. Въ этомъ—источникъ большинства недоразумѣній, въ этомъ—причина какъ слѣпой вѣры въ всемогущество медицины, такъ и слѣплого невѣрія въ нее. А то и другое

одинаково даетъ знать о себѣ очень тяжелыми послѣдствіями.

Въ публикѣ сильно распространены всевозможные „общедоступные лечебники“ и популярныя брошюры о леченіи; въ мало-мальски интеллигентной семьѣ всегда есть домашняя аптечка, и, раньше чѣмъ позвать врача, на больномъ испробуютъ и касторку, и хининъ, и салициловый натръ, и валерианку; недавно въ Петербургѣ даже основалось цѣлое общество „самопомощи въ болѣзняхъ“. Ничего подобнаго не было бы возможно, если бы у людей, вмѣсто слѣпой вѣры въ простую и нехитрую медицинскую науку, было разумное пониманіе этой науки. Люди знали бы, что каждый новый больной представляетъ собою новую, неповторяющуюся болѣзнь, чрезвычайно сложную и запутанную, разобраться въ которой далеко не всегда можетъ и врачъ со всѣми его знаніями. У больного запоръ, нужно ему дать касторки; рѣшился ли бы кто-нибудь приступить къ такому леченію, если бы хоть подозрѣвалъ о томъ, что иногда этимъ можно убить человѣка, что иногда, какъ, напр., при свинцовой коликѣ, запоръ можно устранить не касторкой, а только... опиѣмъ?

На невѣжественной вѣрѣ въ всеиліе медицины основываются тѣ преувеличенныя требованія къ ней, которыя являются для врача проклятіемъ и связываютъ его по рукамъ и ногамъ. Больной съ брюшнымъ тифомъ сильно лихорадитъ, у него болитъ голова, онъ потѣетъ по ночамъ, его мучаетъ тяжелый бредъ; бороться съ этимъ нужно очень осторожно, и преимущественно физическими сред-

ствами; но попробуй, скажи пациенту: „страдай, обливайся потомъ, изнывай отъ кошмаровъ!“ Онъ отвернется отъ тебя и обратится къ врачу, который не будетъ жалѣть хирина, фенацетина и хлораль-гидрата: что это за врачъ, который не даетъ облегченія! Пусть это облегченіе идетъ на счетъ силъ больного, пусть оно навсегда расшатаетъ его организмъ, пусть совершенно отучитъ отъ способности самостоятельно бороться съ болѣзнью,—облегченіе получено, и довольно. Самыми несчастными пациентами въ этомъ отношеніи являются разнаго сорта „высокія особы“,—нетерпѣливыя, избалованныя, которыя самую наличность неустрашеннаго, хотя бы легкаго страданія ставятъ въ вину лечащему ихъ врачу. Вотъ почему, между прочимъ, въ публикѣ громкимъ успѣхомъ пользуются врачи, о которыхъ понимающіе дѣло товарищи отзываются съ презрѣніемъ, и къ помощи которыхъ ни одинъ изъ врачей не станетъ обращаться.

Врачъ на то и врачъ, чтобы легко и увѣренно устранять страданія и излечивать болѣзни. Дѣйствительность на каждомъ шагу опровергаетъ такое представленіе о врачахъ, и люди отъ слѣпой вѣры въ медицину переходятъ къ ея полному отрицанію. У больного болѣзнь излечимая, но требующая леченія долгаго и систематическаго; недѣля-другая леченія не дала помощи, и больной машетъ рукою на врача и обращается къ знахарю. Есть болѣзни затяжныя, противъ которыхъ мы не имѣемъ дѣйствительныхъ средствъ, напр., коклюшъ; врачъ, котораго въ первый разъ пригласятъ въ семью для леченія коклюша, можетъ

быть увѣренъ, что въ эту семью его никогда ужъ больше не позовутъ: нужно громадное, испытанное довѣріе къ врачу или полное пониманіе дѣла, чтобы примириться съ ролью врача въ этомъ случаѣ, — слѣдить за гигиеничностью обстановки и принимать мѣры противъ появляющихся осложнений.

Особенно богатый матеріалъ для отрицанія медицины даютъ ошибки врачей. Врачъ опредѣлилъ у больного брюшной тифъ, а на вскрытіи оказалось, что у него была общая бугорчатка, — позоръ врачамъ, хотя клиническія картины той и другой болѣзни часто совершенно тождественны. У меня есть одинъ знакомый; три года у него сильно болитъ правое колѣно; одинъ врачъ опредѣлилъ туберкулезъ, другой сифилисъ, третій подагру; и облегченія ни отъ кого нѣтъ. Отсюда выводъ можетъ быть только одинъ: иногда болѣзни проявляются въ такихъ темныхъ и неясныхъ формахъ, что правильный діагнозъ возможно поставить только случайно. Но каждый человѣкъ судитъ по тому, что испытываетъ на себѣ; и знакомый мой огворитъ: „Ваше занятіе для общества — то же, что для человѣка галстухъ; галстухъ совершенно бесполезенъ, по ходитъ безъ него цивилизованному человѣку неприлично; и онъ покорно платитъ за галстухъ деньги, и люди, приготовляющіе галстухи, думаютъ, что дѣлаютъ что-то нужное...“

— Должна вамъ, докторъ, сознаться, — я совершенно не вѣрю въ вашу медицину, — сказала мнѣ недавно одна дама.

Она не вѣритъ... Но вѣдь она ся совершенно

не знаетъ! Какъ же можно вѣрить или не вѣрить въ значеніе того, чего не знаешь?

Многое изъ того, что мною разсказано въ предыдущихъ главахъ, можетъ у людей, слѣпо вѣрующихъ въ медицину, вызвать невѣріе въ нее. Я и самъ пережилъ это невѣріе. Но вотъ теперь, зная все, я все-таки съ искреннимъ чувствомъ говорю: *я вѣрю въ медицину*, — вѣрю, хотя она во многомъ безсильна, во многомъ опасна, многого не знаетъ. И могу ли я не вѣрить, когда то и дѣло вижу, какъ она даетъ мнѣ возможность спасать людей, какъ губятъ сами себя тѣ, кто отрицаетъ ее?

„Я не вѣрю въ вашу медицину“, — говоритъ дама. Во что же, собственно, она не вѣритъ? Въ то, что возможно въ два дня „перервать“ коклюшь, или въ то, что при нѣкоторыхъ глазныхъ болѣзняхъ своевременнымъ примѣненіемъ атропина можно спасти человѣка отъ слѣпоты? Ни въ два дня, ни въ три недѣли невозможно перервать коклюша, по нѣсколькимъ каплямъ атропина можно сохранить человѣку зрѣніе, и тотъ, кто не „вѣритъ“ въ это, подобенъ скептику, не вѣрящему, чтобъ гдѣ-нибудь на свѣтѣ мужики говорили по-французски.

Человѣкъ долгіе годы страдаетъ удушьемъ; я прижигаю ему носовыя раковины, — и онъ становится здоровымъ и счастливымъ отъ своего здоровья; мальчикъ тупъ, невнимателенъ и безпамятенъ; я вырѣзаю ему гипертрофированныя миндалины, — и онъ умственно совершенно перерождается; ребенокъ истощенъ поносами; я безъ всякихъ лекарствъ, однимъ регулированіемъ діеты

и времени приёма пищи достигаю того, что онъ становится полнымъ и веселымъ. Мое знаніе часто даетъ мнѣ возможность самымъ незначительнымъ приемомъ или назначеніемъ предотвратить тяжелую болѣзнь, и чѣмъ невѣжественнѣе люди, тѣмъ ярче бросается въ глаза все значеніе моего знанія. Въ трудныхъ, запутанныхъ случаяхъ, потребовавшихъ много умственныхъ и нервныхъ затратъ, особенно сильно и побѣдно чувствуешь свое торжество, и смѣшно подумать, что можно было бы сдѣлать здѣсь безъ знанія... Нѣтъ, я—я вѣрю въ медицину, и мнѣ глубоко жаль тѣхъ, кто въ нее не вѣритъ.

Я вѣрю въ медицину. Насмѣшки надъ нею истекаютъ изъ незнанія смѣющихся. Тѣмъ не менѣе во многомъ мы вѣдь, дѣйствительно, безсильны, невѣжественны и опасны; вина въ этомъ не наша, но это именно и даетъ пищу невѣрію въ нашу науку и насмѣшкамъ надъ нами. И передо мною все настойчивѣе сталъ вставать вопросъ: это невѣріе и эти насмѣшки я признаю первоосновательными, имъ не должно быть мѣста по отношенію ко мнѣ и къ моей наукѣ, — какъ же мнѣ для этого держаться съ пациентомъ?

Прежде всего нужно быть съ нимъ честнымъ. Именно потому, что сами мы скрываемъ отъ людей истинные размѣры доступнаго намъ знанія, къ намъ и возможно то враждебно-ироническое чувство, которое мы повсюду возбуждаемъ къ себѣ. Одно изъ главныхъ достоинствъ Льва Толстого, какъ художника, заключается въ поразительно-человѣчномъ и серьезномъ отношеніи къ каждому

изъ рисуемыхъ имъ лицъ; *единственное* исключеніе онъ дѣластъ для врачей: ихъ Толстой не можетъ выводить безъ раздраженія и почти тургеневскаго подмигиванія читателю. Есть же, значить, что-то, что такъ возстаповляетъ всѣхъ противъ насъ. И мнѣ казалось, что это „что-то“ есть именно окутываніе себя туманомъ и возбужденіе къ себѣ преувеличеннаго довѣрія и ожиданій. Этого не должно быть.

Но практика немедленно опровергла меня; напротивъ, иначе, чѣмъ есть, и не можетъ быть. Я лечилъ одного чиновника, больного брюшнымъ тифомъ; его крѣшило, животъ былъ сильно вздутъ; я назначилъ ему каломель въ обычной слабительной дозѣ, со всѣми обычными предосторожностями.

— У мужа, докторъ, явилось во рту какое-то осложненіе,—сообщила мнѣ жена больного при слѣдующемъ моемъ визитѣ.

Больной жаловался на сильное слюнотеченіе, десны покраснѣли и распухли, изо рту несло отвратительнымъ запахомъ; это была типическая картина легкаго отравленія ртутью, вызваннаго назначеннымъ мною каломелемъ; обвинить себя я ни въ чемъ не могъ,—я принялъ рѣшительно всѣ предупредительныя мѣры.

Что мнѣ было сказать? Что это—слѣдствіе назначеннаго мною леченія? Глупѣе поступить было бы невозможно. Я совершенно безцѣльно подорвалъ бы довѣріе ко мнѣ больного и заставилъ бы его ждать всякихъ бѣдъ отъ cadaго моего назначенія. И я молча, стараясь не встрѣтиться

съ взглядомъ жены больного, выслушалъ ея рѣчи объ удивительномъ разнообразіи осложненій при тифѣ.

Меня пригласили къ больному ребенку; онъ лихорадилъ, никакихъ опредѣленныхъ жалобъ и симптомовъ не было; приходилось подождать выясненія болѣзни. Я не хотѣлъ прописывать „ut aliquid fiat“, я сказалъ матери, что слѣдуетъ принять такія-то гигиеническія мѣры, а лекарствъ пока ненужно. У ребенка развилось воспаленіе мозговыхъ оболочекъ, онъ умеръ. И мать стала горько клясть меня въ его смерти, потому что я не поспѣшилъ во-время „перервать“ его болѣзнь.

А какъ я могу держаться „честно“ съ неизлечимыми больными? Съ ними все время приходится лицемѣрить и лгать, приходится пускаться на самыя разнообразныя выдумки, чтобы вновь и вновь поддержать падающую надежду. Больной, по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени, всегда сознаетъ эту ложь, негодуетъ на врача и готовъ проклинать медицину. Какъ же держаться? Древнеиндійская медицина была въ этомъ отношеніи пряма и жестоко-искренна: она имѣла дѣло только съ излечимыми больными, неизлечимый не имѣлъ права лечиться; родственники отводили его на берегъ Ганга, забивали ему носъ и ротъ священнымъ иломъ и бросали въ рѣку... Больной сердится, когда врачъ не говоритъ ему правды; о, онъ хочетъ одной только правды! Вначалѣ я былъ настолько наивенъ и молодо-прямолинеенъ, что при настойчивомъ требованіи говорилъ больному правду; только постепенно я понялъ, что въ

дѣйствительности значить, когда больной хочет правды, увѣряя, что не боится смерти; это значить: „если надежды нѣтъ, то лги мнѣ такъ, чтобъ я ни на секунду не усумнился, что ты говоришь правду“.

Вездѣ, на каждомъ шагу, приходится быть актеромъ; особенно это необходимо потому, что болѣзнь излечивается не только лекарствами и назначеніями, но и душою самого больного; его бодрая и вѣрящая душа—громадная сила въ борьбѣ съ болѣзнью, и нельзя достаточно высоко оцѣнить эту силу; меня первое время удивляло, насколько успѣшнѣе оказывается мое леченіе по отношенію къ постояннымъ моимъ паціентамъ, горячо вѣрящимъ въ меня и посылающимъ за мною съ другого конца города, чѣмъ по отношенію къ паціентамъ, обращающимся ко мнѣ въ первый разъ; я видѣлъ въ этомъ довольно комичную игру случая; постепенно только я убѣдился, что это вовсе не случайность, что мнѣ, дѣйствительно, могучую поддержку оказываетъ завоеванная мною вѣра, удивительно поднимающая энергію больного и его окружающихъ. Больной страшно нуждается въ этой вѣрѣ и чутко ловить въ голосѣ врача всякую ноту колебанія и сомнѣнія... И я сталъ привыкать держаться при больномъ самоувѣренно, дѣлать назначенія самымъ докторальнымъ и безапелляціоннымъ тономъ, хотя бы въ душѣ въ это время поднимались тысячи сомнѣній.

— Не лучше ли, докторъ, сдѣлать то-то?— спрашиваетъ скептической больной.

— Я васъ попрошу непрекословно исполнять,

что я назначаю, — категорически заявляю я. — Только въ такомъ случаѣ я и могу вести леченіе.

И весь мой тонъ говоритъ, что я обладаю полною истиною, сомнѣніе въ которой можетъ быть только оскорбительнымъ.

И вѣру въ себя недостаточно завоевать разъ; приходится все время завоевывать ее непрерывно. У больного болѣзнь затягивается; необходимо зорко слѣдить за душевнымъ состояніемъ его и его окружающихъ; какъ только они начинаютъ падать духомъ, слѣдуетъ, хотя бы наружно, перемѣнить леченіе, назначить другое средство, другой пріемъ; нужно цѣпляться за тысячи мелочей, напрягая всю силу фантазіи, тонко считаясь съ характеромъ и степенью развитія больного и его близкихъ.

Все это такъ далеко отъ того простого исполненія предписаній медицины, въ которомъ, какъ я раньше думалъ, и заключается все наше дѣло! Турецкій знахарь ходжа назначаетъ больному леченіе, обвѣшиваетъ его амулетами и подъ конецъ дуется на него; въ послѣднемъ вся суть: хорошо излечивать людей способенъ только ходжа „съ хорошимъ дыханіемъ“. Такое же „хорошее дыханіе“ требуется и отъ настоящаго врача. Онъ можетъ обладать громаднымъ распознавательнымъ талантомъ, умѣть улавливать самыя тонкія детали дѣйствія своихъ назначеній, — и все это останется безплоднымъ, если у него нѣтъ способности покорять и подчинять себѣ душу больного. Есть, правда, истинно-интеллигентные больные, которымъ не нужно полу-шарлатанское „хорошее дыханіе“, которымъ болѣе дороги талантъ и знаніе, не жела-

юціе скрывать голой правды. Но такіе больные такъ же рѣдки среди людей, какъ рѣдки среди нихъ сами талантъ и знаніе.

XIII.

Прошло много времени, прежде чѣмъ я свыкъся съ силами медицины и смирился передъ ихъ ограниченностью. Мнѣ было стыдно и тоскливо смотрѣть въ глаза больному, которому я былъ не въ силахъ помочь; онъ, угрюмый и отчаявшійся, стоялъ передо мною тяжкимъ укоромъ той наукѣ, которой представителемъ я являлся, и въ душѣ опять и опять шевелилось проклятье этой немощной наукѣ.

Was hab'ich,
Wenn ich nicht alles habe?—Что есть у меня,
Если у меня нѣтъ всего?

Этому я могу помочь, этому нѣтъ; а всѣ они идутъ ко мнѣ, всѣ одинаково хотятъ быть здоровыми и всѣ одинаково въ правѣ ждать отъ меня спасенія. И такъ становятся понятными тѣ вопли отчаянной тоски и паденія вѣры въ свое дѣло, которыми полны интимныя письма сильнѣйшихъ представителей нашей науки. И чѣмъ кто изъ нихъ сильнѣе, тѣмъ ярче осужденъ чувствовать свое безсиліе.

„Изъ всей моей дѣятельности лекціи—это единственное, что меня занимаетъ и живить,—писаль Боткинъ своему другу, д-ру Бѣлоголовому;—остальное тянешь, какъ ляжку, прописывая массу ни къ чему не ведущихъ лекарствъ. Это не фраза и

даетъ тебѣ понять, почему практическая дѣятельность въ моей поликлиникѣ такъ тяготитъ меня. Имѣя громадный матеріалъ хрониковъ, я начинаю вырабатывать грустное убѣжденіе о безсиліи нашихъ терапевтическихъ средствъ. Рѣдкая поликлиника пройдетъ мимо безъ горькой мысли: за что я взялъ съ большей половины народа деньги, да заставилъ ее потратиться на одно изъ нашихъ аптечныхъ средствъ, которое, давши облегченіе на 24 часа, ничего существеннаго не измѣнитъ? Прости меня за хандру, но нынче у меня былъ домашній пріемъ, и я еще подѣ свѣжимъ впечатлѣніемъ этого бесплоднаго труда“.

У Бильрота есть одно стихотвореніе; оно было послано имъ его другу, извѣстному композитору Брамсу, и не предназначалось для печати. Въ переводѣ трудно передать всю силу и поэзію этого стихотворенія. Вотъ оно:

... Ich kann's nicht mehr ertragen,
Wie mich die Menschen täglich, stündlich quälen,
Wie sie unmögliches von mir begehren!
Weil ich einwenig tiefer wohl als Andere
In der Natur geheimstes Wesen drang,
So meinen sie, ich könnte gleich den Göttern
Durch Wunder Leiden nehmen, Glück erzaubern,
Und bin doch nur ein Mensch wie Andere mehr.
Ach, wüsstet Ihr, wie's in mir waltet, siedet,
Und wie mein Herz den Schlag zurücke hält,
Wenn ich statt Heilung mit unsicheren Worten
Kaum Trost kann spenden den Verlorenen...

... Was soll denn aus mir werden?
Aus mir, dem viel bewunderten, hilflosen Mann? *)

*) „Я не въ силахъ больше выносить, какъ люди ежедневно, ежечасно мучаютъ меня, какъ они требуютъ отъ меня

Но передъ такимъ своимъ безсиліемъ постепенно пришлось смириться: полная неизбежность всегда несетъ въ себѣ пѣчто примиряющее съ собою. Все-таки наука даетъ намъ много силы, и съ этою силою можно сдѣлать многое. Но съ чѣмъ невозможно было примириться, что все больше подтачивало во мнѣ удовлетвореніе своею дѣятельностью,—это то, что имѣющаяся въ нашемъ распоряженіи сила на дѣлѣ оказывалась совершенно призрачною.

Медицина есть наука о леченіи людей. Такъ оно выходило по книгамъ, такъ выходило и по тому, что мы видѣли въ университетскихъ клиникахъ. Но въ жизни оказывалось, что медицина есть наука о леченіи однихъ лишь богатыхъ и свободныхъ людей. По отношенію ко всѣмъ остальнымъ она являлась лишь теоретическою наукою о томъ, какъ *можно было бы* вылечить ихъ, если бы они были богаты и свободны; а то, что за отсутствіемъ послѣдняго приходилось имъ предлагать на дѣлѣ, было не чѣмъ инымъ, какъ самымъ безстыднымъ поруганіемъ медицины.

Изрѣдка по праздникамъ ко мнѣ приходитъ

невозможнаго! Изъ того, что я немного глубже другихъ проникъ въ сокровеннѣйшую суть природы, они заключаютъ, что я, подобно богамъ, способенъ чудомъ избавлять отъ страданій, давать счастье, а я—я такой же человекъ, какъ и другіе. Ахъ, если бы вы знали, какъ все волнуется и кипитъ во мнѣ и какъ сердце замедляетъ свои удары, когда я вмѣсто спасенія едва могу въ неувѣренныхъ словахъ предложить погибшимъ утѣшеніе.. Что же будетъ со мною? Со мною, окруженнымъ всеобщимъ удивленіемъ, безпомощнымъ человекомъ?“

на пріемъ мальчишка-сапожникъ изъ сосѣдней сапожной мастерской. Лицо его зеленовато-блѣдно, какъ заплѣсневѣлая штукатурка, онъ страдаетъ головокруженіями и обмороками. Мнѣ часто случается проходить мимо мастерской, гдѣ онъ работаетъ,—окна ея выходятъ на улицу. И въ шесть часовъ утра, и въ одиннадцать часовъ ночи я вижу въ окошко склоненную надъ сапогомъ стриженую голову Васьки, а кругомъ него—такихъ же зеленыхъ и худыхъ мальчиковъ и подмастерьевъ; маленькая керосиновая лампа тускло горитъ надъ ихъ головами, изъ окна тянетъ на улицу густую, прѣлую воню, отъ которой мутитъ въ груди. И вотъ мнѣ нужно лечить Ваську. Какъ его лечить? Нужно придти, вырвать его изъ этого темнаго, вонючаго угла, пустить бѣгать въ поле, подъ горячее солнце, на вольный вѣтеръ, и легкія его развернутся, сердце окрѣпнетъ, кровь станетъ алою и горячею. Между тѣмъ, даже пыльную петербургскую улицу онъ видитъ лишь тогда, когда хозяинъ посылаетъ его съ товаромъ къ заказчику; даже по праздникамъ онъ не можетъ размяться, потому что хозяинъ, чтобы мальчики не баловались, запираетъ ихъ на весь день въ мастерской... И единственное, что мнѣ остается,—это прописывать Васькѣ желѣзо и мышьякъ, и утѣшаться мыслью, что все-таки я „хоть что-нибудь“ дѣлаю для него!

Ко мнѣ приходитъ прачка съ экземою рукъ, ломовой извозчикъ съ грыжей, прядильщикъ съ чахоткою; я назначаю имъ мази, пелоты и порошки—и невѣрнымъ голосомъ, самъ стыдясь комедіи,

которую разыгрываю, говорю имъ, что главное условіе для выздоровленія—это то, чтобы прачка не мочила себѣ рукъ, ломовой извозчикъ не поднималъ тяжестей, а прядильщикъ избѣгалъ пыльных помѣщеній. Они въ отвѣтъ вздыхаютъ, благодарятъ за мази и порошки и объясняютъ, что дѣла своего бросить не могутъ, потому что имъ пужно ѣсть.

Въ такія минуты меня охватываетъ стыдъ за себя и за ту науку, которой я служу, за ту мелкость и убогость, съ какою она осуждена проявлять себя въ жизни. Въ деревнѣ ко мнѣ однажды обратился за помощью мужикъ съ одышкою. Все лѣвое легкое у него оказалось сплошь пораженнымъ крупознымъ воспаленіемъ. Я изумился, какъ могъ онъ добрести до меня, и сказалъ ему, чтобы онъ немедленно по приходѣ домой легъ и не вставалъ.

— Что ты, баринъ, какъ можно?—въ свою очередь изумился онъ.—Нешто не знаешь, время какое? Время страдное, горячее. Господь-Батюшка погоду посылаетъ, а я лежать! Что ты, Господи помилуй! Нѣтъ, ты ужъ будь милостивъ, дай какихъ капелекъ, ослобони грудь.

— Да никакія капли не помогутъ, если пойдешь работать! Тутъ дѣло не шуточное, — помереть можешь!

-- Ну, Господь милостивъ,—зачѣмъ помирать? Перемогусь какъ-нибудь. А лежать намъ никакъ нельзя: мы отъ этихъ трехъ недѣль весь годъ бываемъ сыты.

Съ моею микстурою въ карманѣ и съ косою

на плечѣ, онъ пошелъ на свою полосу и косилъ рожь до вечера, а вечеромъ легъ на межу и умеръ отъ отека легкихъ.

Грубая, громадная и могучая жизнь непрерывно дѣлаетъ свою слѣзную, жестокою работу, а гдѣ-то далеко внизу, въ ея ногахъ, копошится бессильная медицина, устанавливая свои гигиеническія и терапевтическія „нормы“.

Вотъ—человѣческій организмъ, со всеѣмъ богатствомъ и разнообразіемъ его органовъ, требующихъ широкихъ и полныхъ отправленій. И какъ будто жизнь задалась спеціальною цѣлью посмотрѣть, что выйдетъ изъ этого организма, если ставить его въ самыя немыслимыя положенія и условія. Одни люди пускай все время стоятъ и ходятъ, не присаживаясь; и вотъ стопа ихъ становится плоскою, ноги опухаютъ, вены на голеняхъ растягиваются и обращаются въ незаживающія язвы. Другіе пускай все время сидятъ, не вставая; и спина ихъ искривляется, печень и легкія сдавливаются, прямая кишка усѣивается кровоточащими шишками. Саночники въ шахтахъ весь день непрерывно бѣгаютъ съ санками по просѣлкамъ на четверенькахъ; выдувальщики на стеклянныхъ заводахъ все время работаютъ одними легкими, обращая ихъ въ мѣхи... Нѣтъ такихъ самыхъ неестественныхъ движеній и положеній, въ которыхъ бы жизнь не заставляла людей проводить все ихъ время, нѣтъ такихъ ядовъ, которыми бы она не заставляла ихъ дышать, нѣтъ такихъ жизненныхъ условій, въ которыхъ бы она не заставляла ихъ жить.

Сейчасъ только я воротился отъ одной больной папиросницы; она живеть въ углу съ двумя ребятами. Низкая комната имѣеть семь шаговъ въ длину и шесть въ ширину. Въ этой комнатѣ живеть шестнадцать человѣкъ. Для меня составляетъ муку пробывать въ ней десять-пятнадцать минутъ: въ комнатѣ нѣтъ воздуха, нѣтъ въ буквальномъ смыслѣ,—лампа, какъ слѣдуетъ запрошенная и пущеная, чадить и коптитъ, не находя кислорода; иначе, какъ слабо, ее пускать нельзя; тяжелый и влажный, какъ будто липкій воздухъ полонъ кислотамъ запахомъ дѣтскихъ испражнений, махорки и керосина. И изъ всѣхъ угловъ на меня смотрять восковыя, странно-неподвижныя лица ребятъ съ кривыми зубами, куриною грудью и искривленными конечностями; въ ихъ большихъ глазахъ нѣтъ и слѣда той живости и веселости, которая „свойственна“ дѣтямъ.

Вообще, ставъ врачомъ, я совершенно потерялъ представленіе о томъ, что собственно свойственно человѣку. Свойственно ли уставшему человѣку хотѣть спать? Нѣтъ, не свойственно! Сестра милосердія, учительница, журнальный работникъ, утомленные и разбитые, не могутъ заснуть безъ бромистаго натра. Свойственно ли долго не ѣвшему человѣку хотѣть ѣсть?—Нѣтъ, не свойственно! Ему приходится прибѣгать, словно пресыщенному обжорѣ, къ искусственному возбужденію аппетита. Меня это поразило у большинства фабричныхъ рабочихъ и ремесленниковъ.

— Работаешь весь день,—машина стучить, полъ подъ тобою трясется, ходишь, какъ маятникъ.

Устанешь съ работы хуже собаки, а объ ѣдѣ и не думаешь. Все только квасъ бы пить. А отъ квасу какая сила? Животъ наливаешь себѣ, больше ничего. Одна водочка только и спасаетъ; выпьешь рюмочку,—ну, и ѣсть запросишь.

Я въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ веду пріемъ въ одной типографіи,—и за все это время я ни разу не видѣлъ наборщика-старика! Нѣтъ старости, нѣтъ сѣдыхъ волосъ,—сѣѣденные свинцовой пылью, люди всѣ сваливаются въ могилу раньше.

Жизнь продѣлываетъ надъ человѣкомъ свои опыты и, глумясь, предъявляетъ на наше изученіе получающіеся результаты. Мы изучаемъ и пріобрѣтаемъ очень ясное представленіе о томъ, какъ дѣйствуетъ на человѣка хроническое отравленіе свинцомъ, ртутью, фосфоромъ, какъ вліяетъ на ростъ дѣтей отсутствіе свѣта, воздуха и движенія; мы узнаемъ, что изъ ста прядильщиковъ сорокалѣтній возрастъ у насъ переходитъ только девять человѣкъ, что изъ женщинъ, занятыхъ при обработкѣ волокнистыхъ веществъ, долше сорока лѣтъ живетъ только шесть процентовъ... Узнаемъ мы также, что, вслѣдствіе непомѣрнаго труда, у крестьянокъ на всѣ лѣтніе мѣсяцы совершенно прекращается свойственная женщинамъ фізіологическая жизнь, что швеи и учащіяся дѣвушки въ нѣсколько лѣтъ вырождаются въ безкровныхъ, больныхъ уродовъ. И многое еще мы узнаемъ.

Но что же, что во всемъ этомъ можетъ помочь наша медицина? Какая цѣнаея жалкимъ средствамъ, которыми она пытается чинить то, что такъ глубоко уродуется жизнью?.. Великій человѣкъ ви-

ситъ на крестѣ, его руки и ноги пробиты гвоздямъ, а медицина обмываетъ кровавыя язвы арникой и кладетъ на нихъ ароматныя припарки.

Но ничего больше она и не въ состояніи дѣлать. Не можетъ существовать такой науки, которая бы научила залечивать язвы съ торчащими въ нихъ гвоздями; наука можетъ только указывать на то, что человѣчество такъ не можетъ жить, что необходимо прежде всего вырвать изъ язвъ гвозди. Въ двадцатыхъ годахъ, по изслѣдованіямъ Виллерме, у мюльгаузенскихъ ткачихъ половина дѣтей умирала, не доживъ до пятнадцати мѣсяцевъ. Виллерме уговорилъ фабриканта Дольфуса разрѣшить своимъ работницамъ оставаться послѣ родовъ дома въ теченіе шести недѣль, съ сохраненіемъ ихъ содержанія; и этого одного оказалось достаточнымъ, чтобы смертность грудныхъ дѣтей, безъ всякой помощи медицины, сразу уменьшилась вдвое.

Все яснѣе и неопровержимѣе для меня становилось одно: медицина не можетъ дѣлать ничего иного, какъ только указывать на тѣ условія, при которыхъ единственно-возможно здоровье и излеченіе людей; но врачъ,—если онъ врачъ, а не чиновникъ врачебнаго дѣла,—долженъ прежде всего бороться за устраненіе тѣхъ условій, которыя дѣлаютъ его дѣятельность безсмысленною и бесплодною; онъ долженъ быть общественнымъ дѣятелемъ въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, онъ долженъ не только указывать, онъ долженъ бороться и искать путей, какъ провести свои указанія въ жизнь.

И это тѣмъ болѣе необходимо, что время не ждетъ, и жизнь быстро влечетъ человѣчество въ какую-то зловѣщую бездну. Все больше увеличивается число „неуравновѣшенныхъ“, „отягченныхъ“ и алкоголиковъ, увеличивается число слѣпыхъ, глухихъ, заикъ. Лучшій показатель физическаго состоянія населенія, — процентъ годныхъ къ военной службѣ, — падаетъ всюду съ быстротою барометра передъ грозой; въ Австріи, напр., процентъ годныхъ къ военной службѣ составлялъ въ 1870 году — 26⁰/₀, въ 1875 г. — 18⁰/₀, въ 1880 — 14⁰/₀. Вѣдь это — вырожденіе, теченіе котораго можно почти осязать руками! И не фантазіей, а голой правдой дышитъ слѣдующее грозное предсказаніе одного изъ антропологовъ: „Идеаль гармоническаго и солидарнаго общественнаго строя можетъ не осуществиться вслѣдствіе человѣческаго вырожденія. Тогда появится централизованный феодально-промышленный строй, въ которомъ народнымъ массамъ будетъ отведена въ нѣсколько измѣненномъ видѣ роль спартанскихъ плотовъ, органически приспособленныхъ, вслѣдствіе своего вырожденія, къ такому положенію вещей“.

XIV.

Но вотъ, я представляю себѣ, что общественныя условія въ корнѣ измѣнились. Каждый человѣкъ имѣетъ возможность исполнять всѣ предписанія гигиены, каждому заболѣвшему мы въ состояніи предоставить все, чего только можетъ потребовать врачебная наука. Будетъ ли, по край-

ней мѣрѣ, тогда наша работа несомнѣнно плодотворна и свободна отъ противорѣчій?

Ужъ и теперь среди антропологовъ и врачей все чаще раздаются голоса, указывающіе на страшную односторонность медицины и на ея весьма сомнительную пользу для человѣчества. „Медицина, конечно, помогаетъ недѣлимому, но она помогаетъ ему лишь насчетъ вида“... Природа расточительна и неаккуратна: она выбрасываетъ на свѣтъ много существъ и не слишкомъ заботится о совершенствѣ каждаго изъ нихъ; отбирать и уничтожать все неудавшееся она предоставляетъ безпощадной жизни. И вотъ является медицина и всѣ силы свои кладетъ на то, чтобъ помѣшать этому дѣлу жизни.

У роженицы узкій тазъ, она не можетъ родиться; и она сама, и ребенокъ должны погибнуть; медицина спасаетъ мать и ребенка, и такимъ образомъ даетъ возможность размножаться людямъ съ узкимъ, негоднымъ для дѣторожденія тазомъ. Чѣмъ сильнѣе дѣтская смертность, съ которою такъ энергично борется медицина, тѣмъ вѣрнѣе очищается поколѣніе отъ всѣхъ слабыхъ и болѣзненныхъ организмовъ. Сифилитики, туберкулезные, психическіе и нервныя больныя, излеченныя стараніями медицины, размножаются и даютъ хилое и нервное, вырождающееся потомство. Всѣ эти спасенныя, но слабыя до самыхъ своихъ нѣдръ, мѣшаются и скрещиваются со здоровыми и такимъ образомъ вызываютъ быстрое общее ухудшеніе расы. И чѣмъ больше будетъ преуспѣвать медицина, тѣмъ дальше будетъ идти это ухудшеніе. Дарвинъ передъ смертью не безъ

основанія высказалъ Уоллесу весьма безнадежный взглядъ на будущее человѣчества, въ виду того, что въ современной цивилизаціи нѣтъ мѣста естественному отбору и переживанію наиболѣе способныхъ.

Этотъ призракъ всеобщаго вырожденія слишкомъ рѣзко бросается всѣмъ въ глаза, чтобъ не заставлялъ глубоко задумываться надъ нимъ. И надъ нимъ задумываются, и для его предотвращенія измышляются очень широкіе реформаторскіе проекты: предлагаютъ искоренить въ человѣческомъ обществѣ всякую „филантропію“ и превратить человѣчество въ заводскую конюшню подъ верховнымъ управленіемъ врачей-антропотехниковъ. Въ кабинетахъ измышляютъ такіе проекты очень не трудно: „счастье человѣчества“ здѣсь такъ величественно и реально, а живыя недѣлимья, запятанныя въ нѣмья цифры, такъ легко поддаются сложенію и вычитанію! Но вѣдь въ жизни-то, пожалуй, ничего, въ концѣ концовъ, и не существуетъ, кромѣ сознающаго себя существа, и каждое изъ этихъ существъ есть центръ всего и все. Къ чести человѣчества, оно все сильнѣе проявляетъ стремленіе ломать стѣны и существующихъ уже конюшенъ, а не влѣзаетъ еще въ новыя... И тѣмъ не менѣе фактъ все-таки остается фактомъ: естественный отборъ все больше прекращаетъ свое дѣйствіе, медицина все больше способствуетъ этому, а взамѣнъ не даетъ ничего, хоть сколько-нибудь замѣняющее его.

А между тѣмъ исчезновеніе отбора сказывается вовсе не въ однихъ только указанныхъ гру-

быхъ результатахъ. Послѣдствія этого исчезно-
венія идутъ гораздо дальше и глубже.

Долгимъ и труднымъ путемъ выработался типъ
нынѣшняго человѣка, болѣе или менѣе приспособ-
ленного къ окружающей средѣ. Сама среда не
остается неподвижною, съ теченіемъ времени она
все сильнѣе и быстрѣе измѣняется въ самыхъ
своихъ основахъ; но организмъ человѣка ужъ пере-
стаетъ за нею слѣдовать, и перестаетъ какъ разъ
въ смыслѣ приобрѣтенія новыхъ положительныхъ
качествъ. Въ прежнее время зубы были нужны
человѣку для разгрызанія, разрыванія и переже-
выванія твердой, жесткой пищи, имѣвшей умѣ-
ренную температуру. Теперь человѣкъ ѣстъ пищу
мягкую, очень горячую и очень холодную; для та-
кой пищи нужны какіе-то совершенно другіе зубы,
прежніе для нея не годятся. За это говоритъ то
ужасающее количество гнилыхъ зубовъ, которое
мы находимъ у культурныхъ народовъ. Дикія пле-
мена, стояція внѣ всякой культуры, имѣютъ сильно
развитыя челюсти и крѣпкіе, здоровые зубы; у
народовъ полунцилизированныхъ число людей съ
гнилыми зубами колеблется между 5—25%, тогда
какъ у народовъ высшей культуры костоѣдою зу-
бовъ поражено болѣе 80% ¹⁾). Что это такое? Жи-

1) Изслѣдованіе зубовъ, произведенное у воспитаницъ
школы Имн. Человѣколюбиваго Общества, показываетъ, съ
какою стремительною быстротою усиливается съ возрастомъ
разрушеніе зубовъ. Воспитанницы были раздѣлены на три
группы по возрасту: отъ 8 до 12 лѣтъ, отъ 12 до 16 и отъ
16 до 20. Въ первой группѣ гнилые зубы имѣло 79% воспи-
танницъ, въ среднемъ каждая по три испорченныхъ зуба;

вой органъ, гниющій и распадающійся у живого человѣка! И это не какъ исключеніе, а какъ правило съ очень незначительными исключеніями. Одно изъ двухъ: либо человѣкъ долженъ воротиться къ прежней пищѣ, либо выработать себѣ новые зубы. Но что дѣлаетъ медицина? Она чиститъ, пломбируетъ и всячески поддерживаетъ различные зубы, портящіеся потому, что они *не могутъ* не портиться.

Глазъ раньше былъ нуженъ человѣку преимущественно для смотрѣнія вдаль и совершенно удовлетворялъ своему назначенію. Условія измѣнились, къ глазу предъявляется требованіе большей работы вблизи; долженъ выработаться новый глазъ, одинаково годный и для смотрѣнія вдаль, и для длительной аккомодациі вблизи. Но медицина услужливо подставляетъ близорукому глазу очки и такимъ образомъ негодный для новыхъ условій глазъ чисто внѣшними средствами дѣлаетъ годнымъ; число близорукихъ увеличивается съ каждымъ десятилѣтіемъ, и остается лишь утѣшаться мыслью, что стекла, слава Богу, хватитъ на очки для всѣхъ.

Положительныхъ свойствъ, нужныхъ для измѣнившихся условій среды, человѣческой организмъ не приобретаетъ; зато онъ обнаруживаетъ большую склонность терять уже имѣющіяся у него положительныя свойства. Медицина, стремясь

во второй—87% съ 4,5 испорченныхъ зуба на каждую; въ третьей группѣ—92%, и каждая имѣла въ среднемъ по 5,9 испорченныхъ зуба.

къ своимъ цѣлямъ, и въ этомъ отношеніи грозитъ оказать человѣчеству очень плохую услугу.

Въ чемъ ставитъ себѣ медицина идеаль? Въ томъ, чтобы каждую болѣзнь убить въ организмѣ при самомъ ея зарожденіи или, еще лучше, совсѣмъ не допустить ее до человѣка. Хирургія, напримѣръ, настойчиво требуетъ, чтобы каждая рана, каждый, даже самый ничтожный порѣзъ немедленно подвергался тщательному обеззараживанію. Для каждаго отдѣльнаго случая это очень цѣлесообразно, но вѣдь такимъ образомъ организмъ совершенно отучится самостоятельно бороться съ зараженіемъ! Ужъ и для настоящаго времени безчисленными наблюдателями установленъ фактъ, что дикари безъ всякаго леченія легко оправляются отъ такихъ ранъ, отъ которыхъ европейцы погибаютъ при самомъ тщательномъ уходѣ.

Взять, далѣе, вообще заразные болѣзни. По отношенію къ тѣмъ изъ нихъ, которыя обычны въ данной мѣстности и данномъ народѣ, человѣческій организмъ оказывается несравненно болѣе стойкимъ, чѣмъ по отношенію къ болѣзнямъ, дотолѣ невѣдомымъ. Скарлатина среди дикарей сразу уноситъ въ могилу половину населенія. Въ Полинезій много туземцевъ истреблено оружіемъ, но еще болѣе—„бѣлою болѣзнью“ (чахоткою).

— Кто убилъ твоего отца? Кто убилъ твою мать?

— Бѣлая болѣзнь!

Полинезійская женщина, вступающая въ связь съ бѣлымъ, всегда падаетъ жертвою чахотки; мало

того, она заражаетъ своихъ любовниковъ изъ туземцевъ. Если австралиецъ проведетъ нѣсколько дней въ европейскомъ городкѣ Новой Голландіи, то заражается чахоткою (Крживицкій). На европейцевъ, въ свою очередь, такъ же губительно дѣйствуетъ малярія, желтая лихорадка, тропическая дизентерія. Что же выйдетъ, если каждая заразная болѣзнь будетъ медициною уничтожаться въ самомъ зародышѣ? Каждая изъ нихъ станетъ для человѣка совершенно чуждою и безъ охраны медицины будетъ убивать его почти навѣрняка.

И вотъ, какъ результатъ такого положенія дѣлъ,—полная зависимость людей отъ медицины, безъ которой они не будутъ въ состояніи сдѣлать ни шагу. Недавно въ одной статьѣ о задачахъ медицины въ будущемъ я встрѣтилъ слѣдующія разсужденія: „Оградить организмъ отъ той разнообразной массы ядовъ, которые непрерывно въ него вносятся микробами. можно бы лишь тогда, когда бы былъ открытъ одинъ общій антитоксинъ для ядовъ, выдѣляемыхъ всѣми видами микробовъ. При такихъ условіяхъ мы могли бы ежедневно вводить въ организмъ определенное количество противояднаго начала и тѣмъ предупреждать вредное вліяніе ядовъ, ежедневно вносимыхъ микробами. Но въ настоящее время нѣтъ, къ сожалѣнію, ни малѣйшихъ основаній къ такого рода *розовымъ надеждамъ*“...

Но вѣдь это же ужасно! Каждый день, вставая, впрыскивай себѣ подъ кожу порцію универсальнаго антитоксина; а забылъ сдѣлать это,—погибай,

потому что съ отвыкшимъ отъ самодѣтельности организмомъ легко справится первая шальная бактерія.

Гигіена рекомендуетъ не ставить въ спальнѣ кровати между окномъ и печкою; спящій человекъ будетъ въ такомъ случаѣ находиться въ токѣ воздуха, идущемъ отъ холодныхъ стеколъ окна къ нагрѣтой печкѣ, а это можетъ повести къ простудѣ. Та же гигиена совѣтуетъ не производить зимою усиленной работы на холодномъ воздухѣ, такъ какъ при глубокихъ вдыханіяхъ сильно охлаждаются легкія, что также можетъ вызвать простуду. Но почему же не простуживается галка, спящая подъ холоднымъ осеннимъ вѣтромъ, почему не простуживается олень, бѣшено мчащійся по тундрѣ при тридцати градусахъ мороза? Простуживавшіеся олени и галки погибали и такимъ образомъ очистили свои виды отъ неприспособленныхъ особей, а мы не имѣемъ права обрекать слабыхъ людей въ жертву отбору. Совершенно вѣрно. Но въ томъ-то и задача медицины, чтобъ сдѣлать этихъ слабыхъ людей сильными; она же вмѣсто того и сильныхъ дѣлаетъ слабыми и стремится всѣхъ людей превратить въ жалкія, безпомощныя существа, ходящія у медицины на помочахъ.

Къ великому счастью, въ наукѣ пачинаютъ за послѣднее время намѣчаться новыя пути, которые обѣщаютъ въ будущемъ очень много отраднago. Въ этомъ отношеніи особеннаго интереса заслуживаютъ опыты искусственной иммунизации человека. Еще не вполне доказано, но очень вѣроятно, что суть ея дѣйствія заключается въ упраж-

неніи и пріученіи силъ организма къ самостоятельной борьбѣ съ врывающимися въ него микробами и ядами. Если это дѣйствительно такъ, то мы имѣемъ здѣсь дѣло съ громаднымъ переворотомъ въ самыхъ основахъ медицины: вмѣсто того, чтобъ спѣшить выгнать изъ него ужъ внѣдрившуюся болѣзнь, медицина будетъ дѣлать изъ чловѣка борца, который самъ сумѣетъ справляться съ грозящими ему опасностями. Вотъ, между прочимъ, примѣръ, какимъ образомъ медицина безъ всякихъ жертвъ можетъ вести культурнаго чловѣка къ тому, къ чему естественный отборъ приводитъ дикарей съ громадными жертвами.

Чего нѣтъ сегодня, будетъ завтра; наука хранить въ себѣ много непроявленной и ею же самою еще непознанной силы; и мы въ правѣ ждать, что наука будущаго найдетъ еще не одинъ способъ, которымъ она сумѣетъ достигать того же, что въ природѣ достигается естественнымъ отборомъ,—но достигать путемъ полного согласованія интересовъ недѣлимаго и вида.

Насколько ей это удастся и до какихъ предѣловъ,—мы не можемъ предугадывать. Но задачъ передъ этою истинною антропотехникою стоитъ очень много,—задачъ широкихъ и трудныхъ, можетъ быть неразрѣшимыхъ, но тѣмъ не менѣе настоятельно требующихъ разрѣшенія.

„Все совершенно, выходя изъ рукъ природы“. Это утвержденіе Руссо уже давно и безповоротно опровергнуто, между прочимъ и относительно чловѣка. Человѣкъ застигнутъ настоящимъ временемъ въ опредѣленной стадіи своей эволюціи, съ

массою всевозможныхъ недостатковъ, недоразвитіи и пережитковъ: онъ какъ бы выхвачепъ изъ лабораторіи природы въ самый разгаръ процесса своей формировки, недодѣланнымъ и незавершеннымъ. Такъ, напр., толстая кишка начинается у насъ короткою „слѣпою кишкою“; когда-то, у нашихъ зоологическихъ предковъ, она представляла собою большой и необходимый для жизни органъ, какъ у теперешнихъ травоядныхъ животныхъ. Въ настоящее время этотъ органъ намъ совершенно ненуженъ; но онъ не исчезъ, а переродился въ длинный, узкій червевидный отростокъ, висящій въ видѣ придатка на слѣпой кишкѣ. Онъ не только не нуженъ, — онъ для насъ вреденъ: идущія въ пищевой кашицѣ сѣмечки и косточки легко застрѣваютъ въ немъ и вызываютъ тяжелое, часто смертельное для человѣка воспаленіе червевиднаго отростка.

Далѣе, органы человѣка и ихъ размѣщеніе до сихъ поръ еще не приспособились къ вертикальному положенію человѣка. Нужно себѣ ясно представить, какъ рѣзко при такомъ положеніи должны были измѣниться направленіе и сила давленія на различные органы, и тогда легко будетъ понять, что приспособиться къ своему новому положенію органамъ вовсе не такъ легко. Не перечисляя всѣхъ обусловленныхъ этимъ несовершенствъ, укажу на одно изъ самыхъ существенныхъ: безъ малаго половину всѣхъ женскихъ болѣзней составляютъ различнаго рода смѣщенія матки; между тѣмъ многія изъ этихъ смѣщеній совсѣмъ не имѣли бы мѣста, а происшедшія изле-

чивались бы значительно легче, если бы женщины ходили на четверенькахъ; даже въ качествѣ временной мѣры, предложенное Маріонъ-Симсомъ „колѣнно-локтевое“ положеніе женщины играетъ въ гинекологіи и акушерствѣ незамѣнимую роль; нѣкоторые гинекологи признають открытіе Маріонъ-Симса даже „поворотнымъ пунктомъ въ исторіи гинекологіи“.

Переходя специально къ женщинѣ, мы видимъ въ ея организмѣ массу такихъ тяжелыхъ фізіологическихъ противорѣчій и несовершенствъ, что умъ положительно отказывается признать ихъ за „нормальныя“ и законныя. Ужасно и въ то же время совершенно справедливо, когда женщину опредѣляютъ, какъ „животное, по самой своей природѣ слабое и больное, пользующееся только свѣтлыми промежутками здоровья на фонѣ непрерывной болѣзни.“ Самая здоровая женщина,—это доказано очень точными наблюденіями,—периодически несомнѣнно больна. И невозможно на такую ненормальность смотрѣть иначе, какъ на переходную стадію къ другому, болѣе совершенному состоянію. То же самое и съ материнствомъ: женщина все больше перестаетъ быть самкою, и въ этомъ нѣтъ ничего „противуестественнаго“, потому что у нея есть мозгъ съ его могучими и широкими запросами. Между тѣмъ, не ломая всей своей природы, она не можетъ отказаться отъ любви и непрерывнаго материнства, всасывающихъ въ себя всѣ силы женщины за все время ихъ расцвѣта. Два требованія, одинаково сильныхъ и законныхъ, сталкиваются, и выхода при теперешней организаціи нѣтъ.

Мечниковъ указаль на еще одно кричащее противорѣчіе въ человѣческомъ организмѣ,—именно, въ области полового чувства. Ребенокъ еще совершенно неприспособленъ для размноженія, а между тѣмъ половое чувство у него настолько обособлено, что онъ получаетъ возможность злоупотреблять имъ. У дѣвушки ростъ тазовыхъ костей, по окончаніи котораго она становится способною къ материнству, заканчивается лишь къ двадцати годамъ ¹⁾, тогда какъ половая зрѣлость наступаетъ у нея въ шестнадцать лѣтъ. Что получается? Три момента, которые по самой сути своей необходимо должны совпадать,—половое стремленіе, половое удовлетвореніе и размноженіе,—отдѣляются другъ отъ друга промежутками въ нѣсколько лѣтъ. Дѣвочка способна десяти лѣтъ стремиться стать женою, стать женою она способна только въ шестнадцать лѣтъ, а стать матерью—не раньше двадцати!

„Замѣчательно также,—говоритъ Мечниковъ,—что такія извращенія природныхъ инстинктовъ, какъ самоубійство, дѣтоубійство и т. п., — т. е. именно такъ называемыя „неестественныя“ дѣйствія, составляютъ одну изъ самыхъ характерныхъ особенностей человѣка. Не указываетъ ли это на то, что эти дѣйствія сами входятъ въ составъ нашей природы, и потому заслуживаютъ очень серьезнаго вниманія? Можно утверждать что видъ *Homo sapiens* принадлежитъ къ числу видовъ, еще не

¹⁾ Это указаніе Мечникова вполне подтверждается статистикою: по Бертильону, смертность дѣвушекъ въ возрастѣ отъ 15 до 20 лѣтъ составляетъ 7%, а женщинъ въ томъ же возрастѣ—50%.

вполнѣ установившихся и неполно приспособленных къ условіямъ существованія“.

Особенно ярко эта неприспособленность человека къ условіямъ существованія сказывается въ несоразмѣрной слабости его нервной системы. Человекъ въ этомъ отношеніи страшно отсталъ отъ жизни. Жизнь требуетъ отъ него все больше нервной энергій, все больше умственныхъ затратъ; нервы его неспособны на такую интенсивную работу, — и вотъ человекъ прибѣгаетъ къ возбуждителямъ, чтобъ искусственно поднять свою нервную энергію. Моралисты могутъ за это стыдить человека, медицина можетъ указывать на „противуестественность“ введенія въ организмъ такихъ ядовъ, какъ никотинъ, теинъ, алкоголь и т. п. Но противуестественность — понятіе растяжимое. Сами по себѣ многіе изъ возбуждителей, — какъ табакъ, водка, пиво, — на вкусъ отвратительны, дѣйствіе всѣхъ ихъ на непривычнаго человека ужасно; почему же каждый изъ этихъ возбуждителей такъ быстро и побѣдно распространяется изъ своей родины по всему міру и такъ легко побѣждаетъ „естественную“ природу человека? Противуестественна организація человека, отставшая отъ измѣнившихся жизненныхъ условій, противуестественно то, что человекъ принужденъ на сторонѣ черпать силу, источникъ которой онъ долженъ бы носить въ самомъ себѣ.

Такъ или иначе, раньше или позже, но человеческому организму необходимо установиться и выработать нормальное соотношеніе между своими стремленіями и отправленіями. Это не можетъ не

стать высшею и насущнѣйшею задачею науки, потому что въ этомъ—коренное условіе человѣческаго счастья. Долженъ же когда-нибудь кончиться этотъ вѣчный насадь, эта вѣчная ломка себя во всѣхъ направленіяхъ, должно же человѣчество зажить, наконецъ, вольно, всею широтою своихъ потребностей, потерявъ самое представленіе о возможности такой нелѣпости, какъ „противуестественная потребность“.

XV.

Человѣческій организмъ долженъ, наконецъ, установиться и вполне приспособиться къ условіямъ существованія. Но въ какомъ направленіи пойдетъ само это приспособленіе? Ястребъ, съ головокружительной высоты различающій глазомъ припикшаго къ землѣ жаворонка, приспособленъ къ условіямъ существованія; но приспособленъ къ нимъ и роющійся въ землѣ слѣпой кротъ. Къ чему же предстоитъ приспособляться человѣку,—къ свободѣ ястреба или къ рабству крота? Предстоитъ ли ему улучшать и совершенствовать имѣющіяся у него свойства или терять ихъ?

Силою своего разума человѣкъ все больше сбрасываетъ съ себя иго внѣшней природы, становится все болѣе независимымъ отъ нея и все болѣе сильнымъ въ борьбѣ съ нею. Онъ спасается отъ холода посредствомъ одежды и жилища, тяжелую пищу, доставляемую природою, превращаетъ въ легко-усвояемую, свои собственныя мышцы замѣняетъ крѣпкими мышцами животныхъ, могу-

чими силами пара и электричества. Культура быстро улучшает и совершенствует нашу жизнь и даетъ намъ такія условія существованія, о которыхъ подъ властью природы нельзя и мечтать. Та же культура въ самомъ своемъ развитіи несетъ залогъ того, что ея удобства, доступныя теперь лишь счастливымъ, въ недалекомъ будущемъ станутъ достояніемъ всѣхъ.

Господству внѣшней природы надъ человѣкомъ приходитъ конецъ... Но такъ ли ужъ беззавѣтно можно этому радоваться? Культура подхватила насъ на свои мягкія волны и несетъ впередъ, не давая оглядываться по сторонамъ; мы отдаемся этимъ волнамъ и не замѣчаемъ, какъ теряемъ въ нихъ одно за другимъ всѣ имѣющіяся у насъ богатства; мы не только не замѣчаемъ,—мы не хотимъ этого замѣчать: все наше вниманіе устремлено исключительно на наше самое цѣнное богатство—разумъ, влекущій насъ впередъ, въ свѣтлое царство культуры. Но когда подведешь итогъ тому, что нами уже потеряно и что мы съ такимъ легкимъ сердцемъ собираемся утратить, становится жутко, и въ далекомъ свѣтломъ царствѣ начинается мерещиться темный призракъ новаго рабства человѣка.

Измѣренія проф. Грубера показали, что длина кишечнаго канала у европейцевъ значительно увеличивается по направленію съ юго-запада на сѣверо-востокъ. Наибольшая длина кишечника встрѣчается въ сѣверной Германіи и особенно въ Россіи. Это объясняется тѣмъ, что сѣверо-восточные европейцы питаются менѣе удобоваримою пи-

щю, чѣмъ юго-западные. Такого рода наблюденія даютъ физиологамъ поводъ къ „розовымъ надеждамъ“ о постепенномъ тѣлесномъ перерожденіи и „совершенствованіи“ человѣка подѣ влияніемъ раціональнаго питанія. Питаясь въ теченіе многихъ поколѣній такими концентрированными химическими составами, которые бы переходили въ кровь полностью и безъ предварительной обработки пищеварительными жидкостями, человѣческой организмъ могъ бы освободиться въ значительной степени отъ излишней ноши пищеварительныхъ органовъ, причѣмъ сбереженія въ строительномъ матеріалѣ и въ матеріалѣ на поддержаніе ихъ жизнедѣятельности могли бы идти на усиленіе болѣе благородныхъ высшихъ органовъ (Сѣченовъ).

Ради этихъ же „благородныхъ высшихъ органовъ“ ставится идеаломъ человѣческой организаціи вообще сведеніе до нуля всего растительнаго аппарата человѣческаго тѣла. Спенсеръ идетъ еще дальше и привѣтствуетъ исчезновеніе у культурныхъ людей такихъ присущихъ дикарямъ свойствъ, какъ тонкость внѣшнихъ чувствъ, живость наблюденія, искусное употребленіе оружія и т. п. „Въ силу общаго антагонизма между дѣятельностями болѣе простыхъ и болѣе сложныхъ способностей, слѣдуетъ,—увѣряетъ онъ,—что это преобладаніе низшей умственной жизни мѣшаетъ высшей умственной жизни. Чѣмъ болѣе душевной энергіи тратится на безпокойное и многочисленное воспріятіе, тѣмъ менѣе остается на спокойную и разсудительную мысль“.

Культурная жизнь успѣшно и энергично идетъ

навстрѣчу подобнымъ идеаламъ. Органъ обонянiя принялъ у насъ ужъ совершенно зачаточный видъ: сильно ослабѣла способность кожныхъ нервовъ реагировать на температурныя колебанiя и регулировать теплообразованiе организма: атрофируется железистая ткань женской груди; замѣчается значительное паденiе половой силы; кости становятся болѣе тонкими, первое и два послѣднихъ ребра выказываютъ наклонность къ исчезновенiю; зубъ мудрости превратился въ зачаточный органъ и у 42⁰/₁₀ европейцевъ совсѣмъ отсутствуетъ; предсказываютъ, что послѣ исчезновенiя зубовъ мудрости за ними послѣдуютъ смежныя съ ними четвертые коренныя зубы; кишечникъ укорачивается; число плѣшивыхъ увеличивается...

Когда я читаю о дикаряхъ, объ ихъ выносливости, о тонкости ихъ внѣшнихъ чувствъ, меня охватываетъ тяжелая зависть, и я не могу примириться съ мыслью,—неужели, дѣйствительно, необходимо и неизбѣжно было потерять намъ все это? Гвiанецъ скажетъ, сколько мужчинъ, женщинъ и дѣтей прошло тамъ, гдѣ европеецъ можетъ видѣть только слабыя и перепутанные слѣды на тропикѣ. Когда къ таитянамъ прiѣхалъ натуралистъ Коммерсонъ съ своимъ слугою, таитяне повели носами, обнюхали слугу и объявили, что онъ—не мужчина, а женщина; это, дѣйствительно, была возлюбленная Коммерсона, Жанна Барэ, сопровождавшая его въ его кругосвѣтномъ плаванiи въ костюмѣ слуги-мужчины. Бушменъ въ теченiе нѣсколькихъ дней способенъ ничего не ѣсть, онъ способенъ, съ другой стороны, находить себѣ пищу

тамъ, гдѣ европеецъ умеръ бы съ голоду. Бедуинъ въ пустынѣ подкрѣпляетъ свои силы въ теченіе дня двумя глотками воды и двумя горстями жареной муки съ молокомъ. Въ то время, когда другіе дрожать отъ холода, арабъ спитъ босой въ открытой палаткѣ, а въ полуденный зной онъ спокойно дремлетъ на раскаленномъ пескѣ подъ лучами солнца. На Огненной Землѣ Дарвинъ видѣлъ съ корабля женщину, кормившую грудью ребенка: она подошла къ судну и оставалась на мѣстѣ единственно изъ любопытства, а между тѣмъ мокрый снѣгъ, падая, таялъ на ея голой груди и на тѣлѣ ея голаго малютки. На той же Огненной Землѣ Дарвинъ и его спутники, хорошо укутанные, жались къ пылавшему костру и все-таки зябли, а голые дикари, сидя поодаль отъ костра, обливались потомъ. Якуты за свою выносливость къ холоду прозваны „желѣзными людьми“, дѣти эскимосовъ и чукчей выходятъ нагя изъ теплой избы на 30-ти-градусный морозъ...

Вѣдь для насъ всѣ эти люди—существа съ совершенно другой планеты, съ которыми у насъ ничего нѣтъ общаго, даже въ самомъ понятіи о здоровьѣ. Нашъ культурный человѣкъ пройдетъ босикомъ по росистой травѣ,—и простудится, проспитъ ночь на голой землѣ,—и калѣка на всю жизнь, пройдетъ пѣшкомъ пятнадцать верстъ,—и получить синовить. И при всемъ этомъ мы считаемъ себя здоровыми! Подъ перчатками скоро и руки станутъ у насъ столь же чувствительными къ холоду, какъ ноги, и „промочить руки“ будетъ значить то же, что теперь—„промочить ноги“.

И Богъ вѣсть, что еще ждетъ насъ въ будущемъ, какіе дары и удобства готовить намъ растущая культура! Какъ „нераціональною“ будетъ для насъ обыкновенная пища, такъ „нераціональнымъ“ станетъ и обыкновенный воздухъ: онъ будетъ слишкомъ рѣдокъ и грязенъ для нашихъ маленькихъ, нѣжныхъ легкихъ; и человѣкъ будетъ носить при себѣ аппаратъ съ сгущеннымъ чистымъ кислородомъ и дышать имъ черезъ трубочку; а испортился вдругъ аппаратъ, и человѣкъ на вольномъ воздухѣ будетъ, какъ рыба, погибать отъ задушенія. Глазъ человѣка, благодаря усовершенствованнымъ стекламъ, будетъ различать комара за десять верстъ, будетъ видѣть сквозь стѣны и землю, а самъ превратится, подобно обонятельной части теперешняго носа, въ зачаточный, воспаленный органъ, который ежедневно нужно будетъ спринцевать, чистить и промывать. Мы и въ настоящее время живемъ въ непрерывномъ опьянѣніи; со временемъ вино, табакъ, чай окажутся слишкомъ слабыми возбуждителями, и человѣчество перейдетъ къ новымъ, болѣе сильнымъ ядамъ. Оплодотвореніе будетъ производиться искусственнымъ путемъ, оно будетъ слишкомъ тяжело для человѣка, а любовное чувство будетъ удовлетворяться сладострастными объятіями и раздраженіями безъ всякой „грязи“, какъ это рисуетъ Гюисмансъ въ „Là-bas“. А можетъ быть, дѣло пойдетъ и еще дальше. Проф. Эйленбургъ цитируетъ одного изъ новѣйшихъ нѣмецкихъ писателей, Германа Бара, мечтающаго о „внѣполовомъ сладострастіи“ и о „замѣнѣ низкихъ

эротических органовъ болѣе утонченными нервами“. По мнѣнію Бара, двадцатому вѣку предстоитъ сдѣлать „великое открытіе третьяго пола между мужчиной и женщиной, не нуждающагося болѣе въ мужскихъ и женскихъ инструментахъ, такъ какъ этотъ полъ соединяетъ въ своемъ мозгу (!) всѣ способности разрозненныхъ половъ и послѣ долгаго искуса *научился замѣщать дѣйствительное кажущимся*“.

Вотъ онъ, этотъ идеальный мозгъ, освободившійся отъ всѣхъ растительныхъ и животныхъ функций организма! Уэльсъ въ своемъ знаменитомъ романѣ „Борьба міровъ“ слишкомъ блѣдными красками нарисовалъ образъ марсіанина. Въ дѣйствительности онъ гораздо могучѣе, безпомощнѣе и отвратительнѣе, чѣмъ въ изображеніи Уэльса.

Наука не можетъ не видѣть, какъ регрессируетъ съ культурою великолѣпный образъ чело-вѣка, создавшійся путемъ такого долгаго и труднаго развитія. Но она утѣшается мыслью, что иначе чело-вѣкъ не могъ бы развить до надлежащей высоты своего разума. Спенсеръ, какъ мы видѣли, даже доволенъ тѣмъ, что этотъ разумъ становится полу-слѣпымъ, полу-глухимъ и лишается возможности развлекаться „безпокойными воспріятіями“. А вотъ что говоритъ извѣстный сравнительно-анатомъ Видерсгеймъ: „Развивъ свой мозгъ, чело-вѣкъ совершенно возмѣстилъ потерю большого и длиннаго ряда выгодныхъ приспособленій своего организма. Они должны были быть принесены въ жертву, чтобъ мозгъ могъ успешно

развиться и превратить человѣка въ то, что онъ есть теперь,—въ *Homo sapiens*“.

Но вѣдь это нужно еще доказать! Нужно доказать, что указанные жертвы мозгу дѣйствительно должны были приноситься и, главное, должны приноситься и впредь. Если до сихъ поръ мозгъ развивался, поѣдая тѣло, то это еще не значитъ, что иначе онъ и не можетъ развиваться.

Къ тѣмъ потерямъ, съ которыми мы уже свыклись, мы относимся съ большимъ равнодушіемъ: что же изъ того, что мы въ состояніи ѣсть лишь удобоваримую, мягкую пищу, что мы кутаемъ свои нѣжныя и зябкія тѣла въ одежды, боимся простуды, носимъ очки, чистимъ зубы и полощемъ ротъ отъ дурного запаха? Кишечный каналъ человѣка длиннѣе его тѣла въ шесть разъ; что же было бы хорошаго, если бы онъ, какъ у овцы, былъ длиннѣе тѣла въ двадцать восемь разъ, чтобъ у человѣка, какъ у жвачныхъ, вмѣсто одного желудка было четыре? Въ концѣ концовъ „*der Mensch ist, was er isst*“, — человѣкъ есть то, что онъ ѣсть“. И нѣтъ для человѣка ничего радостнаго превратиться въ вялое жвачное животное, вся энергія котораго уходитъ на перевариваніе пищи. Если человѣкъ скинетъ съ себя одежды, организму также придется тратить громадныя запасы своей энергіи на усиленное теплообразованіе, и совсѣмъ нѣтъ основаній завидовать какой-нибудь ледниковой блохѣ, живущей и размножающейся на льду.

Противъ этого возражать нечего. Конечно, во все нежелательно, чтобъ человѣкъ превратился

въ жвачное животное или ледниковую блоху. Но неужели отсюда слѣдуетъ, что онъ долженъ превратиться въ живой препаратъ мозга, способный существовать только въ герметически-закупоренной стеклянкѣ? Культурный человѣкъ равнодушно нацѣпляеть себѣ на носъ очки, теряетъ мускулы и отказывается отъ всякой „тяжелой“ пищи; но не ужасаетъ ли и его перспектива ходить всюду съ флакономъ сгущеннаго кислорода, кутать въ комнатахъ руки и лицо, вставлять въ носъ обязательныя пластинки и въ уши—слуховыя трубки?

Все дѣло лишь въ одномъ: принимая выгоды культуры, нельзя разрывать самой тѣсной связи съ природой: развивая въ своемъ организмѣ новыя положительныя свойства, даваемые намъ условіями культурнаго существованія, необходимо въ то же время сохранить наши старыя положительныя свойства; они добыты слишкомъ тяжелою цѣною, а утратить ихъ слишкомъ легко. Пусть все больше развивается мозгъ, но пусть же при этомъ унасъ будутъ крѣпкія мышцы, изоощренныя органы чувствъ, ловкое и закаленное тѣло, дающее возможность дѣйствительно жить съ природою одною жизнью, а не только отдыхать на ея лонѣ въ качествѣ избѣженнаго дачника. Лишь широкая и разносторонняя жизнь тѣла во всемъ разнообразіи его отправленій, во всемъ разнообразіи воспріятій, доставляемыхъ имъ мозгу, сможетъ дать широкую и энергичную жизнь и самому мозгу.

„Тѣло есть великій разумъ, это—множественность, объединенная однимъ сознаниемъ. Лишь орудіемъ твоего тѣла является и малый твой разумъ, твой

„умъ“, какъ ты его называешь, о, братъ мой, — оны лишь простое орудіе, лишь игрушка твоего великаго разума“.

Такъ говорилъ Заратустра, обращаясь къ „презирающимъ тѣло“... Чѣмъ больше знакомишься съ душою человѣка, именуемаго „интеллигентомъ“, тѣмъ менѣе привлекательнымъ и удовлетворяющимъ является этотъ малый разумъ, отрехшійся отъ своего великаго разума.

А между тѣмъ несомнѣнно, что ходомъ общественнаго развитія этотъ послѣдній все больше обрекается на уничтоженіе, и, по крайней мѣрѣ въ близкомъ будущемъ, не предвидится условій для его процвѣтанія. Носителемъ и залогомъ общественнаго освобожденія человѣка является крупный городъ; реальныя основанія имѣютъ за собою единственно лишь мечтанія о будущемъ въ духѣ Беллами. Будущее же это, такое радостное въ общественномъ отношеніи, въ отношеніи къ жизни самаго организма безнадежно-мрачно и скудно: ненужность физическаго труда, тѣлесное барство, жиръ вмѣсто мускуловъ, жизнь ненаблюдательная и близорукая, безъ природы, безъ широкаго горизонта...

Медицина можетъ самымъ настойчивымъ образомъ указывать человѣку на необходимость всесторонняго физическаго развитія,—всѣ ея требованія будутъ по отношенію къ взрослымъ людямъ разбиваться объ условія жизни, какъ они разбиваются и теперь по отношенію къ интеллигентамъ. Чтобъ развиваться физически, взрослый человѣкъ долженъ физически *работать*, а не „упражняться“.

Съ цѣлью поддержки здоровья можно три минуты въ день убить на чистку зубовъ, но неодолимо-скучно и противно нѣсколько часовъ употреблять на безсмысленныя и бесплодныя физическія упражненія. Въ ихъ безсмысленности лежитъ главная причина тѣлесной дряблости интеллигента, а вовсе не въ томъ, что онъ не понимаетъ пользы физическаго развитія; въ этомъ я убѣждаюсь на самомъ себѣ.

Въ отношеніи физическаго развитія я росъ въ исключительно-благоприятныхъ условіяхъ. До самаго окончанія университета я каждое лѣто жилъ въ деревнѣ жизнью простаго работника,—пахаль, косилъ, возилъ снопы, рубилъ лѣсъ съ утра до вечера. И мнѣ хорошо знакомо счастье бодрой, крѣпкой усталости во всѣхъ мускулахъ, презрѣніе ко всякимъ простудамъ, волчій аппетитъ и крѣпкій сонъ. Когда мнѣ теперь удается вырваться въ деревню, я снова берусь за косу и топоръ и возвращаюсь въ Петербургъ съ мозолистыми руками и обновленнымъ тѣломъ, съ жадною, радостною любовью къ жизни. Не теоретически, а всѣмъ существомъ своимъ я сознаю необходимость для духа энергичной жизни тѣла, и отсутствіе послѣдней дѣйствуетъ на меня съ мучительностью почти смѣшною: въ прошломъ году я прожилъ лѣто въ деревнѣ; недѣли черезъ двѣ послѣ возвращенія въ Петербургъ я однажды ночью проснулся отъ собственныхъ рыданій; мнѣ что-то снилось, и на душѣ была страшная тоска. Я сталъ припоминать, — что же снилось? И вспомнилъ: я стою въ русской рубашкѣ на опушкѣ лѣса съ топоромъ

въ рукахъ, у моихъ ногъ двѣ срубленныхъ березы, небо покрыто сѣрыми тучами, и свѣжій, чистый, бодрящій вѣтеръ дуетъ мнѣ въ лицо. Только и всего. А на душѣ была и оставалась тоска, какъ будто я во снѣ рай видѣлъ: все это ужъ прошло... Въ мускулахъ неприятное, досадливое дрожаніе, требующее работы, на потолокъ тусклый свѣтъ отъ фонарей, за окнами глухой гулъ и грохотъ.

И все-таки въ городѣ я живу жизнью чистаго интеллигента, работая только мозгомъ. Первое время я пытаюсь противъ этого бороться,—упражняюсь гирями, дѣлаю гимнастику, совершаю пѣшія прогулки; но терпѣнія хватаетъ очень не на долго, до того все это бессмысленно и скучно. И если въ будущемъ физическій трудъ будетъ находить себѣ примѣненіе только въ спортѣ, лаунъ-теннисѣ, гимнастикѣ и т. п., то передъ скукою такого „труда“ окажутся безсильными всѣ увѣщанія медицины и все пониманіе самихъ людей. Достоевскій въ „Запискахъ изъ мертваго дома“, рассказывая о работѣ каторжниковъ, говоритъ: „Если бы захотѣли вполнѣ раздавить, уничтожить человѣка, наказать его самымъ ужаснымъ наказаніемъ, такъ что самый страшный убійца содрогнулся бы отъ этого наказанія и пугался его заранѣе, то стоило бы только придать работѣ характеръ совършенной, полнѣйшей бесполезности и бессмыслицы. Если бы заставить, напр., каторжника переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый, толочь песокъ и т. п.,—я думаю, арестантъ давился бы черезъ нѣсколько дней или надѣ-

лалъ бы тысячу преступленій, чтобъ хоть умереть, да выйти изъ такого униженія стыда и муки“.

Нечего будетъ дивиться, если человѣкъ будущаго отброситъ въ сторону всѣ эти нелѣпыя ушаты.

И вотъ жизнь говоритъ: „ты, крѣпкій человѣкъ съ сильными мышцами, зоркимъ глазомъ и чуткимъ ухомъ, выносливый, самъ отъ себя во всемъ зависящій,—ты мнѣ ненуженъ и обреченъ на уничтоженіе“...

Но что радостнаго несетъ съ собою идущій ему на смѣну новый человѣкъ?

XVI.

Однажды въ деревнѣ ко мнѣ пришла крестьянская баба съ просьбой навѣстить ея больную дочь. При входѣ въ избу меня поразилъ стоявшій въ ней кислый, невыразимо-противный запахъ, какой бываетъ въ оврагахъ, куда забрасываютъдохлыхъ собакъ. На низкихъ „хорахъ“ лежала подъ полушубкомъ больная,—семнадцатилѣтняя дѣвушка съ изнуреннымъ, блѣднымъ лицомъ.

— Что болитъ у васъ?—спросилъ я.

Она молча и испуганно взглянула на меня и покраснѣла.

— Батюшка-докторъ, болѣзнь-то у нея такая,—совѣстно дѣвкѣ показать,—жалостливо произнесла старуха.

— Ну, пустяки какіе! Что вы, чего же доктора стыдиться? Покажите.

Я подошелъ къ дѣвушкѣ. Лицо ея вдругъ

стало деревянно-покорнымъ, и съ этого лица на меня неподвижно смотрѣли тусклые, растерянные глаза.

— Повернись, Танюша, покажи!—увѣщавающе говорила старуха, снимая съ больной полушубокъ. — Посмотрить докторъ, Богъ дастъ, поможетъ тебѣ, здорова будешь...

Съ тѣми же тупыми глазами, съ сосредоточенною, испуганною покорностью, дѣвушка повернулась на бокъ и подняла грубую холщевую рубашку, негибавшуюся, какъ лубокъ, отъ засохшаго гноя. У меня замутилось въ глазахъ отъ нестерпимой вони и отъ того, что я увидѣлъ. Все лѣвое бедро, отъ пояса до колѣна, представляло одну громадную синебагровую спухоль, изъѣденную язвами и нарывами величиною съ кулакъ, покрытую разлагающимся, вонючимъ гноемъ.

— Отчего вы раньше ко мнѣ не обратились?! Вѣдь я здѣсь ужъ полтора мѣсяца!—воскликнулъ я.

— Батюшка-докторъ, все соромилась дѣвка,—вздохнула старуха.—Мѣсяць цѣлый хвораеть,—думала, Богъ дастъ, пройдетъ: сначала вотъ какой всего желвачокъ былъ... Говорила я ей: Танюша, вонъ у насъ докторъ теперь живетъ, всѣ за него Бога молятъ, за помочь его,—сходи къ нему.—Мнѣ, говоритъ, мама, стыдно... Извѣстно, дѣвичье дѣло, глупое.. Вотъ и долежалась!

Я пошелъ домой за инструментами и перевязочнымъ матеріаломъ... Боже мой, какая нелѣпость! Цѣлый мѣсяць въ двухъ шагахъ отъ нея была помощь,—и какое-то дикое, уродливое чувство загородило ей эту помощь, и только теперь

она рѣшилась перешагнуть черезъ преграду,—теперь, когда, можетъ быть, ужь слишкомъ поздно...

И такихъ случаевъ приходится встрѣчать очень много. Сколько болѣзней изъ-за этого стыда запускаютъ женщины, сколько препятствій онъ ставитъ врачу при постановкѣ діагноза и при леченіи!.. Но сколько и душевныхъ страданій переноситъ женщина, когда ей приходится переступить черезъ этотъ стыдъ! Передо мною и теперь, какъ живое, стоитъ растерянное, вдругъ оупѣвшее лицо этой дѣвушки съ напряженно-покорными глазами; много ей пришлось выстрадать, чтобъ, наконецъ, рѣшиться переломить себя и обратиться ко мнѣ.

Къ часто повторяющимся впечатлѣніямъ привыкаешь. Тѣмъ не менѣе, когда, съ легкой краской на лицѣ и неуловимымъ трепетомъ всего тѣла, передо мною раздѣвается больная, у меня иногда мелькаетъ мысль: имѣю ли я представленіе о томъ, что теперь творится у нея въ душѣ?

Въ „Аннѣ Карениной“ есть одна тяжелая сцена. „Знаменитый докторъ, — рассказываетъ Толстой, — не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовалъ осмотра больной Кити. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаивалъ на томъ, что дѣвичья стыдливость есть только остатокъ варварства и что нѣтъ ничего естественнѣе, какъ то, чтобъ еще не старый мужчина ошупывалъ молодую обнаженную дѣвушку. Надо было покориться... Послѣ внимательнаго осмотра и постукиванія растерянной и ошеломленной отъ стыда больной, знаменитый докторъ, старательно вы-

мывъ свои руки, стоялъ въ гостиной и говорилъ съ княземъ... Мать вошла въ гостиную къ Кити. Исхудавшая и румяная, съ особеннымъ блескомъ въ глазахъ вслѣдствіе перенесеннаго стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда докторъ вошелъ, она вспыхнула, и глаза ея наполнились слезами“.

Постепенно у больныхъ вырабатывается къ такому изслѣдованіямъ привычка; но она вырабатывается лишь путемъ тяжелой ломки съ дѣтства создавашагося душевнаго строя. Не для всѣхъ эта ломка проходитъ безнаказанно. Однажды, я помню, мнѣ стало прямо жутко отъ той страшной опустошенности, какую подобная ломка можетъ вызвать въ женской душѣ. Я тогда былъ еще студентомъ и ѣхалъ на холеру въ Екатеринославскую губернію. Въ Харьковѣ въ десять часовъ вечера въ нашъ вагонъ сѣла молодая дама; у нея было милое и хорошее лицо съ ясными, немножко наивными глазами. Мы разговорились. Узнавъ, что я — студентъ-медикъ, она сообщила мнѣ, что ѣздила въ Харьковъ лечиться, и стала рассказывать о своей болѣзни: она уже четыре года страдает дисменорреей, и лечится у разныхъ профессоровъ; одинъ изъ нихъ опредѣлилъ у нея искривленіе матки, другой — суженіе шейки: мѣсяць назадъ ей дѣлали разрѣзъ шейки. Глядя на меня въ полумракѣ вагона своими ясными, спокойными глазами, она рассказывала мнѣ о симптомахъ своей болѣзни, объ ея началѣ; она посвятила меня во всѣ самыя сокровенныя стороны своей половой и брачной жизни, не было ничего, передъ чѣмъ бы она остановилась; и все это безъ всякой

нужды, безъ всякой цѣли, даже безъ моихъ разспросовъ! Я слушалъ, пораженный: сколько ей пришлось перенести отвратительныхъ манипуляцій и разспросовъ, какъ долго и систематически она должна была выставлять на растоптаніе свою стыдливость, чтобы стать способною къ такому безцѣльному обнаженію себя передъ первымъ встрѣчнымъ!

А между тѣмъ, носи у женщины сама стыдливость другой характеръ, — и не было бы этой ломки и вызванной ею опустошенности. Въ Петербургѣ я былъ однажды приглашенъ къ заболѣвшей курясткѣ. Всѣ симптомы говорили за брюшной тифъ; селезенку еще можно было прощупать сквозь рубашку, но, чтобы увидѣть розеолы, необходимо было обнажить животъ. Я на мгновеніе замялся, — мнѣ и до сихъ поръ тяжело и неловко предъявлять такія требованія.

— Нужно поднять рубашку?—просто спросила дѣвушка, догадавшись, чего мнѣ нужно.

Она подняла. И все это мучительное, стыдное, тяжелое вышло такъ просто и легко! И такъ мнѣ стала симпатична эта дѣвушка съ серьезнымъ лицомъ и умными, спокойными глазами... Я видѣлъ, что для нея въ происшедшемъ не было обиды и муки, потому что тутъ была настоящая культурность. Да, она такъ просто и легко обнажилась передо мною, — но, встрѣтившись случайно въ вагонѣ, навѣрное ничего не стала бы рассказывать, подобно той...

Что для человѣка стыдно, что не стыдно?

Существуютъ племена, которыя стыдятся *одѣ-*

ваться. Когда миссіонеры раздавали платки индѣйцамъ Орекоко, предлагая имъ покрывать тѣло, женщины бросали или прятали платокъ, говоря: „мы не покрываемся, потому что намъ стыдно“. Въ Бразиліи Уоллесъ нашель въ одной избушкѣ совершенно обнаженныхъ женщинъ, ни мало не смущавшихся этимъ обстоятельствомъ; а между тѣмъ у одной изъ нихъ была „сая“, т.-е. родъ юбки, которую она иногда одѣвала; и тогда, по словамъ Уоллеса, она смущалась почти такъ же, какъ цивилизованная женщина, которую мы за-
стали бы безъ юбки.

Что стыдно? Мы судимъ съ своей точки зрѣнія, на которую поставлены сложнымъ дѣйствіемъ самыхъ разнообразныхъ, совершенно случайныхъ причинъ. Тѣ люди, которые стыдливѣе насъ, и тѣ, которые менѣе стыдливы, одинаково возбуждаютъ въ насъ снисходительную улыбку сожалѣнія къ ихъ „некультурности“. Восточная женщина стыдится открыть передъ мужчиною лицо, русская баба считаетъ позорнымъ явиться на людяхъ простоволосою; гоголевскія дамы находили неприличнымъ говорить: „я высморкалась“, а говорили: „я облегчила себѣ носъ, я обошлась посредствомъ платка“. Намъ все это смѣшно, и мы искренно недоумѣваемъ, что же стыднаго въ обнаженныхъ волосахъ и лицѣ, что неприличнаго сказать: „я высморкалась“. Но почему намъ не смѣшна женщина, стыдящаяся обнажить передъ мужчиною колѣно или животъ, почему на балу самая скромная дѣвушка не считаетъ стыднымъ явиться съ обнаженною верхнею половиною груди.

а та, которая обнажить всю грудь до пояса,—цинична? Почему насъ не коробитъ мужчина, не прикрывающій передъ женщиною бороды и усовъ,—несомнѣннаго вторично-полового признака мужчины? Сказать: „я высморкалась“—не стыдно, а упоминать о другихъ физиологическихъ отправленияхъ, столь же, правда, неэстетичныхъ, но и не менѣе естественныхъ—невозможно. И вотъ люди въ обществѣ лицъ другого пола подвергаютъ себя мукамъ, нерѣдко даже опасности серьезнаго заболѣванія, но не рѣшаются показать и вида, что имъ нужно сдѣлать то, безъ чего, какъ всякій знаетъ, человѣку обойтись невозможно.

Все наше воспитаніе направлено къ тому, чтобъ сдѣлать для насъ наше тѣло позорнымъ и постыднымъ; на цѣлый рядъ самыхъ законныхъ отправленій организма, предуказанныхъ природою, мы приучены смотрѣть не иначе, какъ со стыдомъ; *obscoenum est dicere. facere non obscoenum* (говорить позорно, дѣлать не позорно),—характеризуетъ эти отправления Цицеронъ. Почти съ первыхъ проблесковъ сознанія ребенокъ ужъ начинаетъ получать настойчивыя указанія на то, что онъ долженъ стыдиться такихъ-то отправленій и такихъ-то частей своего тѣла; чистая натура ребенка долго не можетъ взять въ толкъ этихъ указаній; но усилія воспитателей не ослабѣваютъ, и ребенокъ, наконецъ, начинаетъ проникаться сознаніемъ постыдности жизни своего тѣла. Дальше—больше. Приходитъ время, и подростающій человѣкъ узнаетъ о тайнѣ своего происхожденія; для него эта тайна, благодаря предшествовавшему воспи-

танію, является сплошною грязью, ужасною по своей неожиданности и мерзости. Въ однихъ мысль о законности такого невѣроятнаго безстыдства вызываетъ сладострастіе, какое при иныхъ условіяхъ было бы совершенно невозможно; въ другихъ мысль эта вызываетъ отчаяніе. Рыданія дѣвушки, въ ужасѣ останавливающейся передъ грязью жизни и дающей клятвы никогда не выходить замужъ, ея опошленная и опозоренная любовь,—это драма тяжелая и серьезная, но въ то же время поражающая своею противуестественностью. А между тѣмъ какъ не быть этой драмѣ? Руссо требовалъ, чтобы родители и воспитатели сами объясняли дѣтямъ все, а не предоставляли дѣлать это грязнымъ языкамъ прислуги и товарищей. Разницы тутъ нѣтъ рѣшительно никакой: воспитаніе ребенка ведется такъ, что не можетъ онъ, какъ „чисто“ ни излагай ему дѣла, не увидѣть въ немъ самой ужасной и безстыдной грязи.

Все это вовсе еще не значитъ, что и сама стыдливость есть, дѣйствительно, лишь остатокъ варварства, какъ утверждаетъ толстовскій „знаменитый доктор“. Стыдливость, какъ обереганіе своей интимной жизни отъ постороннихъ глазъ, какъ чувство, дѣлающее для человѣка невозможнымъ, подобно животному, отдаваться первому встрѣчному самцу или самкѣ, есть не остатокъ варварства, а цѣнное приобрѣтеніе культуры. Но такая стыдливость ни въ какомъ случаѣ не исключаетъ серьезнаго и нестыдящагося отношенія къ человѣческому тѣлу и его жизни. У Бурже въ его „Profils perdus“ есть одинъ замѣчательный очеркъ,

въ которомъ онъ выводитъ интеллигентную русскую дѣвушку; пошловатый любитель „науки страсти нѣжной“ стоитъ передъ этою дѣвушкою въ полномъ недоумѣніи: она свободно и не стѣсняясь говорить съ нимъ „въ терминахъ научнаго матеріализма“ о зачатіи, о материнствѣ,—„и въ то же время ни однѣ мужскія губы не касались даже ея руки!..“

Стыдливость, строгая и цѣломудренная, не исключаетъ даже наготы. Бюффонъ говоритъ: „Мы не настолько развращены и не настолько невинны, чтобъ ходить нагими“. Такъ ли это? Дикари развращены не болѣе насъ, сказки объ ихъ невинности давно уже опровергнуты; между тѣмъ многіе изъ нихъ ходятъ нагими, и эта нагота ихъ не развращаетъ; они просто *привыкли* къ ней. Мало того, есть, какъ мы видѣли, племена, которыя стыдятся одѣваться. Какъ обычай прикрывать свое тѣло одеждою можетъ идти рядомъ съ самою глубокою развращенностью, такъ и привычная нагота соединима съ самымъ строгимъ цѣломудріемъ. Обитательницы Огненной Земли ходятъ нагими и нисколько не стѣсняются этого; между тѣмъ, замѣчая на себѣ страстные взгляды пріѣзжихъ европейскихъ матросовъ, онѣ краснѣли и снѣжили спрятаться; можетъ быть, совсѣмъ такъ же покраснѣла бы одѣтая европейская женщина, поймавъ на себѣ взглядъ бразиліанца или индѣйца Ореико.

Все дѣло въ привычкѣ. Если бы считалось стыднымъ обнажать исключительно лишь мизинецъ руки, то обнаженіе именно этого мизинца и

дѣйствовало бы сильнѣе всего на лицъ другого пола. У насъ тщательно скрывается подъ одеждою почти все тѣло. И вотъ благородное, чистое и прекрасное человѣческое тѣло обращено въ приманку для совершенно опредѣленныхъ цѣлей: запретное, недоступное глазу человѣка другого пола, оно открывается передъ нимъ только въ спеціальныя моменты, усиливая сладострастіе этихъ моментовъ и придавая ему остроту; и именно для сладострастниковъ-то привычная нагота и была бы большимъ ударомъ ¹⁾. Мы можемъ безъ всякаго спеціальнаго чувства любоваться одѣтою красавицею; но къ живому нагому женскому тѣлу, не уступай оно въ красотѣ самой Венерѣ Милосской, мы нашимъ воспитаніемъ лишены способности относиться чисто.

Мы стыдимся и не уважаемъ своего тѣла, поэтому мы и не заботимся о немъ: вся забота обращена на его украшеніе, хотя бы цѣною полнаго его изуродованія. Въ Парижѣ ежегодно выходятъ

¹⁾ На „классической вальпургіевой ночи“ Мефистофель чувствуетъ себя совершенно чужимъ „Почти всѣ голы,—недовольно ворчить онъ,—только кое-гдѣ видны одежды... Въ душѣ, конечно, и мы не прочь отъ безстыдства, но античное я нахожу черезчуръ живымъ“... Въ паралипоменахъ къ „Фаусту“ Мефистофель выражается еще откровеннѣе:

Was hat man an den nackten Heiden?
Ich liebe mir was auszukleiden,
Wenn man doch einmal lieben soll

Тонкій сладострастникъ Мопассанъ съ особенною любовью останавливается обыкновенно именно на процессахъ раздѣванія.

спеціальныя альбомы „Le nu“,—снимки со всѣхъ картинъ за истекшій годъ, въ которыхъ изображено голое тѣло. Когда пересматриваешь такой альбомъ,—страшно, прямо страшно становится за человѣка. Эти мягкотѣлыя, дряблыя женскія фигуры съ гигантскими, жирными задями, вдавленными боками, зачаточною и уже отвислою грудью,—

И какой колдунъ злосчастный
Этихъ куколъ къ намъ занесъ?..

Безполезно гадать, гдѣ и на чемъ установятся въ будущемъ предѣлы стыдливости; но въ одномъ нельзя сомнѣваться,—что люди все съ большею серьезностью и уваженіемъ стануть относиться къ природѣ и ея законамъ, а вмѣстѣ съ этимъ перестануть краснѣть за то, что у нихъ есть тѣло, и что это тѣло живетъ по законамъ, указаннымъ природою.

Но это когда-то еще будетъ. Въ настоящее же время медицина, имѣя дѣло съ женщиною, должна чутко вѣдаться съ ея душою. Врачебное образованіе до послѣдняго времени составляло монополию мужчинъ, и женщинѣ съ самою интимною болѣзнію приходилось обращаться за помощію къ нимъ. Кто учтетъ, сколько при этомъ было пережито тяжелой душевной ломки, сколько женщинъ погибло, не рѣшаясь раскрыть передъ мужчиною своихъ болѣзней? Намъ, мужчинамъ, ничего подобнаго не приходится переносить, да мы въ этомъ отношеніи и менѣе щепетильны. Но вотъ, напр., въ 1883 году въ опочечское земское собраніе двое гласныхъ внесли предложеніе, чтобъ должности

земскихъ врачей не замѣщались врачами-женщинами: „больные мужчины,—заявили они,—стыдятся лечиться отъ сифилиса у женщинъ-врачей“. Это намъ вполне понятно: никто изъ насъ не захочетъ обратиться къ женщинъ-врачу съ сколько-нибудь щекотливою болѣзнью. Ну, а женщины,—рѣшились ли бы утверждать опочекіе гласные, что онѣ не стыдятся лечиться отъ сифилиса у врачей-мужчинъ? Это было бы грубой неправдой. Отчеты земскихъ врачей полны указаніями на то, какъ неохотно именно по этой причинѣ обращаются къ врачебной помощи крестьянскія женщины и особенно дѣвушки.

Въ настоящее время врачебное образованіе, къ счастью, стало доступно и женщинѣ: это—громадное благо для всѣхъ женщинъ,—для всѣхъ равно, а не только для мусульманскихъ, на что любятъ указывать защитники женскаго врачебнаго образованія. Это громадное благо и для самой науки: только женщинѣ удастся понять и познать темную, страшно сложную жизнь женскаго организма во всей ея физической и психической цѣлости; для мужчины это познаніе всегда будетъ отрывочнымъ и неполнымъ.

XVII.

Года черезъ полтора послѣ моего пріѣзда въ Петербургъ меня позвалъ къ себѣ на домъ къ больному ребенку одинъ желѣзнодорожный машинистъ. Онъ занималъ комнату въ пятомъ этажѣ, по грязной и вонючей лѣстницѣ. У его трехлѣт-

няго мальчика оказался нарывъ миндаины; ребенокъ былъ рахитическій, худенькій и блѣдный; онъ бился и зажималъ зубами ручку ложки, такъ что мнѣ съ трудомъ удалось осмотрѣть его зѣвъ. Я назначилъ леченіе. Отецъ,—высокій, съ косматою рыжею бородою,—протянулъ мнѣ при уходѣ деньги; комната была жалкая и бѣдная, ребятъ куча; я отказался. Онъ почтительно и съ благодарностями проводилъ меня.

Слѣдующіе два дня ребенокъ продолжалъ лихорадить, опухоль зѣва увеличилась, дыханіе стало затрудненнымъ. Я сообщилъ родителямъ, въ чемъ дѣло, и предложилъ прорѣзать нарывъ.

— Это какъ же, во рту, внутри, рѣзать?—спросила мать, высоко поднявъ брови.

Я объяснилъ, что операція эта совершенно безопасна.

— Ну, нѣтъ! У меня на это согласія нѣту!—быстро и рѣшительно отвѣтила мать.

Всѣ мои убѣжденія и разъясненія остались тщетными.

— Я такъ думаю, что Божья на это воля,—сказалъ отецъ.—Не захочетъ Господь, такъ и прорѣзать,—все равно помретъ. Гдѣ жъ ему, такому слабому, перенести операцію?

Я сталъ спринцовать ребенку горло.

— Самъ ужъ теперь ротъ раскрываетъ,—грустно произнесъ отецъ.

— Нарывъ, вѣроятно, сегодня прорвется,—сказалъ я.—Слѣдите, чтобы ребенокъ во снѣ не захлебнулся гноемъ. Если плохо будетъ, пошлите за мною.

Я вышелъ въ кухню. Отецъ стремительно бросился подать мнѣ пальто.

— Ужъ не знаю, господинъ докторъ, какъ васъ и благодарить,—проговорилъ онъ.—Прямо, можно сказать, навѣки насъ обязываете.

Назавтра прихожу, звонюся. Мнѣ отворила мать,—заплаканная, блѣдная; она злыми глазами оглядѣла меня и молча отошла къ плитѣ.

— Ну, что вашъ сынокъ?—спросилъ я.

Она не отвѣтила, даже не обернулась.

— Помираетъ,—сдержанно произнесла изъ угла какая-то старуха.

Я раздѣлся и вошелъ въ комнату. Отецъ сидѣлъ на кровати, на колѣняхъ его лежалъ блѣдный мальчикъ.

— Что, очень ему плохо?—спросилъ я.

Отецъ окинулъ меня холоднымъ, безучастнымъ взглядомъ.

— Ужъ не знаю, какъ и до утра дожилъ. — неохотно отвѣтилъ онъ.—Къ обѣду помретъ.

Я взялъ ребенка за руку и пощупалъ пульсъ.

— Всю ночь матерія шла черезъ носъ и ротъ,— продолжалъ отецъ.—Иной разъ совсѣмъ захлебнется,—посинѣетъ и закатитъ глаза; жена заплачетъ, начнетъ его трясти,—онъ на время и отойдетъ.

— Поднесите его къ окну, посмотрѣть горло,— сказалъ я.

— Что его еще мучить!—сердито проговорила вошедшая мать.—Ужъ оставьте его въ покоѣ!

Какъ вамъ не стыдно!—прикрикнулъ я на нее.—Чуть немножко хуже стало, — и руки ужъ

опустили: помирай, дескать! Да ему вовсе и не такъ ужъ плохо.

Опухоль зѣва значительно опала, но мальчикъ былъ сильно истощенъ и слабъ. Я сказалъ родителямъ, что все идетъ очень хорошо, и мальчикъ теперь быстро оправится.

— Дай Богъ!—скептически улыбнулся отецъ.— А я такъ думаю, что вы его завтра и въ живыхъ ужъ не увидите.

Я прописалъ рецептъ, объяснилъ, какъ давать лекарство, и всталъ.

— До свиданія!

Отецъ еле удостоилъ меня отвѣтомъ. Никто не поднялся меня проводить.

Я вышелъ возмущенный. Горе ихъ было, разумѣется, вполне законно и понятно; но чѣмъ заслужилъ я такое отношеніе къ себѣ? Они видѣли, какъ я былъ къ нимъ внимателенъ,—и хоть бы искра благодарности! Когда-то въ мечтахъ я наивно представлялъ себѣ подобные случаи въ такомъ видѣ: больной умираетъ, но близкіе видятъ, какъ горячо и безкорыстно относился я къ нему, и провожаютъ меня съ любовью и признательностью.

— Не хотятъ, и не нужно! Больше не пойду къ нимъ!—рѣшилъ я.

Назавтра мнѣ пришлось употребить все усилія воли, чтобъ заставить себя пойти. Звонясь, я дрожалъ отъ негодованія, готовясь встрѣтить эту бессмысленную, незаслуженную мною ненависть со стороны людей, для которыхъ я дѣлалъ все, что могъ.

Мнѣ открыла мать,—розовая, счастливая: мгновение поколебавшись, она вдругъ схватила мою руку и крѣпко пожалала ее. И меня удивило, какое у нея было хорошенькое, милое лицо,—раньше я этого совсѣмъ не замѣтила. Ребенокъ чувствовалъ себя прекрасно, былъ веселъ и просилъ ѣсть... Я ушелъ, сопровождаемый горячими благодарностями отца и матери.

Этотъ случай въ первый разъ далъ мнѣ понять, что, если отъ тебя ждутъ спасенія близкаго человѣка, и ты этого не сдѣлалъ, то не будетъ тебѣ прощенія, какъ бы ты ни хотѣлъ и какъ бы ни старался спасти его.

Я лечилъ отъ дифтерита одну молодую купчиху, по фамилии Старикову. Мужъ ея, полный и румяный купчикъ, съ добродушнымъ лицомъ и рыжеватыми усиками, самъ прѣзжалъ за мною на рысакѣ; онъ стѣснялъ и смѣшилъ меня своею суетливою, приказчицьею предупредительностью: когда я садился въ сани, онъ поддерживалъ меня за локоть, оправлялъ полы моей шубы, а усадивъ, самъ садился рядомъ на самомъ краешкѣ сидѣнія. Дифтеритъ у больной былъ очень тяжелый, флегмонозной формы, и нѣсколько дней она была на краю смерти; потомъ начала поправляться. Но въ будущемъ еще была опасность отъ послѣдифтеритныхъ параличей.

Однажды въ четыре часа утра ко мнѣ позвонилъ мужъ больной. Онъ сообщилъ, что у больной неожиданно появились сильныя боли въ животѣ и рвота. Мы сейчасъ же поѣхали. Была метель, санки быстро мчались по пустыннымъ улицамъ.

— Сколько мы вамъ, докторъ, безпоиствъ доставляемъ!—извиняющимсяъ голосомъ заговорилъ мой спутникъ.—Эдакую рань вамъ ѣхать, въ такую непогоду!.. Спать вамъ помѣшалъ...

Больной было очень плохо; она жаловалась на тянущія боли въ груди и животѣ, лицо ея было бѣло, того трудно-описуемаго вида, который маломальски привычному глазу съ несомнѣнностью говоритъ о быстро и неотвратимо приближающемся параличѣ сердца. Я предупредилъ мужа, что опасность очень велика. Пробывъ у больной три часа, я уѣхалъ, такъ какъ у меня былъ другой трудный больной, котораго было необходимо посѣтить. При Стариковой я оставилъ опытную фельдшерицу.

Черезъ полтора часа я пріѣхалъ снова. Навстрѣчу мнѣ вышелъ мужъ, съ страннымъ лицомъ и воспаленными, красными глазами. Онъ остановился въ дверяхъ залы, заложивъ руки сзади подъ пиджакомъ.

— Что скажете хорошенькаго?—развязно и презрительно спросилъ онъ меня.

— Что Марья Ивановна?

— Марья Ивановна-съ?—повторилъ онъ, растягивая слова.

— Ну, да!

Онъ помолчалъ.

— Полчаса назадъ благополучно скончалась!—усмѣхнулся Стариковъ, съ ненавистью оглядѣвъ меня.—Честь имѣю клянуться,—до свиданья!

И, круто повернувшись, онъ ушелъ въ залу, наполненную собравшимися родственниками.

Въ моемъ воспоминаніи никакъ теперь не могутъ соединиться въ одно два образа этого Старикова: одинъ—суетливо-предупредительный, заглядывающій въ глаза, стремящійся къ тебѣ, другой—чуждый, съ вызывающе-оскорбительною развязностью, съ красными, горящими ненавистью глазами.

О, какова ненависть такихъ людей! Нѣтъ ей предѣловъ. Въ прежнія времена расправа съ врачами въ подобныхъ случаяхъ была короткая. „Врачъ нѣкій нѣмчинъ Антонъ,—разсказываютъ русскія лѣтописи—врачева князя Каракуча, да умори его смертнымъ зелиемъ за посмѣхъ. Князь же великій Іоаннъ III выдалъ его сыну Каракучеву, онъ же мучивъ его, хотѣ на окунь дати. Князь же великій не повелѣ, но повелѣ его убити; они сведше его на Москву-рѣку подъ мостъ зимою, и зарѣзали ножомъ яко овцу“.

По законамъ вестготовъ, врачъ, у котораго умеръ больной, немедленно выдавался родственникамъ умершаго, „чтобъ они имѣли возможность сдѣлать съ нимъ, что хотятъ“. И въ настоящее время многіе и многіе вздохнули бы по этому благодѣтельному закону; тогда прямо и вѣрно можно было бы достигать того, къ чему теперь приходится стремиться не всегда надежными путями. Лѣтъ пятнадцать назадъ у чистопольскаго помѣщика г. Геркена умерла дочь, которую пользовалъ земскій врачъ Свиницкій. Огорченный отецъ, какъ сообщалось въ казанскихъ газетахъ, подалъ въ земское собраніе заявленіе, что знанія д-ра Свиницкаго ниже фельдшерскихъ и что

имъ недовольно все населеніе „за малыя знанія и невнимательность“. Земскимъ собраніемъ была назначена особая комиссія для производства дознанія. Жалоба г. Геркена оказалась полнѣйшей клеветой, и земское собраніе единогласно постановило выразить д-ру Свинцицкому признательность „за честную и полезную дѣятельность“.

Въ концѣ 1883 года въ одесской газетѣ „Новороссійскій Телеграфъ“ появилось письмо нѣкоего г. Бѣлякова подъ бросающимся въ глаза заглавіемъ:

Сына моего зарѣзали!

(Несобычайный некрологъ отца о сынѣ).

Да, г. редакторы!—нишетъ г. Бѣляковъ.—Единственный сынъ мой Сократъ зарѣзанъ въ Херсонѣ, въ силу науки, ровно въ 10 час. вечера 28 ноября, услугами нашего мѣстнаго оператора Петровскаго...

Далѣе, на пространствѣ цѣлаго фельетона, г. Бѣляковъ подробно рассказываетъ, какъ его ребенокъ заболѣлъ дифтеритомъ, какъ плохо лечили его врачи, какъ, благодаря этому плохому леченію, процессъ распространился на гортань. Съ тщательностью судебного слѣдователя онъ приводитъ въ качествѣ обвинительныхъ документовъ всѣ назначенія и рецепты врачей, и тѣмъ самымъ, помимо своей воли, наглядно удостовѣряетъ для всякаго, понимающаго дѣло, совершенную правильность всѣхъ назначеній. Ребенку было очень худо. Одинъ изъ врачей призналъ случай безнадежнымъ и уѣхалъ. Отецъ молилъ спасти ребенка. Тогда

оставшіяся при больномъ д-ръ Гершельманъ предложилъ послѣднее средство—операцию. Во время операциі, произведенной докторомъ Петровскимъ, ребенокъ умеръ. Какъ видно изъ самого же описанія г-на Бѣлякова, случай былъ очень тяжелый, и такого конца можно было ждать каждую минуту; но г. Бѣляковъ, ничего не понимая въ дѣлѣ, утверждаетъ, что операторъ просто на-просто „зарѣзалъ“ его сына ¹⁾.

Слѣдовало ли дѣлать эту операцию, — спрашиваетъ г. Бѣляковъ,—если болѣзнь длилась ужъ шестой день? Компетентныя лица (?) говорятъ, что, когда дифтеритъ длился столько времени, не осложняясь, и когда больной еще дышалъ,—не представлялось никакой надобности въ операциі. (*Это совершенный вздоръ*). Наконецъ, правильно ли было пользованіе д-ра Гершельмана? Всѣ ли возможные средства онъ употребилъ для спасенія больного? По моему мнѣнію, г. Гершельманъ слишкомъ поверхностно отнесся къ своему дѣлу... Подыщите послѣ этого подходящую статью въ уложеніи о наказаніяхъ, которая своею страшною карою виновнаго въ смерти Сократа могла бы искупить наше горе!

Конечно, ни одна статья уложенія не удовлетворила бы г. Бѣлякова. Вотъ дѣйствуй у насъ вестготскіе законы,—о, тогда г. Бѣляковъ сумѣлъ бы изобрѣсти кару, которая бы искупила его горе!.. Сильна въ человѣкѣ кровавая жажда найти во что бы то ни стало искупительную жертву, что-

¹⁾ По жалобѣ отца, тѣло ребенка было вырыто изъ могилы и вскрыто въ присутствіи слѣдователя и четырехъ экспертовъ; оказалось, что ребенокъ умеръ отъ задушенія дифтеритными пленками, а операциа была произведена безукоризненно.

бы принести ее тѣни погибшаго близкаго чело-
вѣка.

Вначалѣ такая обращенная на меня ненависть
страшно мучила меня. Я краснѣлъ и страдалъ,
когда, случайно встрѣтивъ на улицѣ кого-либо
изъ близкихъ моего умершаго паціента, замѣчалъ,
какъ онъ поспѣшно отворачивается, чтобъ не ви-
дѣть меня. Потомъ постепенно я привыкъ. А
слѣдствіемъ этой привычки явилось еще нѣчто,
совершенно неожиданное и для меня самого.

Неподалеку отъ меня у одной дамы-коррек-
торши, по фамиліи Декановой, заболѣлъ ея сынъ-
гимназистъ. По рекомендаціи кого-то изъ моихъ
паціентовъ, она обратилась ко мнѣ. Жила она въ
небольшой квартиркѣ съ двумя дѣтьми, — заболѣв-
шимъ гимназистомъ и дочерью Екатериной Але-
ксандровной, дѣвушкой съ славнымъ, интеллигент-
нымъ лицомъ, слушательницею рождественскихъ
курсовъ лекарскихъ помощницъ. И мать, и дочь,
видимо, души не чаяли въ мальчикѣ. У него ока-
залось крупозное воспаленіе легкихъ. Мать, сухая
и нервная, съ бѣгающими, психопатическими гла-
зами, такъ и замерла.

— Докторъ, скажите, это очень опасно? Онъ
умретъ?

Я отвѣтилъ, что покамѣстъ навѣрное ничего
еще нельзя сказать, что кризисъ будетъ дней че-
резъ пять-шесть. Для меня началось ужасное время.
Мать и дочь не могли допустить и мысли, чтобъ
ихъ мальчикъ умеръ; для его спасенія онѣ были
готовы на все. Мнѣ приходилось посѣщать боль-
ного раза по три въ день; это было совершенно

безполезно, но опѣ своею настойчивостью умѣли заставить меня.

— Докторъ, онъ не умираетъ? — сдавленнымъ отъ ужаса голосомъ спрашиваетъ мать. — Докторъ, голубчикъ! Я сумасшедшая, простите меня... Что я хотѣла сказать?.. Правда, вѣдь вы все сдѣлаете? Вы мнѣ спасете Володю?

На четвертый день Екатерина Александровна, волнуясь и кусая губы, сказала мнѣ:

— Вы не обижайтесь на меня, позвольте мнѣ сказать вамъ, какъ частному лицу... Мнѣ ваше леченіе кажется чрезвычайно шаблоннымъ: ванны, кодеинъ, банки, ледъ на голову... Теперь назначили digitalis...

— Въ такомъ случаѣ распорядитесь, пожалуйста, вы, — я буду исполнять ваши назначенія, — холодно отвѣтилъ я.

— Да нѣтъ, я ничего не знаю, — поспѣшно проговорила она. — Но мнѣ хотѣлось бы, чтобъ дѣлалось что-нибудь особенное, чтобъ уже навѣрное спасти Володю. Мама съ ума сойдетъ, если онъ умретъ.

— Обратитесь тогда къ другому врачу; я дѣлаю все, что нахожу нужнымъ.

— Нѣтъ, я не то... Ну, простите, я сама не знаю, что говорю! — нервно оборвала себя Екатерина Александровна.

Для ухода за больнымъ онѣ пригласили опытную сестру милосердія. Тѣмъ не менѣе почти не проходило ночи, чтобъ Екатерина Александровна не разбудила меня. Позвонится, вызоветъ черезъ горничную.

— Володѣ хуже стало, онъ бредитъ и стонетъ, — сообщаетъ она. — Пожалуйста, пойдемте.

Я безропотно иду. Но иногда у меня не хватаетъ терпѣнія.

— Васъ сестра милосердія прислала, или это вы находите нужнымъ мое присутствіе? — спрашиваю я недобримъ голосомъ.

Ея темные глаза загораются негодованіемъ; Екатерина Александровна еле сдерживается, видя, какъ я цѣню свой сонъ.

— Я думаю, что сестра милосердія — не врачъ, и она не можетъ объ этомъ судить, — рѣзко отвѣчаетъ она.

Иду съ нею. Мальчикъ бредитъ, мечется, дышитъ часто, но пульсъ хорошій, и никакого вмѣшательства не требуется. Раздраженная сестра милосердія сидитъ на стулѣ у окна. Я молча выхожу въ прихожую.

— Что теперь дѣлать? — спрашиваетъ Екатерина Александровна. — У него слабѣетъ пульсъ.

— Продолжать прежнее. Пульсъ прекрасный, — угрюмо отвѣчаю я и ухожу. И по дорогѣ я думаю: если въ теченіе года непрерывно имѣть хоть по одному такому паціенту, то самага крѣпкаго человѣка хватить не больше, какъ на годъ.

Назавтра мальчикъ чувствуетъ себя лучше, — и глаза Екатерины Александровны смотрятъ на меня съ ласкою и любовью. Вообще, еще не видя больного, я ужъ при входѣ безошибочно заключалъ объ его состояніи по глазамъ открывавшей мнѣ дверь Екатерины Александровны: хуже больному, — и лицо ея горитъ черезъ силу сдерживае-

мою враждою ко мнѣ; лучше,—и глаза смотреть съ такою безконечною ласкою!

Кризисъ былъ очень тяжелый. Мальчикъ два дня находился между жизнью и смертью. Все это время я почти не уходилъ отъ Декановыхъ. Два раза былъ консиліумъ. Мать выглядѣла совсѣмъ, какъ помѣшанная.

— Докторъ, спасите его!.. Докторъ!..

И крѣпко сжимая своими сухими пальцами мой локоть, она пристально смотритъ мнѣ въ глаза жалкими, молящими и въ то же время грозными, ненавидящими глазами, какъ будто хочетъ перелить въ меня сознание всего ужаса того, что будетъ, если мальчикъ умретъ.

Мальчикъ, съ синимъ, неподвижнымъ лицомъ, дышитъ часто и хрипло, пульсъ почти не прощупывается. Я кончаю изслѣдованіе, поднимаю голову,—и изъ полумрака комнаты на меня жадно смотрятъ тѣ же безумные, грозные глаза матери.

Больной вынесъ кризисъ. Черезъ два дня онъ былъ внѣ опасности. Мать и дочь пріѣхали ко мнѣ на домъ благодарить меня. Господи, что это были за благодарности!

— Докторъ, голубчикъ! Дорогой!—въ экстазѣ твердила мать. — Вы понимаете ли, что вы для меня сдѣлали?.. Нѣтъ, вы не поймете!.. Господи, какъ мнѣ вамъ сказать?.. Когда я буду умирать, у меня въ головѣ одинъ вы будете! Вы не знаете, я дала обѣтъ Скорбящей Божьей Матери.. Какъ мнѣ васъ отблагодарить, я навѣки ваша должника неоплатная!.. Докторъ!.. простите...

И она хватала мои руки, чтобъ поцѣловать ихъ. Екатерина Александровна, улыбаясь своими славными сумрачными глазами, горячо пожимала мнѣ руку обѣими руками. А я—я смотрѣлъ въ глаза обѣихъ женщинъ, сіявшіе такою восторженною признательностью, и мнѣ казалось, что я еще вижу въ нихъ исчезающій отблескъ той ненависти, съ которою глаза эти смотрѣли на меня три дня назадъ.

Онѣ ушли. Я взялся за прерванное ихъ приходомъ чтеніе. И вдругъ меня поразило, какъ равнодушень я остался ко всѣмъ ихъ благодарностямъ; какъ будто надъ душою пронесся докучный вихрь словъ, пустыхъ, какъ шелуха, и ни одно изъ нихъ не осталось въ душѣ. А я-то раньше воображалъ, что подобныя минуты — „награда“, что это — „свѣтлые лучи“ въ темной и тяжелой жизни врача!.. Какіе же это свѣтлые лучи? За тотъ же самый трудъ, за то же горячее желаніе спасти мальчика я получилъ бы одну ненависть, если бы онъ умеръ.

Къ этой ненависти я постепенно привыкъ и сталъ равнодушень. А неожиданнымъ слѣдствіемъ этого само собою явилось и полнѣйшее равнодушіе къ благодарности.

Все больше я сталъ убѣждаться, что и вообще нужно прежде всего выработать въ себѣ глубокое, полнѣйшее безразличіе къ чувству пациента. Иначе двадцать разъ сойдешь съ ума отъ отчаянія и тоски.

XVIII.

Да, не нужно ничего принимать къ сердцу, нужно стоять выше страданій, отчаянія, ненависти, смотрѣть на каждаго больного, какъ на невмѣняемаго, отъ котораго ничего не оскорбительно. Выработается такое отношеніе,—и я хладнокровно пойду къ тому машинисту, о которомъ я рассказывалъ въ прошлой главѣ, и меня не остановитъ у порога мысль о незаслуженной ненависти, которая меня тамъ ждетъ. И часто, часто приходится повторять себѣ: „нужно выработать безразличіе!“ Но это такъ трудно...

Недавно лечилъ я одну молодую женщину, жену чиновника. Мужъ ея, съ нервнымъ, интеллигентнымъ лицомъ, съ странно-тонкимъ голосомъ, перепуганный пріѣхалъ за мною и сообщилъ, что у жены его, кажется, дифтеритъ. Я осмотрѣлъ больную. У нея оказалась фолликулярная жаба.

— Это не опасно?—спросилъ мужъ.

— Нѣтъ. Въроятнѣе всего, черезъ день-другой пройдетъ, хотя, впрочемъ, можетъ образоваться и парывъ.

Черезъ два дня, дѣйствительно, лѣвая миндалина стала парывать.

— Отчего это? Отчего вдругъ парывъ сталъ образовываться?—любопытствовалъ мужъ.

Отчего!.. Какъ будто на такой вопросъ кто-нибудь можетъ отвѣтить!..

И мужъ, и жена относились ко мнѣ съ тѣмъ милымъ довѣріемъ, которое такъ дорого врачу и

такъ поднимаетъ его духъ; каждое мое назначеніе они исполняли съ серьезною, почти благоговѣйною аккуратностью и тщательностью. Больная пять дней сильно страдала, съ трудомъ могла раскрывать ротъ и глотать. Послѣ сдѣланныхъ мною насѣчекъ опухоль опала, больная стала быстро поправляться, но остались мускульныя боли въ обѣихъ сторонахъ шеи. Я приступилъ къ легкому массажу шеи.

— Какъ все у васъ нѣжно и мягко выходитъ!— сказала больная, краснѣя и улыбаясь.—Право, я рада бы все время болѣть, только чтобъ вы меня лечили.

Каждый разъ, по ихъ настойчивымъ приглашеніямъ, я оставался у нихъ пить кофе и просиживалъ часъ-другой; мнѣ это самому было пріятно, съ такимъ дружественнымъ, любовнымъ расположеніемъ оба они относились ко мнѣ.

Дня черезъ два у больной появились боли въ правой сторонѣ зѣва, и температура снова поднялась.

— Ну, что? — спросилъ меня обезноженный мужъ.

— Вѣроятно, и въ другой миндалинѣ образуются парывъ.

— Господи, еще! — проговорила больная, уронивъ руки на колѣни.

Мужъ широко раскрылъ глаза.

— Но отчего же это?—съ изумленіемъ спросилъ онъ.—Кажется, все дѣлалось, что нужно!

Я объяснилъ ему, что предупредить это было невозможно.

— Ахъ, ты моя бѣдная Шурочка!—нервно воскликнулъ онъ.—Опять, значить, все это сначала продѣлывать!

И въ голосѣ его ясно прозвучала враждебная нотка ко мнѣ.

Нарывъ созрѣвалъ медленно-медленно, несмотря на дважды произведенныя мною насѣчки. Опять большой раздуло шею, опять она ничего не могла глотать. Я видѣлъ, какъ съ каждымъ днемъ все холоднѣе встрѣчаютъ меня и мужъ, и жена, какъ все больше сгущается атмосфера какого-то прямо отвращенія ко мнѣ. Теперь мнѣ тяжело было идти къ нимъ, тяжело было осматривать сосредоточенно молчащую больную и дѣлать распоряженія мужу, который выслушивалъ меня, стараясь не смотрѣть въ глаза. Вмѣстѣ съ этимъ у нихъ явилась по отношенію ко мнѣ какая-то преувеличенная, изысканная вѣжливость; ясно чувствовалось недовѣріе и отвращеніе ко мнѣ, но и то, и другое тщательно прикрывалось этою вѣжливостью, которая лишала меня возможности поставить вопросъ прямо и отказаться отъ дальнѣйшаго леченія. Да это, въ сущности, и не было недовѣріемъ: я просто являлся символомъ и спутникомъ всѣмъ надоѣвшаго, всѣхъ истомившаго страданія, и, какъ олицетвореніе этого страданія, я сталъ ненавистенъ и противенъ.

Больная, наконецъ, выздоровѣла. Мы простились наружно очень хорошо; но когда, недѣлю спустя, я встрѣтился съ мужемъ въ фойе театра, онъ вдругъ сдѣлалъ озабоченное лицо и, отвер-

нувшись, быстро прошелъ мимо, какъ будто не замѣтивъ меня.

Нужно ко всему этому привыкнуть, не нужно тяготиться такимъ отношеніемъ, потому что это лежитъ въ самой сути дѣла. Но часто, особенно съ неизлечимыми хроническими больными, вся сила привычки и всѣ усилія воли не могутъ устоять передъ взрывами ярой ненависти отчаявшагося больного къ врачу. Высшую радость для врача составляетъ возможность отвязаться отъ такого больного, но, при всей своей ненависти, больной часто цѣпко держится за врача и ни за что не хочетъ его перемѣнить. Нѣсколько лѣтъ назадъ въ Италіи, около Милана, произошелъ такой случай. Д-ръ Франческо Бертола лечилъ одного сапожника, находившагося въ послѣдней стадіи легочной чахотки. Состояніе больного все ухудшалось. Потерявъ терпѣніе, онъ сталъ осыпать врача ругательствами, называя его при каждомъ посѣщеніи шарлатаномъ, невѣждою и т. п. Убѣдившись, что больной окончательно его возненавидѣлъ, д-ръ Бертола заявилъ ему, что отъ дальнѣйшаго леченія онъ вынужденъ отказаться. Это рѣшеніе привело больного въ изступленіе. На слѣдующій день онъ подкараулилъ врача на улицѣ.

— Возьметесь вы снова за леченіе или нѣтъ?— спросилъ сапожникъ.

Получивъ отрицательный отвѣтъ, онъ всадилъ доктору въ животъ большой кухонный ножъ. Врачъ упалъ съ распоротымъ животомъ; одновременно упалъ и убійца-больной, у котораго хлынула кровь

горломъ. Оба были тотчасъ подняты и свезены въ одну и ту же больницу; тамъ оба они и умерли.

Вся дѣятельность врача сплошь заполнена моментами страшно-нервными, которые почти безъ перерыва бьютъ по сердцу. Неожиданное ухудшеніе въ состояніи поправляющагося больного, неизлечимый больной, требующій отъ тебя помощи, грозящая смерть больного, всегдашняя возможность несчастнаго случая или ошибки, наконецъ, самая атмосфера страданій и горя, окружающая тебя, — все это непрерывно держать душу въ состояніи какой-то смутной, неуспокаивающейся тревоги. Состояніе это не всегда сознается. Но вотъ выдастся рѣдкій день, когда у тебя все благополучно: умершихъ нѣтъ, больные всѣ поправляются, отношеніе къ тебѣ хорошее, — и тогда, по неожиданно охватившему тебя чувству глубокаго облегченія и спокойствія, вдругъ поймешь, въ какомъ нервно-приподнятомъ состояніи живешь все время. Бываетъ, что совершенно падаютъ силы нести такую жизнь; охватить такая тоска, что хочется бѣжать, бѣжать подальше, всѣхъ сбить съ рукъ, хоть на время почувствовать себя свободнымъ и спокойнымъ.

Такъ жить всегда невозможно. И вотъ кое къ чему у меня ужъ начинаетъ выработываться спасительная привычка. Я ужъ не такъ, какъ прежде, страдаю отъ ненависти и несправедливости больныхъ, меня не такъ ужъ рѣжутъ по сердцу ихъ страданія и безпомощность. Тяжелые больные особенно поучительны для врача; раньше я не понималъ, какъ могутъ товарищи мои по больницѣ

всего охотнѣе брать себѣ палаты съ „интересными“ трудно-большими; я, напротивъ, всячески старался отдѣливаться отъ такихъ больныхъ; мнѣ было тяжело смотрѣть на эти изсохшія тѣла съ отслаивающимся мясомъ и загнивающею кровью, тяжело было встрѣчаться съ обращенными на тебя надѣющимися взглядами, когда такъ ничтожно-мало можешь помочь. Постепенно я съ этимъ свыкся.

Сталъ я свыкаться и вообще съ той атмосферой постоянныхъ страданій, въ которой приходится жить и дѣйствовать. Я чувствую, что во мнѣ постепенно начинаетъ вырабатываться совершенно особенное отношеніе къ больнымъ: я держусь съ ними мягко и внимательно, добросовѣстно стараюсь сдѣлать все, что могу, но — съ глазъ долой, и съ сердца долой. Я сижу дома въ кружкѣ добрыхъ знакомыхъ, болтаю, смѣюсь; нужно съѣздить къ больному; я ѣду, дѣлаю, что нужно, утѣшаю мать, плачущую надъ умирающимъ сыномъ; но, воротившись, я сейчасъ же вхожу въ прежнее настроеніе, и на душѣ не остается мрачнаго слѣда. „Больной“, съ которымъ я имѣю дѣло, какъ врачъ,—это нѣчто совершенно другое, чѣмъ просто больной человѣкъ,—даже не близкій, а хоть сколько-нибудь знакомый; за этихъ я способенъ болѣть душою, чувствовать вмѣстѣ съ ними ихъ страданіе, по отношенію же къ первымъ способность эта все больше исчезаетъ; и я могу понять одного моего пріятеля-хирурга, гуманнѣйшаго человѣка, который, когда больной вопить подъ его ножомъ, съ совершенно искреннимъ изумленіемъ спрашиваетъ его:

— Чудакъ, чего жъ ты кричишь?

Мнѣ понятно, какъ Пироговъ, съ его чуткимъ, отзывчивымъ сердцемъ, могъ позволить себѣ ту возмутительную выходку, о которой онъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ. „Только однажды въ моей практикѣ,—пишетъ онъ,—я такъ грубо ошибся при изслѣдованіи больного, что, сдѣлавъ камнесѣченіе, не нашелъ въ мочевомъ пузырьѣ камня. Это случилось именно у робкаго, богобоязненного старика; раздосадованный на свою оплошность, я былъ такъ неделикатенъ, что измученнаго больного нѣсколько разъ послалъ къ чорту.

„— Какъ это вы Бога не боитесь,—произнесъ онъ томнымъ, умоляющимъ голосомъ,—и призываете нечистаго злого духа, когда только имя Господне могло бы облегчить мои страданія!“

Это—странное свойство души притупляться подъ вліяніемъ привычки въ совершенно опредѣленномъ, часто очень узкомъ отношеніи, оставаясь во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ неизмѣнною. Раньше я не могъ себѣ представить, а теперь убѣжденъ, что даже тюремщикъ и палачъ способны искренно и горячо откликаться на все доброѣ, если только это доброе лежитъ внѣ сферы ихъ специальности.

Я замѣчаю, какъ все больше начинаю привыкать къ страданіямъ больныхъ, какъ въ отношеніяхъ съ ними руководствуюсь не непосредственнымъ чувствомъ, а головнымъ сознаніемъ, что держаться слѣдуетъ такъ-то. Это привыканіе даетъ мнѣ возможность жить и дышать, не быть постоянно подъ впечатлѣніями мрачнаго и тяжелаго; но такое привыканіе врача въ то же время воз-

мущаетъ и пугаетъ меня,—особенно тогда, когда я вижу его обращеннымъ на самого себя.

Ко мнѣ пріѣхала изъ провинціи сестра; она была учительницею въ городской школѣ, но два года назадъ должна была уйти вслѣдствіе болѣзни: отъ переутомленія у нея развилось полное нервное истощеніе; слабость была такая, что дни и ночи она лежала въ постели, звонокъ вызывалъ у нея припадки судорогъ, спать она совсѣмъ не могла, стала злобною, мелочною и раздражительною. Двухгодичное леченіе не повело ни къ чему. И вотъ она пріѣхала къ столичнымъ врачамъ. Я не узналъ ее, такъ она похудѣла и поблѣднѣла; глаза стали большіе, окруженные синевою, съ страннымъ нервнымъ блескомъ; прежде энергичная, полная жажды дѣла, она была теперь вялая и равнодушная ко всему. Я поѣхалъ съ нею къ знаменитому невропатологу.

Намъ долго пришлось дожидаться, пріемъ былъ громадный. Наконецъ, мы вошли въ кабинетъ. Профессоръ, съ веселымъ, равнодушнымъ лицомъ, сталъ спрашивать сестру; на каждый ея отвѣтъ онъ кивалъ головою и говорилъ: „прекрасно!“ Потомъ сѣлъ писать рецептъ.

— Могу я надѣяться на выздоровленіе?—спросила сестра дрогнувшимъ голосомъ.

— Конечно, конечно!—благодушно отвѣтилъ профессоръ.—Тысячи тѣмъ же больны, чѣмъ вы,—поправитесь! Вотъ мы вамъ назначимъ ванны, два раза въ недѣлю, потомъ...

Мнѣ становилось все противнѣе смотрѣть на это веселое, равнодушное лицо, слушать этотъ

тонъ, какимъ говорятъ только съ маленькими дѣтьми. Вѣдь тутъ цѣлая трагедія: полгода назадъ мать, случайно вошедши къ сестрѣ, вырвала изъ ея рукъ морфій, которымъ она хотѣла отравиться, чтобъ не жить недужнымъ паразитомъ... И вотъ этотъ противный тонъ, эта развязность, показывающая, какъ мало дѣла всѣмъ постороннимъ до этой трагедии.

Сестра стояла молча, и изъ ея глазъ непроизвольно текли крупныя слезы; гордая, она досадовала, что не можетъ ихъ удержать, и онѣ капали еще чаще. Ея большое горе было опошлено и измельчено, такихъ, какъ она,—тысячи, и ничего въ ея горѣ нѣтъ ни для кого ужаснаго... А она такъ ждала его совѣта, такъ надѣялась!

— Ну, во-отъ!.. Ну, это, барышня, ужъ совсѣмъ нехорошо!—воскликнулъ профессоръ, увидѣвъ ея слезы.—Ай-ай-ай, какой срамъ! Плакать, а!.. Полноте, полноте!..

И опять все въ его тонѣ говорило, что профессоръ каждый день видитъ десятки такихъ плачущихъ, и что для него эти слезы—просто капли соленой воды, выдѣляемая изъ слезныхъ железокъ расшатанными нервами.

Мы молча вышли, молча сѣли на извозчика. Сестра наклонилась, прижала къ губамъ муфту—и вдругъ разрыдалась, злобно давя рыданія и все-таки не въ силахъ ихъ сдержать.

— Не стану я принимать его глупыхъ лекарьствъ!—воскликнула она и, выхвативъ рецетъ, разорвала его въ клочки. Я не протестовалъ; у меня въ душѣ было то же чувство, и всякая вѣ-

ра пропала въ леченіе, назначенное этимъ равнодушнымъ, самодовольнымъ человѣкомъ, которому такъ мало дѣла до чужого горя...

А вечеромъ въ тотъ же день я думалъ: гдѣ же пайти границу, при которой могли бы жить и врачъ, и больной, и сумѣю ли я самъ всегда удержаться на этой границѣ?..

XIX.

Какъ-то ночью ко мнѣ въ квартиру раздался сильный звонокъ. Горничная сообщила мнѣ, что зовутъ къ больному. Въ передней стоялъ высокій угреватый молодой человѣкъ въ фуражкѣ почтоваго чиновника.

— Пожалуйста, докторъ, нельзя ли поскорѣе посѣтить больную! — взволнованно заговорилъ онъ.—Дама одна умираетъ... Тутъ недалеко, сейчасъ за угломъ...

Я одѣлся, и мы пошли съ нимъ.

— Что случилось съ вашею больною? Давно она больна?—спросилъ я своего спутника.

Онъ съ недоумѣніемъ пожалъ плечами.

— Прямо не понимаю!.. Что такое, Господи!.. Она—жена моего товарища, я у нихъ живу въ нахлѣбникахъ... Вечеромъ пріѣхала съ мужемъ изъ гостей,—шутила, смѣялась. А сейчасъ мужъ будить меня, говорить, умираетъ, послалъ за вами... Отчего это случилось, положительно не могу опредѣлить!

Мы поднялись на четвертый этажъ по темной и крутой лѣстницѣ, освѣщая дорогу спичками.

Спутникъ мой быстро позвонилъ. Намъ открылъ дверь молодой смуглый мужчина съ черною бордкою, въ одной жилеткѣ.

— Докторъ... Ради Бога!..—прорыдалъ онъ.— Поскорѣ!..

Онъ ввелъ меня въ спальню. На широкой двухспальной кровати, согнувшись, головою къ стѣнѣ, неподвижно лежала молодая женщина. Я взялся за пульсъ,—рука была холодна и тяжела, пульса не было; я положилъ молодую женщину на спину, посмотрѣлъ глазъ, выслушалъ сердце... Она была мертва. Я медленно выпрямился.

— Ну, что?—спросилъ мужъ.

Я съ сожалѣніемъ пожалъ плечами.

— Умерла?!—захлебнулся онъ—и вдругъ, глядя на меня остановившимися, выпученными глазами быстро, коротко зарыдалъ, словно залаялъ; онъ какъ будто не могъ оторвать взгляда отъ моихъ глазъ, трясаясь и рыдая этимъ страшнымъ, отрывистымъ, похожимъ на быстрый лай рыдаіемъ.

— Успокойтесь... Ну, что же дѣлать!—сказалъ я, кладя ему руку на рукавъ.

Онъ тяжело опустился на стулъ и, раскачиваясь всеѣмъ тѣломъ, схватился за голову. Стоявшая у комода дѣвушка въ ночной кофтѣ и вязаной юбкѣ громко заплакала.

Умершая холодѣла. Молодая и прекрасная, въ обшитой кружевами рубашкѣ, она лежала среди смятыхъ простынь, еще, казалось, полныхъ тепломъ постели.

— Какъ все это произошло?—спросилъ я.

— Совсѣмъ была здорова! — выкрикнулъ мужъ.—Вчера изъ гостей пріѣхали... Ночью просыпаюсь, вижу, лежитъ какъ-то бокомъ. Тронулъ ее за плечо,—не шевелится, холодная... Господи, Господи, Господи! — повторялъ онъ, крутя на себѣ волосы. — Оо-оо-оо!.. Ваня, да что же это такое?!

Мой спутникъ жалко заморгаль глазами.

— Ну, голубчикъ! Сережа!.. Ну, что же дѣлать!—печально и упрашивающе произнесъ онъ.— Божья воля! Вонъ у Чепракова, самъ знаешь, то же было, что жъ подѣлаешь противъ Бога?

— Да вѣдь... Сейчасъ только!.. На-астенька! Настя!..

Дѣвушка одѣлась и пошла послать дворника за матерью умершей. Товарищъ продолжалъ утѣшать мужа. Миѣ было нечего дѣлать, я всталъ уходить.

— Сейчасъ, докторъ. Одну минутку... будьте добры?—быстро проговорилъ мужъ.

Продолжая рыдать, онъ поспѣшно выдвинулъ ящикъ комода, порылся въ немъ и протянулъ миѣ три рубля.

— Не надо!--сказалъ я, нахмурившись и отводя его руку.

— Нѣтъ, докторъ, какъ же такъ?—встрепенулся онъ.— Съ какой стати?—Нѣтъ ужъ, пожайлууста!..

Пришлось взять. Я воротился домой. Миѣ было тяжело и обидно, полученные три рубля жгли миѣ карманъ: какимъ грубымъ и рѣзкимъ диссонансомъ они ворвались въ ихъ горе! Миѣ представлялось, что такъ у меня на глазахъ умерла моя

жена, — и въ это время искать какіе-то три рубля, чтобъ заплатить врачу! Да будь всѣ врачи ангелами, одно это оплачиваніе ихъ помощи въ то время, когда кажется, что весь міръ долженъ замереть отъ горя, — одно это способно внушить къ нимъ брезгливое и враждебное чувство. Такое именно чувство, глядя на себя со стороны, я и испытывалъ къ себѣ.

О, эта плата! Какъ много времени должно было пройти, чтобы хоть сколько-нибудь свыкнуться съ нею! Каждый твой шагъ отмѣчается рублемъ, звонъ этого рубля непрерывно стоитъ между тобою и страдающимъ человѣкомъ. Сколько осложненій онъ вызываетъ въ отношеніяхъ, какъ часто мѣшаетъ дѣлу и связываетъ руки...

Особенно тяготилъ меня первое время самый способъ оцѣнки врачебнаго труда, — плата врачу не за *излеченіе*, а просто за *леченіе*. При теперешнемъ состояніи науки иначе и быть не можетъ; но все-таки казалось дикимъ и бессмысленнымъ получать деньги за трудъ, не принесшій никому пользы. Года три назадъ одинъ ліонскій врачъ лечилъ больную внутриматочными впрыскиваніями іода; больная не поправлялась. Мужъ больной, состоятельный человѣкъ, вмѣсто уплаты гонорара предъявилъ къ врачу искъ въ 10.000 франковъ за причиненный якобы вредъ здоровью его жены. Судъ отказалъ истцу въ искѣ и приговорилъ его уплатить врачу шестьсотъ франковъ за леченіе, такъ какъ врачъ при леченіи употреблялъ способъ, выработанный наукою, и поэтому не можетъ быть отвѣтственъ за неудачу леченія.

Ну, а чѣмъ же виновать больной, который обращается къ врачу за помощью, а долженъ платить ему за удовольствіе безрезультатно лечиться по „способу, выработанному наукою“? Сганарель въ мольеровскомъ „Le médecin malgré lui“ говоритъ: „Я нахожу, что ремесло врача — самое выгодное изъ всѣхъ: дѣлаешь ли ты свое дѣло хорошо или худо, тебѣ всегда одинаково платятъ. Неудача никогда не обрушивается на наши спины, и мы кроимъ, какъ намъ угодно, матерію, надъ которою работаемъ. Если башмачникъ, дѣлая башмаки, испортитъ кусочекъ кожи, онъ долженъ будетъ заплатить убытки; но здѣсь можно испортить человека, ничѣмъ не платясь за это“. Въ этихъ словахъ Сганареля, какъ и вообще въ отзывахъ Мольера о врачахъ, много убійственно вѣрнаго. Дѣло только въ томъ, что для насмѣшки тутъ совершенно нѣтъ мѣста: передъ нами опять одна изъ тѣхъ сложныхъ, тяжелыхъ несообразностей, которыми такъ томительно-обильно врачебное дѣло. Лионскій судъ нашель, что обвиняемый врачъ „употреблялъ способъ, выработанный наукою, и поэтому не можетъ быть отвѣтственъ за неудачу леченія“. Мольеръ устами субретки Туанетты (въ „Le malade imaginaire“) насмѣшливо замѣтитъ: „Ну, конечно! Вы, врачи, находитесь при больныхъ только для того, чтобъ получать ваши гонорары и дѣлать назначенія; а остальное — ужъ дѣло самихъ больныхъ: пусть поправляются, если могутъ“. И на это приходится совершенно серьезно отвѣтить словами, которыми у Мольера каррикатурный докторъ Диафойрусъ отвѣчаетъ Туанеттѣ: „Cela est vrai. On

n'est obligé qu'à traiter les gens dans les formes". Да, именно,—мы только обязаны лечить людей по всѣмъ правиламъ науки. И не наша вина, что эта наука такъ несовершенна. Если бы врачъ получалъ вознагражденіе только за успѣшное леченіе, то, щадя свой трудъ, онъ не сталъ бы браться за леченіе сколько-нибудь серьезной болѣзни, такъ какъ поручиться за ея излеченіе онъ никогда не можетъ.

Вначалѣ вообще всякая плата, которую мнѣ приходилось получать за мой врачебный совѣтъ, страшно тяготила меня; она принижала меня въ моихъ собственныхъ глазахъ и грязнымъ пятномъ ложилась на мое дѣло. Я не понималъ, какъ могли западно-европейскіе врачи дойти до такого цинизма, чтобъ ввести въ обычай посылку пациентамъ счетовъ за леченіе. Счетъ за леченіе! Какъ будто врачъ—торговецъ, и его отношеніе къ пациенту можно усчитывать, словно какую-нибудь бакалею, франками и марками! Какъ вольтеровскій идеальный врачъ, я принималъ плату „не иначе, какъ съ сожалѣніемъ“, и пользовался всякимъ предлогомъ, чтобъ отказаться отъ нея. Первые два года я нанималъ въ Петербургѣ комнату отъ хозяйки. Хозяйка часто обращалась къ моей врачебной помощи и первое время при прощаніи вручала мнѣ деньги.

— Полноте! Что вы? — оскорбленнымъ голосомъ говорилъ я и втискивалъ деньги обратно въ ея ладонь.

Хозяйка, скрывая улыбку прятала деньги въ карманъ; а я изъ ея просторной спальни шелъ въ

свою узкую и темную комнату возлѣ кухни и сидѣлся за переписку, по пятнадцати копеекъ съ листа, какого-то доклада объ элеваторахъ, чтобъ заработать денегъ на плату той же хозяйкѣ за свою комнату.

Древне-русскіе иноки-цѣлители не знали платы за леченіе; они были „врачами безмездными“. На мой взглядъ, эта „безмездность“ необходимо должна была лежать въ основѣ высокой дѣятельности каждаго врача. Плата—это лишь печальная необходимость, и чѣмъ меньше она будетъ замѣшиваться въ отношенія между врачомъ и больнымъ, тѣмъ лучше; она дѣлаетъ эти отношенія неестественными и напряженными и часто положительно связываетъ руки. Больной поправляется, но онъ еще слабъ, за нимъ необходимо внимательно слѣдить; а близкіе вѣжливо говорятъ мнѣ: „Теперь ему, слава Богу, лучше; если станетъ хуже, вы ужъ будьте добры, не откажитесь снова навѣстить насъ“. На это возможенъ только одинъ отвѣтъ: „Я долженъ продолжать навѣщать его и теперь,—сами вы не въ состояніи опредѣлить, когда ему понадобится моя помощь“. Но это значило бы въ то же время: „Продолжай платить мнѣ за визиты“. И единственнаго нужнаго отвѣта не даешь, и оставляешь больного на произволь судьбы.

Когда я читалъ въ газетахъ, что какой-нибудь врачъ взыскиваетъ съ пациента гонораръ судомъ, мнѣ становилось стыдно за свою профессію, въ которой возможны такіе люди; мнѣ ясно рисовался образъ этого врача,—черстваго и алчнаго, видящаго въ страданіяхъ больного человѣка лишь воз-

возможность получить съ него столько-то рублей. Зачѣмъ онъ пошелъ во врачи? Шелъ бы въ торговцы или подрядчики, или открылъ бы кассу ссудъ.

Я вступилъ въ жизнь. Я ближе увидѣлъ отношеніе большихъ къ врачамъ, ближе узналъ своихъ товарищей-врачей. И постепенно прежніе мои взгляды стали значительно мѣняться. У меня былъ товарищъ-врачъ, специалистъ по массажу. Онъ въ теченіе двухъ лѣтъ лечилъ семью одного богатаго коммерсанта. Коммерсантъ, очень интеллигентный господинъ и вполне „джентльменъ“, задолжалъ товарищу около двухсотъ рублей. Прошло полгода. Товарищу были очень нужны деньги; онъ написалъ коммерсанту вѣжливое письмо, гдѣ просилъ его прислать деньги. Коммерсантъ въ тотъ же день самъ пріѣхалъ къ нему, привезъ деньги и рассыпался въ извиненіяхъ.

— Ради Бога, докторъ, простите!.. Мнѣ такъ неловко, что я заставилъ васъ ждать! Совсѣмъ пизъ головы вонь. Знаете, такая масса дѣлъ,—то, другое, поневолѣ иной разъ забудешь! Пожалуйста, простите,—виновать!

Но все время онъ называлъ товарища не по имени и отчеству, а „докторъ“, все время держался съ тою изысканною вѣжливостью, которою люди прикрываютъ свое брезгливое отношеніе къ человѣку.

Съ этихъ поръ коммерсантъ пересталъ обращаться за помощью къ товарищу. Въ своихъ дѣлахъ онъ, конечно, не считалъ предосудительнымъ предъявлять кліентамъ векселя и счета; по

врачъ,—врачъ, который въ свое дѣло замѣшиваетъ деньги... Такой врачъ, въ его глазахъ, не стоялъ на высотѣ своей профессіи.

Поведеніе коммерсанта поразило меня и заставило сильно задуматься; оно было безобразно и бессмысленно, а между тѣмъ въ основѣ его лежалъ именно тотъ возвышенный взглядъ на врача, который цѣликомъ раздѣлялъ и я. По мнѣнію коммерсанта, врачъ долженъ стыдиться,—чего? Что ему нужно ѣсть и одѣваться, и что онъ требуетъ вознагражденія за свой трудъ! Врачъ можетъ весь свой трудъ отдавать обществу даромъ, но кто же сами-то эти безкорыстные и самоотверженные люди, которые считаютъ себя въ правѣ требовать этого отъ врача?

Да, за свой трудъ, какъ всякій работникъ, врачъ имѣетъ право получать вознагражденіе, и ему нечего стыдиться этого; ему нечего принимать плату тайно и конфузливо, какъ какую-то позорную, незаконную взятку. Обществу извѣстны свѣтлые образы самоотверженныхъ врачей-безсребренниковъ, и такими оно хочетъ видѣть всѣхъ врачей. Желаніе, конечно, вполне понятное; но вѣдь было бы еще лучше, если бы и само общество состояло сплошь изъ идеальныхъ людей. Средній врачъ есть обыкновенный средній человѣкъ, и отъ него можно требовать лишь того, чего можно требовать отъ средняго человѣка. И если онъ не желаетъ трудиться даромъ, то какое право имѣютъ клеймить его за корыстолюбіе люди, которые свой собственный трудъ умѣютъ оцѣнивать весьма зорко и старательно?

Не такъ давно г. Эмь-Ге рассказывалъ въ газетѣ „Сынъ Отечества“, какъ одинъ его знакомый обратился къ нему съ просьбою „пропечатать“ въ газетѣ врача, подавшаго на этого знакомаго въ судъ за неуплату гонорара.

— А отчего вы не заплатили ему?—спросилъ сотрудникъ газеты.

— Да такъ, знаете, — праздники подходят, дачу нанимать, дѣтямъ лѣтніе костюмчики, ну, все такое прочее...

Вотъ она, обратная сторона возвышеннаго взгляда общества на врачей. Врачъ долженъ быть безкорыстнымъ подвижникомъ,—ну, а мы, простые смертные, будемъ на его счетъ нанимать себѣ дачи и веселиться на праздникахъ. Одинъ врачъ рассказалъ мнѣ такой случай изъ своей практики:

„Пріѣзжаетъ ко мнѣ дама, проситъ навѣстить ея больного сына. Ёду. Небольшая, но очень уютная и милая квартирка; сынъ-гимназистъ лежитъ въ тифѣ. Я спрашиваю, лечилъ ли его кто-нибудь раньше. Мать брезгливо поморщилась.

„— Да, говоритъ, его д-ръ N. лечилъ... Скажите, пожалуйста, докторъ, отчего среди врачей такъ много безсердечныхъ, корыстолюбивыхъ людей? Этотъ д-ръ N. пріѣхалъ разъ, осмотрѣлъ Васю; приглашаю его во второй разъ,—я, говоритъ, ужъ знаю его болѣзнь, могу и такъ, не видя, прописать вамъ рецептъ...

„Я согласился, что это очень нехорошо. Осмотрѣлъ мальчика, назначилъ леченіе, ухажу. Мать провожаетъ меня, благодаритъ и... ничего! Пожала

руку, „очень вамъ благодарна“,—только и всего. Дня черезъ три является снова звать меня.

„— Я, говорю, ужъ знаю болѣзнь вашего мальчика, могу и такъ, не видя, прописать вамъ рецептъ...“

„Барыня взяла рецептъ, въ негодованіи встала и, не прощаясь, ушла“.

Барыня эта, конечно, много и горячо будетъ всёмъ рассказывать о корыстолюбіи нашихъ врачей. И удивительно, съ какою увѣренностью въ своей правотѣ распространяютъ свои рассказы подобныя люди, и съ какимъ сочувствіемъ встрѣчаетъ общество эти рассказы. Въ № 248 „Рижскаго Вѣстника“ за 1892 годъ было помѣщено письмо въ редакцію слѣдующаго содержанія:

21-го сентября сего года, по случаю болѣзни моей дочери, былъ приглашенъ ко мнѣ въ домъ д-ръ Гордонъ. Пробывъ минутъ десять у больной, г. Гордонъ уѣхалъ съ обѣщаніемъ пріѣхать на другой день опять. За визитъ ему было заплачено одинъ рубль. Черезъ полчаса послѣ его ухода моя дочь получаетъ отъ него визитную карточку, на которой написано слѣдующее: „Милостивая Государыня! Въ виду неопасности вашего положенія совѣтую вамъ впредь обращаться къ врачу поближе. Я же меньше, чѣмъ за три рубля, не ѣду на домъ и меньше, чѣмъ за два, не принимаю у себя. Пребываю съ почтеніемъ Л. Гордонъ“. Не мѣшало бы г. Гордону, печатая о себѣ объявленія въ газетахъ, прибавлять къ нимъ также свою таксу визитовъ. Тогда, по крайней мѣрѣ, онъ не будетъ ошибаться въ своихъ расчетахъ. *А. Ивановъ.*

Трудъ врача,—писалъ въ своемъ возраженіи д-ръ Гордонъ,— не можетъ правильно оцѣниваться опредѣленнымъ, разъ на всегда положеннымъ гонораромъ. Безсонная ночь, проведенная у постели бѣдняка-больного,

вполнѣ оплачивается сознаниемъ исполненнаго долга: пользуя же больного состоятельнаго, врачъ въ правѣ претендовать и на соотвѣтствующую труду его матеріальную оцѣнку. У врача, безъ сомнѣнія, много святыхъ обязанностей въ отношеніи ближняго; но должны же быть кое-какія обязанности и по отношенію къ врачу со стороны больного или окружающихъ его... Перехожу къ случаю, бывшему въ моей практикѣ. 21-го сентября сего года меня просили „немедленно поѣхать“ къ больной на Курмановскую улицу, на Московскій форштадтъ, что я исполнилъ по возможности скоро. У постели больной я, ничуть не снѣша, остался ровно столько, сколько требовалъ, на мой взглядъ данный случай. По пріѣздѣ домой я расплатился съ извозчикомъ, которому пришлось отдать большую половину гонорара. Остаткомъ отъ рублеваго гонорара я, дѣйствительно, остался недоволенъ. Въ виду кропотливости дальнѣйшаго леченія хроническаго страданія больной, я рѣшился предложить ей свои условія, на которыя ей вольно было согласиться, или нѣтъ.

Этотъ случай очень характеренъ. Господинъ А. Ивановъ,—замѣтьте, человекъ состоятельный,—заставляетъ врача „немедленно“ пріѣхать къ себѣ съ другого конца такого большого города, какъ Рига, потраченное врачомъ время оплачиваетъ тридцатью-сорока копейками,—и не себя, а врача же пригвождаетъ къ позорному столбу за корыстолюбіе! И газета печатаетъ его письмо, и читатели возмущаются врачомъ...

Будучи даже обыкновеннымъ среднимъ человекомъ, врачъ все-таки, въ силу самой своей профессіи, дѣлаетъ больше добра и проявляетъ больше безкорыстія, чѣмъ другіе люди. Единственный кормилецъ семьи тяжело боленъ, семья голодаетъ,—врачъ не беретъ платы за леченіе. Несом-

миѣнно, что и всякій другой ск олько-нибудь по рядочный человекъ при такихъ обстоятельствахъ не взялъ бы денегъ. Разница только та, что другою *не взялъ бы*, а врачъ *не беретъ*, это очень немалая разница. Для обыкновеннаго средняго человека доброе дѣло есть нѣчто экстраординарное и очень рѣдкое, для средняго врача оно совершенно обычно. У большинства врачей есть приемные часы для бесплатныхъ больныхъ, въ больши́нствѣ городовъ существуютъ бесплатныя амбулаторіи, и никогда нѣтъ недостатка во врачахъ, соглашающихся работать въ нихъ даромъ. По подсчету проф. Сикорскаго, въ главнѣйшихъ амбулаторныхъ пунктахъ г. Кіева (Красный Крестъ, Покровская община и др.) было подано въ 1895 году свыше 138.000 бесплатныхъ врачебныхъ совѣтовъ. Если оцѣнить каждый совѣтъ только въ 25 коп., если допустить, что у себя на дому и при посѣщеніяхъ врачи со всѣхъ берутъ плату, то все-таки выйдетъ, что двѣсти кіевскихъ врачей ежегодно жертвуютъ на бѣдныхъ около тридцати пяти тысячъ рублей... Читатель, сколько въ годъ жертвуете на бѣдныхъ вы?

Если бы люди всѣхъ профессіи, — адвокаты, чиновники, фабриканты, помѣщики, торговцы — дѣлали для несостоятельныхъ людей столько же, сколько въ предѣлахъ своей профессіи дѣлаютъ врачи, то самый вопросъ о бѣдныхъ до нѣкоторой степени потерялъ бы свою остроту. Но суть въ томъ, что врачи должны быть бозкорыстными, а остальные... остальные могутъ довольствоваться

тѣмъ, чтобъ требовать этого безкорыстія отъ врачей.

Лѣтъ двадцать назадъ въ Кіевѣ произошелъ такой случай. Д-ръ Проценко былъ приглашенъ на домъ къ одному больному; онъ осмотрѣлъ его, но, узнавъ, что у больного нѣтъ средствъ заплатить за визитъ, ушелъ, не сдѣлавъ назначенія. Докторъ былъ привлеченъ къ суду и приговоренъ къ штрафу и аресту на мѣсяць на гауптвахтѣ. Многочисленная публика, наполнявшая судебный залъ, встрѣтила приговоръ аплодисментами и криками „браво!“.

Поступокъ доктора Проценко былъ возмутителенъ,—объ этомъ не можетъ быть и спору; но вѣдь интересна и психологія публики, горячо поаплодировавшей обвинительному приговору — и спокойно разошедшейся послѣ этого по домамъ; расходясь, она говорила о жестокосердномъ корыстолюбіи врачей, но ей и въ голову не пришло хоть грошомъ помочь тому бѣдняку, изъ-за котораго былъ осужденъ д-ръ Проценко. Я представляю себѣ, что этотъ бѣднякъ умѣлъ логически и послѣдовательно мыслить. Онъ подходитъ къ первому изъ публики и говоритъ:

— Какъ вы слышали, на судѣ было съ несомнѣнностью доказано, что я бѣденъ и не имѣлъ средствъ заплатить врачу; вы легко догадаетесь, что мнѣ нужно не только лечиться, но и ѣсть, дѣти мои тоже голодаютъ... Потрудитесь дать маѣ рубля два-три.

— Прежде всего, голубчикъ, если ты этого *требуешь*, то я тебѣ ничего не дамъ,—отвѣчаетъ

господинъ, пѣсколько удивленный такой развязностью. — А если ты *просишь*, то, пожалуй, для спасенія своей души я дамъ тебѣ пятакъ; возьми и поминай раба Божія такого-то.

— Нѣтъ-съ, я не прошу, а требую, и не какого-нибудь пятакъ, а по крайней мѣрѣ рубля два-три. Визитъ врача стоитъ около этого, а вы видѣли, что съ нимъ сдѣлали за то, что онъ отказалъ мнѣ въ помощи,—и вы сами рукоплескали его осужденію. Если вы мнѣ не дадите трехъ рублей, то я и васъ посажу на скамью подсудимыхъ.

Возмущенный господинъ, разумѣется, зоветъ городского и, при всеобщемъ сочувствіи публики, велитъ отправить нахала въ участокъ. И тамъ бѣднякъ узнаетъ, что не всегда можно мыслить послѣдовательно, что врача за отсутствіе безкорыстія можно упрятать въ тюрьму, а всѣ остальные люди пользуются правомъ невозбранно распоряжаться своимъ кошелькомъ и трудомъ; за отказъ въ помощи умирающему съ голоду чело-вѣку имъ предоставляется право вѣдаться только съ собственною совѣстью и, если совѣсть эта достаточно тверда, то они могутъ гордо нести свои головы и пользоваться всеобщимъ почетомъ.

XX.

Первый долгъ всякаго врача есть: быть чело-вѣкомъ любимымъ и во всякомъ случаѣ готовымъ къ оказанію дѣятельной помощи всякаго званія людямъ, болѣзнями одержимымъ. Посему всякій врачъ обязанъ по приглашенію больныхъ являться для поданія имъ помощи. Кто

этого не сдѣлаеть безъ особыхъ законныхъ къ тому препятствій, тотъ, за такую несправность и неуваженіе къ страждущему человѣчеству, подвергается штрафу не свыше ста рублей и къ аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ.

Такъ гласить 81 ст. Врачебнаго Устава и ст. 872 и 1522 Уложенія о наказаніяхъ. Напрасно во всемъ Сводѣ Законовъ стали бы мы искать другихъ случаевъ, въ которыхъ бы на людей налагалась *юридическая* обязанность „быть человѣколюбивымъ“, и устанавливалось наказаніе „за неуваженіе къ страждущему человѣчеству“. Подобныя требованія законъ предъявляетъ къ однимъ только врачамъ. Но неужели же страданія человѣчества исчерпываются одними внезапными заболѣваніями людей, и только въ этомъ случаѣ имъ нужна скорая и безотлагательная помощь? Безпріютный человѣкъ можетъ замерзнуть на подъѣздѣ никѣмъ незапятой квартиры, можетъ умереть съ голоду подъ окномъ булочной,—и законъ равнодушно отправитъ трупъ въ полицейскій приемный покой и ограничится констатированіемъ причины смерти погибшаго; владѣльцы дома и булочной могутъ быть спокойны: они не обязаны быть человѣколюбивыми и уважать страждущее человѣчество. Но если врачъ, истомленный дневнымъ трудомъ и предыдущею безсонною ночью, откажется поѣхать къ больному, является законъ и запрятываетъ „безчеловѣчнаго“ врача въ тюрьму.

Заболѣвшаго человѣка нельзя оставлять безъ помощи. Если предоставить врачамъ право отка-

зыватья отъ приглашеній, то въ нужную минуту невозможно будетъ добыть врача. У меня въ смертельной опасности близкій, дорогой мнѣ человекъ. Я ѣду за врачомъ. Онъ выходитъ ко мнѣ въ прихожую, пережевывая бифштексъ, и хладнокровно заявляетъ: „Я сейчасъ ужинаю, а послѣ ужина лягу спать; ѣхать поздно, поищите другого врача“. Въ другомъ мѣстѣ мнѣ отвѣчаютъ, что врача нѣтъ дома, въ третьемъ, — что онъ играетъ въ карты и не расположенъ ѣхать. Пока я рыскалъ по городу въ поискахъ за врачомъ, больной умеръ; а могъ бы быть спасенъ. Развѣ не врачи виноваты въ его смерти, и развѣ не заслуживаютъ они тюрьмы?

Но развѣ не владѣльцы домовъ съ незанятыми квартирами виноваты въ безпріютности безпріютныхъ людей, не булочники — въ голоданіи голодныхъ? Такъ просто и близоруко рѣшаютъ общественные вопросы позволительно только дѣтямъ. Нельзя, чтобъ люди умирали съ голоду и замерзали на улицахъ, — но общество все въ цѣломъ должно организовать для нихъ помощь, а не сваливать заботу на отдѣльныхъ домовладѣльцевъ только потому, что у нихъ есть незанятая квартира, и на булочниковъ, потому что они торгуютъ именпо хлѣбомъ. Нельзя, чтобъ бѣднякъ умиралъ безъ врачебной помощи, нельзя, чтобъ въ ночное время люди не могли найти врача, — по объ этомъ должно заботиться само же общество, устраивая ночныя дежурства врачей и содержа спеціальныхъ врачей для бѣдныхъ. Въ Англии, Франціи и Германіи давно отмѣнены законы, обя-

зываютъ врачей лечить бѣдныхъ даромъ и являться къ больнымъ по первому призыву.

У насъ общество не хочетъ затруднять себя лишними хлопотами; всю тяжесть оно сваливаетъ съ своихъ плечъ на плечи единичныхъ людей и жестоко караетъ ихъ въ случаѣ, если они отказываются нести эту тяжесть. Несправедливость такого порядка вещей бьетъ въ глаза, но такъ какъ она выгодна для общества, то ея не замѣчаютъ и не хотятъ замѣчать. И вотъ, уклоняясь само отъ своей прямой обязанности, общество преисполняется благороднымъ негодованіемъ, когда тѣ, на кого оно свалило эту обязанность, съ недостаточною готовностью исполняютъ налагаемая на нихъ требованія. Происходитъ нѣчто невѣроятное: люди какъ будто теряютъ пониманіе самыхъ простыхъ вещей, о которыхъ и спорить стыдно, съ недоумѣніемъ спрашиваешь себя,—неужели нравственная слѣпота способна доходить до такихъ предѣловъ?

Вотъ что, напр., писалъ г. А. П.—въ № 8098 „Новаго Времени“:

Могутъ ли по ночамъ и по праздникамъ болѣть зубы? Должно быть, не могутъ, судя по словамъ того лица, которое жалуется мнѣ. У насъ обрушиваются на врачей, когда послѣдніе не идутъ совѣмъ или идутъ неохотно ночью къ больному, а большая часть дантистовъ пользуется какою-то особенной привилегіей, въ силу непонятныхъ обычаевъ — отдыхать въ праздники и не тревожить себя ночью. Больной обращался къ нѣсколькимъ дантистамъ и ни одного не могъ увидѣть.

Замѣтка приведена мною совершенно точно;

въ ней такъ-таки и напечатано: „какая-то особенная привилегія“ и „непонятный обычай“. По отношенію къ какому другому работнику повернется языкъ даже у того же г-на А. П—ва сказать, что отдыхать въ праздники есть особенная привилегія, и не тревожить себя по ночамъ—непонятный обычай? По отношенію къ самому себѣ г. А. П—въ наврядъ ли нашелъ бы такой обычай особенно непонятнымъ.

У меня былъ товарищъ по университету, по фамиліи Петровъ. Окончивъ курсъ, онъ поступилъ земскимъ врачомъ въ глухой уѣздъ одной изъ восточныхъ губерній, и я потерялъ его изъ виду. Года два назадъ въ газетахъ, сначала провинціальныхъ, потомъ и столичныхъ, былъ опубликованъ возмутительный случай, героемъ котораго оказался какъ разъ этотъ мой товарищъ. Въ деревнѣ N.,—сообщали газеты,—волостной старшина поѣлъ гнилой рыбы и заболѣлъ. Онъ послалъ въ сосѣднее мѣстечко за земскимъ врачомъ Петровымъ. Петровъ вмѣсто себя прислалъ фельдшера. Больному становилось все хуже. Онъ вторично послалъ за врачомъ, но пріѣхалъ опять фельдшеръ. Къ утру старшина умеръ. Какъ оказалось, д-ръ Петровъ былъ въ ту ночь мертвецки пьянъ. Земство немедленно уволило его. Мѣсяца два имя Петрова не сходило со столбцовъ газетъ и прославилось на всю Россію.

Черезъ полгода я увидѣлъ Петрова у себя въ Петербургѣ; онъ пріѣхалъ искать мѣста и зашелъ ко мнѣ. Загорѣлый и неуклюжій, въ крахмальной манишкѣ, къ которой онъ не привыкъ, Петровъ

сидѣлъ, понутивъ свою лохматую голову, и рассказывалъ мнѣ о случившемся.

— Все такъ и было, какъ въ газетахъ описано,—вѣрно. У насъ была тогда ярмарка; амбулаторный пріемъ въ такіе дни громадный, пришлось принять около двухсотъ человѣкъ,—ты-то поймешь, что это значить. А ночь передъ этимъ позвали на роды въ Щегловку, дѣлалъ поворотъ, воротился домой какъ-разъ къ пріему, только стаканъ чаю и успѣлъ выпить. На ярмарку съѣхались кой-какіе пріятели. Съли мы вечеромъ за винтъ, потомъ выпили. Выпито было, дѣйстви-тельно, основательно... Идетъ эдакъ недѣля за недѣлей, мѣсяць за мѣсяцемъ, треплютъ тебя во всѣ стороны,—такъ, братъ, иной разъ замутить, что и на свѣтъ не глядѣлъ бы. И я ужъ знаю о себѣ: подойдетъ такая линія,—бываетъ это разъ пять-шесть въ годъ,—задашь себѣ встряску, выпьешь, какъ слѣдуетъ,—непремѣнно такъ, чтобъ въ похмѣльѣ быть, какъ въ аду,—ну, и опять свѣжъ и бодръ... Воротился я, значить, домой. Зовутъ къ больному,—„помираетъ“. Грѣшный человѣкъ, не могъ ѣхать, — пришлось бы больничному мужику взваливать меня на телѣгу... Ну, вотъ и случилось...

Онъ помолчалъ.

— Ты, братъ, не знаешь, что такое земская служба. Со всѣми нужно ладить, отъ всякаго зависѣть. Больные приходятъ, когда хотятъ, и днемъ, и ночью; какъ откажешь? Иной мужикъ ѣдетъ лошадь подковать, проѣздомъ завернетъ и къ тебѣ: нельзя ли пріѣхать, баба помираетъ. Ѣдешь

за пять верстъ: „гдѣ больная?“—„А она сейчасъ рожь ушла жать...“ Участокъ у меня въ пятьдесятъ верстъ, два фельдшерскихъ пункта въ разныхъ концахъ, каждый я обязанъ посѣтить по два раза въ мѣсяцъ. Спишь и ѣшь, чортъ знаетъ, какъ. И это изо дня въ день, безъ праздниковъ, безъ перерыву. Дома сынишка лежитъ въ скарлатинѣ, а ты поѣзжай... Крайне тяжелая служба!

Онъ задумался, положивъ руки на колѣни.

— Служба крайне тяжелая!—повторилъ онъ и снова замолчалъ.—Въ газетахъ пишутъ: „д-ръ Петровъ былъ пьянъ“. Вѣрно, я былъ пьянъ, и это очень нехорошо. Всѣ въ правѣ возмущаться. Но сами-то они,—вѣдь девяносто девять изъ нихъ на сто весьма не прочь выпить, не разъ бываютъ пьяны и въ вину этого себѣ не ставятъ. Они только не могутъ понять, что другому человѣку *ни одна минута* его жизни не отдана въ его полное распоряженіе... А это, братъ, охъ, какъ тяжело,—не дай Богъ никому!..

Я позволю себѣ познакомить читателя еще съ одной газетной замѣткой.

„Петербургъ въ настоящее время буквально можетъ быть названъ „безпомощнымъ“,—писалъ въ іюль 1898 г. хроникеръ „Петербургской Газеты“, г. В. П.:—въ теченіе послѣдней недѣли мнѣ три раза пришлось убѣждаться въ томъ, что лѣтомъ столичные обыватели совершенно лишены медицинской помощи. Лѣтомъ петербуржець не смѣетъ болѣть, иначе ему придется очень плохо: онъ рискуетъ не найти доктора...“ Разказавъ, какъ ему и нѣкоторымъ изъ его знакомыхъ пришлось тщетно искать по всему Петербургу врача, г. В. П. заканчиваетъ свою замѣтку слѣдующими „очень интересными принципаль-

ными вопросами: „имѣютъ ли право врачи такъ неглижировать своими отношеніями къ паціентамъ, какъ они дѣлаютъ это въ настоящее время? Являются ли врачи безусловно-свободными людьми, могущими располагать своимъ временемъ по личному желанію? Короче, служатъ ли они обществу или нѣтъ?“

Вопросы, дѣйствительно, интересные... Служать ли врачи обществу или нѣтъ? Вѣдь всякое служеніе предполагаетъ, по крайней мѣрѣ, хоть какую-нибудь взаимность обязанностей. Врачи уѣзжаютъ на лѣто изъ Петербурга, — одни, чтобъ отдохнуть отъ зимней работы, другіе, — потому что прожить лѣтомъ практикою въ обезлюдѣвшемъ Петербургѣ трудно. Они должны оставаться, такъ какъ могутъ понадобится г-ну В. П. и его знакомымъ, которые брезгаютъ работающими и лѣтомъ больницами и думскими врачами. Ну, а если г. В. П. и его знакомые будутъ здоровы, позаботятся ли они о томъ, чтобъ окупить содержаніе оставшихся для нихъ врачей? Съ какой стати! Пусть живутъ, какъ хотятъ, но пусть каждую минуту будутъ готовы къ услугамъ г-на В. П.

Замѣтка хроникера „Петербургской Газеты“ цѣнна тою наивною грубостью и прямою, съ которою она высказываетъ господствующій въ публикѣ взглядъ на законность и необходимость закрѣпощенія врачей. „Являются ли врачи безусловно-свободными людьми, могущими располагать своимъ временемъ по личному желанію?“ Рѣчь тутъ идетъ не о служащихъ врачахъ, которые, принимая выгоды и обезпеченіе службы, тѣмъ самымъ, конечно, отказываются отъ „безу-

словной свободы“; рѣчь — о врачахъ вообще, по отношенію къ которымъ люди самихъ себя не считаютъ связанными рѣшительно ничѣмъ. Съ грознымъ, пристальнымъ и безошаднымъ вниманіемъ слѣдятъ они за каждымъ шагомъ врача: „служи обществу“, будь героемъ и подвижникомъ, не смѣй пользоваться „непонятнымъ обычаемъ“ отдыхать; а когда ты истреплешься или погибнешь на работѣ, то намъ до тебя нѣтъ никакого дѣла ¹⁾).

Недавно мы хоронили нашего товарища д-ра Стратонова. Недѣлю передъ тѣмъ онъ дѣлалъ въ частномъ домѣ трахеотомию и, высасывая изъ разрѣза трахеи дифтеритныя пленки, заразился дифтеритомъ самъ; онъ умеръ молодымъ, сильнымъ и энергичнымъ, и эта смерть была ужасна по своей быстротѣ и неожиданности.

¹⁾ Въ петербургскомъ губернскомъ земскомъ собраніи, въ засѣданіи 8 декабря 1900 года, управой былъ сдѣланъ докладъ о выдачѣ единовременнаго пособія двумъ санитарнымъ врачамъ и одному фельдшеру, заразившимся тифомъ при исполненіи своихъ обязанностей. Гласный П. П. Дурново рѣзко возсталъ противъ предложенія управы. Противъ зараженія,—заявилъ онъ,—никто не застрахованъ, врачи же по самому характеру службы своей обязаны рисковать здоровьемъ. Если бы врачъ умеръ, то еще можно было бы помочь его семейству, въ данномъ же случаѣ онъ только заболѣлъ. Изъ 9 санитарныхъ врачей губерніи каждый годъ одинъ, навѣрное, будетъ лежать въ тифѣ или другой болѣзни, неужели въ каждомъ подобномъ случаѣ земство должно давать пособія? *Если земство будетъ такъ щедро раздавать пособія, то врачи нарочно будутъ заражаться тифомъ.* — Къ чести петербургскаго земства, заявленіе г. Дурново вызвало единодушный протестъ собранія.

Въ часовнѣ стоялъ его гробъ, увѣшанный ненужными вѣнками. Пахло ладаномъ, подъ сводами замирала „вѣчная память“, въ окна доносился шумъ и грохотъ города. Мы стояли вокругъ гроба—

И молча смотрѣли въ лицо мертвецу,
О завтрашнемъ днѣ помышляя...

Послѣ него осталась вдова, дѣти; ни до нихъ, ни до него никому нѣтъ дѣла. Городъ за окнами шумѣлъ равнодушно и суетливо, и казалось, устели онъ всѣ улицы трупами, — онъ будетъ жить все тою же хлопотливою, сосредоточенною въ себѣ жизнью, не отличая взглядомъ труповъ отъ камней мостовой...

„Служать ли врачѣ обществу или нѣтъ?“

По подсчету д-ра Гребенщикова, отъ заразныхъ болѣзней умираетъ 37⁰/₀ русскихъ врачей вообще и около *шестидесяти процентовъ* земскихъ врачей въ частности. Въ 1892 году половина всѣхъ умершихъ земскихъ врачей умерла отъ сыпного тифа. Въ какихъ бьющихъ по нервамъ условіяхъ проходить дѣятельность врача, можно было достаточно видѣть изъ предыдущихъ главъ этихъ записокъ. Проф. Сикорскій на основаніи официальныхъ данныхъ изслѣдовалъ вопросъ о самоубійствѣ среди русскихъ врачей. Онъ нашель, что „въ годы отъ 25 до 35 лѣтъ самоубійства врачей составляютъ почти 10⁰/₀ обычной смертности, т.-е. въ эти годы *изъ десяти умершихъ врачей одинъ умираетъ отъ самоубійства*“. Цифра эта до того ужасна, что кажется невѣроятною. Но вотъ

другой изслѣдователь, д-ръ Гребенщиковъ, на основаніи другого матеріала и совершенно независимо отъ проф. Сикорскаго, пришелъ къ выводамъ, почти не разнящимся отъ выводовъ профессора; по Гребенщикову, за годы 1889—1892, самоубійства составляли 3,4⁰/₁₀₀ смертей врачей вообще и болѣе десяти процентовъ смертей *всѣхъ* земскихъ врачей.

Проф. Сикорскій занялся далѣе сопоставленіемъ своихъ данныхъ съ данными относительно другихъ профессій въ Россіи и Западной Европѣ. Оказалось, что *„русскіе врачи имѣютъ печальную привилегію занимать первое мѣсто въ свѣтѣ по числу самоубійствъ“*. При этомъ замѣчательно слѣдующее обстоятельство: врачъ, рѣшившись на самоубійство, сумѣлъ бы легче, чѣмъ кто-либо другой, выбрать себѣ наиболѣе безболѣзненную смерть: на дѣлѣ же оказывается, что въ самоубійствахъ врачей поразительно-часто фигурируютъ, напротивъ, самые мучительные способы: отравленіе стрихниномъ, сѣрною и корболовою кислотами, проколъ сердца троакаромъ и т. п. „Очевидно,—замѣчаетъ проф. Сикорскій, — значительное подавленіе инстинкта самосохраненія дѣлало для несчастныхъ товарищей безразличнымъ всякій способъ прекращенія жизни, лишь бы только достигалась цѣль“.

Да, врачи „служать обществу“, и служба эта не изъ особенно легкихъ и безмятежныхъ. А вотъ какая судьба ждетъ врачей, „отслужившихъ обществу“. У насъ существуетъ вспомогательная касса, учрежденная проф. Я. А. Чистовичемъ. Передо мною печатные протоколы засѣданій комитета

кассы за 1896 годъ. Вотъ двѣ выдержки изъ нихъ.

Должена просьба участника кассы М. А. Высоцкаго о назначеніи ему пенсіи въ виду отсутствія средствъ къ жизни и невозможности по болѣзни заниматься практикою. Г. Высоцкій, бывшій ашинскій городской врачъ, 59 лѣтъ, не имѣетъ никакого состоянія, пенсіи государственной не получаетъ, не имѣетъ родныхъ, которые могли бы его пріютить, не въ состояніи пропитывать себя личнымъ трудомъ и нуждается въ постороннемъ уходѣ, вслѣдствіе того, что страдаетъ развитымъ порокомъ сердца и параличомъ мышцъ тѣла правой стороны.—Назначена пенсія въ 300 рублей.

Должена просьба женщины-врача Ек. Ив. Линтваровой о назначеніи ей пособія въ размѣрѣ 200 руб. въ виду ея весьма тяжелаго матеріальнаго положенія, такъ какъ страдаетъ хроническою маляріею и сильнымъ малокровіемъ, развившимся послѣ перенесеннаго сыпного тифа, которымъ заразилась на службѣ, будучи земскимъ врачомъ. Проф. В. А. Манассеинъ и д-ръ Д. Н. Жбанковъ удостовѣряютъ бѣдственное положеніе г-жи Линтваровой и необходимость имѣть средства для леченія и пропитанія.—Назначено 200 руб.

Упомянутая касса—касса взаимопомощи, и составляетъ изъ ежегодныхъ взносовъ членовъ кассы, которые одни только и имѣютъ право на пособіе. Общество, которому служатъ врачи, къ этой кассѣ, разумѣется, никакого касательства не имѣетъ и не хочетъ имѣть. Заражайтесь и калѣчьте себя на работѣ для насъ, а разъ вы выбыли изъ строя, то помогайте себѣ сами. Размѣры назначенныхъ пособій въ приведенныхъ выдержкахъ говорятъ сами за себя, какую помощь можетъ оказывать своимъ членамъ касса.

XXI.

Въ докторской диссертациі В. К. Анрепа въ числѣ другихъ тезисовъ помѣщенъ слѣдующій: „Околоточные надзиратели, дворники и швейцары Петербурга обезпечиваются лучше служащихъ врачей“. Это вовсе не преувеличеніе. Врачи многихъ городскихъ больницъ получаютъ у насъ 45—50 руб. въ мѣсяць; въ Петербургѣ только совсѣмъ недавно жалованье больничнымъ врачамъ увеличено до 75 руб. Городовые врачи, обремененные массою самыхъ разнообразныхъ обязанностей, получаютъ жалованья двѣсти рублей *въ годъ*. По Гребенщикову, регистрація врачей по карточкамъ показала, что 16% всѣхъ служащихъ врачей получаетъ жалованья меньше 600 р. въ годъ, и 62% — не болѣе 1200 руб. Очень распространено мнѣніе, что незначительность получаемаго содержанія врачи легко восполняютъ частною практикою, что этимъ именно и объясняются скудные размѣры назначаемаго имъ содержанія. Но вѣдь для частной практики прежде всего требуется свободное распоряженіе своимъ временемъ; она не можетъ не отзываться на аккуратномъ несеніи службы,—это лежитъ въ самой сути условій частной практики. Между тѣмъ, если врачъ „небрежно“ относится къ своей службѣ, то на него летятъ громы, и въ это время люди забываютъ, что они же сами указываютъ на частную практику, какъ на подсобный заработокъ къ скудному жалованью. Кромѣ того, этотъ подсобный заработокъ, вопреки общераспространенному мнѣнію, очень невеликъ: по изслѣдо-

ваніямъ Гребенщикова, у 77% всѣхъ врачей (считая и вольнопрактикующихъ) заработокъ по частной практикѣ не превышаетъ тысячи рублей въ годъ. Мало есть интеллигентныхъ профессій, трудъ которыхъ вознаграждался бы хуже.

Рынокъ врачебнаго труда у насъ давно переполненъ, предложеніе значительно превышаетъ спросъ. Это ведетъ къ конкуренціи между врачами, въ которой худшіе изъ нихъ не брезгаютъ никакими средствами, чтобъ отбить пациента у соперника; приглашенные къ больному, такіе врачи первымъ дѣломъ раскритикуютъ всѣ назначенія своего предшественника и заявятъ, что „такъ недолго было и уморить больного“; послѣднія страницы всѣхъ газетъ кишатъ рекламами такихъ врачей, и ихъ фамиліи стали извѣстны каждому не менѣе фамиліи вездѣсущаго Генриха Блокка; болѣе ловкіе искусно пускаютъ въ публику черезъ газетныхъ хроникеровъ и интервьюеровъ извѣстія о совершаемыхъ ими блестящихъ операціяхъ и излеченіяхъ и т. п. Съ другой стороны, немало врачей, убѣдившись въ трудности и необеспеченности своей профессіи, поступаютъ въ чиновники или берутся за какое-либо другое дѣло; повидимому, число ихъ все растетъ. За послѣдніе годы было опубликовано нѣсколько случаевъ самоубійствъ врачей вслѣдствіе полнѣйшей голодовки; извѣстны примѣры, гдѣ врачи поступали на мѣста фельдшеровъ съ фельдшерскимъ же жалованьемъ.

Люди даже сравнительно образованные нерѣдко высказываютъ мнѣніе, что причиною бѣдственнаго положенія врачей является ихъ тяготѣніе къ го-

родамъ. Люди эти говорятъ: у насъ около двадцати тысячъ врачей, а населеніе Россіи составляетъ 128 милліоновъ. Какая тутъ можетъ быть рѣчь о перепроизводствѣ? Врачи не хотятъ идти въ глушь, а хотятъ непремѣнно жить въ культурныхъ центрахъ; понятно, что въ этихъ центрахъ наблюдается перепроизводство, но перепроизводство это—совершенно искусственное: врачи въ центрахъ голодаютъ, а деревня гибнетъ и вырождается, не зная врачебной помощи. У насъ врачей слишкомъ мало, а не много, и нужно всячески заботиться объ увеличеніи ихъ числа.

Деревня, дѣйствительно, гибнетъ и вырождается, не зная врачебной помощи. Но неужели причина этого лежитъ въ томъ, что у насъ мало врачей? Половина русскаго населенія ходитъ въ лаптяхъ,—неужели это оттого, что у насъ мало сапожниковъ? Увеличивайте число сапожниковъ безъ конца,—въ результатѣ получится лишь одно: самимъ сапожникамъ придется ходить въ лаптяхъ, а кто ходилъ въ лаптяхъ, тотъ и будетъ продолжать ходить въ нихъ.

Врачи вовсе не обладаютъ такимъ страннымъ вкусомъ, чтобъ предпочитать голодовку въ городахъ куску хлѣба въ глуши. На вакансіи земскихъ врачей въ самыхъ глухихъ мѣстностяхъ, съ самымъ скромнымъ содержаніемъ, всегда является масса кандидатовъ; напр., въ 1883 году, какъ сообщалось во „Врачѣ“, на одну вакансію земскаго врача въ Княгининскомъ уѣздѣ было подано семьдесятъ шесть прошеній, на другую, въ Кашинскомъ уѣздѣ, девяносто два прошенія. Дѣло не

въ боязни врачей передъ глушью, — дѣло просто въ томъ, что деревня безысходно бѣдна и не въ состояніи оплачивать трудъ врача. Восемидесятые годы представляютъ немало попытокъ вольной врачебной практики въ деревнѣ; у всѣхъ еще въ памяти имена д-ровъ Сычугова, Таирова и др. Но попытки эти лишь доказали, что люди, воодушевленные идеей, могутъ кое-какъ перебиваться въ деревнѣ безъ посторонней поддержки. Вопросъ же вовсе не въ томъ; вопросъ въ томъ, можетъ ли средній врачъ, — не подвижникъ, а обыкновенный работникъ, — прожить въ деревнѣ врачебнымъ трудомъ. Кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ положеніемъ нашей деревни, тотъ не будетъ спорить, что ея бѣдность и некультурность совершенно закрываютъ доступъ къ ней обыкновенному вольно-практикующему врачу.

Материальная обезпеченность врачей все больше ухудшается. Между тѣмъ, въ послѣднее время у насъ выступаетъ новый имъ конкурентъ, — желанный и въ то же время грозный, — женщина. Какъ вездѣ, гдѣ она выступаетъ конкуренткой мужчинѣ, она за тотъ же трудъ довольствуется меньшею платою, и тѣмъ самымъ понижаетъ вознагражденіе мужчины. Изъ приводимыхъ д-ромъ Гребенщиковымъ данныхъ видно, что средній размѣръ жалованья служащихъ врачей-мужчинъ составляетъ 1161 р., тогда какъ врачей-женщинъ — 833 р. Съ увеличеніемъ числа женщинъ-врачей онѣ, несомнѣнно, будутъ оказывать все большее вліяніе на общее пониженіе платы за врачебный трудъ.

Таково положеніе врачей вовсе не у насъ однихъ.

Въ западной Европѣ оно даже еще болѣе бѣдственное. Вездѣ — громадная армія врачей, безъ дѣла, безъ заработка, готовая идти на какія угодно условія. Лѣтъ восемь назадъ больничная касса въ Будапештѣ заявила, что будетъ платить врачамъ за каждое посѣщеніе ими больного по сорокъ крейцеровъ (ок. 25 коп.); несмотря на это, желающихъ войти въ соглашеніе съ кассою оказалось множество. Больше половины берлинскихъ врачей вырабатываетъ въ мѣсяць не болѣе семидесяти пяти рублей; вѣнскіе врачи не брезгаютъ платою въ 20 крейцеровъ (12 коп.) за визитъ. Анри Беранже въ своей статьѣ „Интеллигентный пролетаріатъ во Франціи“ говоритъ: „Цѣлая половина парижскихъ врачей находится въ положеніи, не достигающемъ уровня безбѣднаго существованія; большая же часть этой половины въ дѣйствительности нищенствуетъ, — нищенствуетъ въ буквальномъ смыслѣ этого слова, такъ какъ представители этой профессіи нерѣдко ночуютъ въ ночлежныхъ домахъ. Въ провинціи изъ десяти тысячъ врачей еле пять тысячъ вырабатываютъ на приличное существованіе“.

И въ западной Европѣ массы врачей не находятъ себѣ дѣла, разумѣется, вовсе не потому, что потребность общества въ врачебной помощи вполне насыщена; и тамъ, какъ у насъ, для громадныхъ слоевъ населенія врачебная помощь представляетъ недоступную роскошь. Это — просто частичное проявленіе тѣхъ поражающихъ противорѣчій, которыя, какъ корни дуба — почву, прочно и глубоко проникаютъ самыя основанія нынѣшней жизни.

Тысячи пудовъ хлѣба и мяса гніють, не находя сбыта, а рядомъ тысячи людей умирають съ голоду, не находя работы; потоками льется кровь, чтобъ въ отдаленнѣйшихъ частяхъ свѣта отвоевать рынки для суконъ и бархата, а люди, изготовляющіе эти сукна и бархаты, ходять въ ситцѣ и бумазеѣ.

XXII.

Недавно рано утромъ меня разбудили къ больному, куда-то въ одинъ изъ пригородовъ Петербурга. Ночью я долго не могъ заснуть, мною овладѣло странное состояніе: голова была тяжела и тупа, въ глубинѣ груди что-то нервно дрожало, и какъ будто всѣ нервы тѣла превратились въ туго-натянутыя струны; когда вдали раздавался свистокъ поѣзда на вокзалѣ или трещали обон, я болѣзненно вздрагивалъ, и сердце, словно оборвавшись, вдругъ начинало быстро биться. Принявъ бромистаго натра, я, наконецъ, заснулъ; и вотъ черезъ часъ меня разбудили.

Чуть свѣтало. Я ѣхалъ на извозчикѣ по пустыннымъ, темнымъ улицамъ; въ предразсвѣтномъ туманѣ угрюмо дрожали гудки далекихъ заводовъ. Было холодно и сыро; рѣдкіе огоньки сонно мигали въ окнахъ. На душѣ было смутно и какъ-то жутко-пусто. Я вспоминалъ свое вчерашнее состояніе, наблюдалъ теперешнюю разбитость, — и съ ужасомъ почувствовалъ, что я боленъ, боленъ тяжело и серьезно. Ужъ два послѣдніе года я замѣчалъ, какъ у меня все больше выматываются

нервы, но теперь только ясно понялъ, до чего я дошелъ.

Семь лѣтъ я врачомъ. Какъ прожилъ я эти семь лѣтъ? Всѣ они были жестокою насмѣшкою надъ тѣмъ, что я же, какъ врачъ, долженъ былъ предписывать своимъ паціентамъ. Все время нервы напряжены, все время жизнь бьетъ по этимъ нервамъ; чтобъ безнаказанно переносить такое состояніе, нужна громадная нервная сила, а между тѣмъ жить приходится такъ, что и самая желѣзная устойчивость должна разрушиться. Для меня нѣтъ праздниковъ, нѣтъ гарантированнаго отдыха: каждую минуту, отъ сна, отъ ѣды, меня могутъ оторвать на цѣлые часы, и никому нѣтъ дѣла до моихъ силъ. И вотъ съ каждымъ годомъ все больше обращаешься въ развалину-неврастеника; пропадаетъ радость жизни и любовь къ ней, пропадаетъ, еще страшнѣе, отзывчивость и способность горячо чувствовать. А между тѣмъ видишь, что это есть въ душѣ: стоитъ хоть немного пожить человѣческою жизнью, — и душа возрождается, и кажется, что въ ней такъ много силы и любви.

А въ какихъ условіяхъ я живу? Послѣ пятилѣтняго ожиданія я, наконецъ, получилъ жалованье въ семьдесятъ пять рублей; на него и на невѣрный доходъ съ частной практики я долженъ жить съ женою и двумя дѣтьми; вопросы о зимнемъ пальто, о покупкѣ дровъ и наймѣ няни — для меня тяжелые вопросы, изъ-за которыхъ приходится мучительно ломать себѣ голову и бѣгать по ссуднымъ кассамъ. Мои товарищи —кто подат-

ной инспекторъ, кто инженеръ, кто акцизный чиновникъ; за спокойную, безмятежную службу они получаютъ жалованье, о какомъ я не смѣю и мечтать. Я даже лишень семейныхъ радостей, лишень возможности спокойно приласкать своего ребенка, потому что въ это время мелькаетъ мысль: а что, если съ своею ласкою я перенесу на него ту оспу или скарлатину, съ которою сегодня имѣлъ дѣло у больного?

Въ утреннемъ туманѣ передо мною тянулся громадный городъ; высокія зданія, мрачныя и тихія, тѣснились другъ къ другу, и каждое изъ нихъ какъ будто глубоко ушло въ свою отдѣльную, угрюмую думу. Вотъ оно, это грозное чудовище! Оно требуетъ отъ меня всѣхъ моихъ силъ, всего здоровья, жизни,—и въ то же время страшно, до чего ему нѣтъ дѣла до меня... И я долженъ ему покоряться,—ему, которое беретъ у меня все и взамѣнъ не даетъ ничего!

Думать, что его можно разжалобить,—смѣшно; смѣшно и ждать, что можно что-нибудь достигнуть указаніемъ на его несправедливое отношеніе къ намъ. Только тотъ, кто борется, можетъ заставить себя слушать. И выходъ для насъ одинъ: мы, врачи, должны объединиться, должны совмѣстными силами бороться съ этимъ чудовищемъ и отвоевать себѣ лучшую и болѣе свободную долю.

Я ѣхалъ пригороднымъ трактомъ. Около заросшихъ желтѣвшею травою канавъ тянулись деревянные мостки, матовые отъ росы. Изъ фабричныхъ трубъ валилъ дымъ и темнымъ душнымъ пологомъ разстилался надъ крышами. Извозчикъ

остановился у воротъ желто-коричневаго деревяннаго дома.

По темной, крутой лѣстницѣ я поднялся во второй этажъ и позвонилъ. Въ маленькой комнатѣ сидѣлъ у стола блѣдный человѣкъ лѣтъ тридцати, въ синей блузѣ съ разстегнутымъ воротомъ; его русые усы и бородака были въ крови, около него на полу стоялъ большой глиняный тазъ; тазъ былъ полонъ алою водою, и въ ней плавали черные сгустки крови. Молодая женщина, плача, колоча кухоннымъ ножомъ ледъ.

— Вы простите, докторъ, что обезпокоилъ васъ!—сказалъ мужчина, быстро поднимаясь мнѣ навстрѣчу и протягивая руку.—Дѣло у меня извѣстное,—туберкулезъ, и вслѣдствіе этого кровохарканіе. Да вотъ, очень ужъ жена пристала,—непремѣнно чтобъ докторъ пріѣхалъ...

-- Прежде всего ложитесь и не разговаривайте!—прервалъ я его.--Вамъ ни одного слова не слѣдуетъ говорить. И не волнуйтесь, — это вовсе не опасно.

— А я волнуюсь?—удивленно произнесъ онъ про себя, пожавъ плечомъ, и сѣлъ на постель.

Я уложилъ больного и осторожно приставилъ стетоскопъ къ его груди. Закинувъ свою красивую голову и прикусивъ тонкія, окровавленныя губы, онъ лежалъ и, прищурившись, смотрѣлъ въ потолокъ.

— Вашъ мужъ чѣмъ занимается?—спросилъ я молодую женщину, кончивъ выслушивать и выпрямляясь. Она сидѣла у стола, съ слезами на щекахъ, и съ тоской слѣдила за мною.

— Литейщикъ онъ по мѣди, въ N—скомъ заводѣ работаетъ... Господи, Господи, до тридцати лѣтъ всего дотянулъ! А какой былъ здоровый!.. Мѣдные-то пары,—какъ скоро всю грудь выѣли!

Она, рыдая, припала грудью къ краю стола.

— Ну, Катя, чего ты? Не такъ оно опасно! — нетерпѣливо и ласково проговорилъ литейщикъ.— Слышала, и докторъ сказалъ... Съ такими кровохарканьями и до пятидесяти лѣтъ доживаютъ, — не такъ ли?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да, конечно!.. Только не разговаривайте, лежите смирно... Бываютъ случаи, что и совѣмъ выздоравливаютъ...

Литейщикъ лежалъ, молча и подтверждающе кивая головою. Я сѣлъ писать рецептъ.

— Боже мой. Боже мой, какъ жизнь-то скоро сломала!—съ всхлипывающимъ вздохомъ произнесла женщина.—Я вамъ скажу, господинъ докторъ,—вѣдь онъ нисколько себя не жалѣеть; какъ жилось-то! Придетъ съ работы, сейчасъ за книги, всю ночь сидитъ, или по дѣламъ бѣгаетъ... Вѣдь на одного человѣка ему силы отпущено, не на двухъ!..

Больной закашлялся и, наклонившись надъ тазомъ, выплюнулъ большой сгустокъ крови.

— Ну, будетъ! Что много разговариваешь?—вполголоса обратился онъ къ женѣ, отдышавшись.

Я просидѣлъ у больного съ полчаса, утѣшая и успокаивая его жену. Комната была убогая, но все въ ней говорило о запросахъ хозяина. Въ углу лежала груда газетъ, на комодѣ и на швейной машинѣ были книги, и на ихъ корешкахъ я прочелъ нѣкоторыя дорогія, близкія имена.

Я вышелъ и сѣлъ на извозчика. Теперь было совсѣмъ свѣтло; туманъ поднялся отъ земли и влажными, сѣрыми клубами ползъ по небу; въ просвѣтахъ виднѣлось чистое небо, освѣщенное солнцемъ. На улицахъ было попрежнему тихо, но изъ трубъ домовъ уже шель дымъ, въ окнахъ блестяли самовары, и были видны люди; по сизымъ отъ росы мосткамъ вдоль канавъ прошелъ густо-натоптанный черный слѣдъ. Я вспомнилъ то настроеніе, съ какимъ я ѣхалъ сюда и съ какимъ смотрѣлъ на эти мостки и заросшіе желтою травю откосы канавъ: настроеніе это показалось мнѣ теперь удивительно-мелкимъ и чуждымъ; не то, чтобъ мнѣ было стыдно за него, — мнѣ просто было странно и непонятно, какъ я могъ ему отдаться.

Мы должны объединиться и бороться, — конечно, это такъ. Но кто „мы“? Врачи? Мы можемъ, разумѣется, стараться улучшить положеніе своей корпорации, усовершенствовать взаимопомощь, и другое въ такомъ родѣ. Но борьба, борьба широкая и коренная, невозможна, если на знамени стоитъ голый грошъ. Наше положеніе тяжело. Но кому изъ постороннихъ оно можетъ казаться таковымъ? На рогожныхъ фабрикахъ у насъ рабочему при наймѣ ставится условіемъ не просить по городу милостыни, женщина-работница принуждена у насъ отдавать себя мастеру, быть проституткой, за одно право имѣть работу... Было бы, конечно, очень хорошо, если бы мы получали оклады, какіе получаютъ инженеры, если бы могли работать, не утомляясь и не думая о завтрашнемъ днѣ. Но это легко говорить. Земскій врачъ получаетъ нищен-

ское жалованье, но не может деревня изъ своей черной корки хлѣба создать ему мясо и вино. Вознагражденіе врача вообще очень низко,—и тѣмъ не менѣе не только для бѣдняка, а даже для чело-вѣка средняго достатка лечение есть разореніе. Выходомъ тутъ не можетъ быть тотъ путь, о ка-комъ я думалъ. Это была бы не борьба отряда въ рядахъ большой арміи, это была бы борьба кучки людей противъ всѣхъ окружающихъ, и по этому самому она была бы бессмысленна и бесплодна. И почему такъ трудно понять это намъ, которые съ дѣтства росли на „широкихъ умственныхъ гори-зонтахъ“, когда это такъ хорошо понимаютъ люди, которымъ каждую пядь этихъ горизонтовъ при-ходится завоевывать тяжелымъ трудомъ?

Да, выходъ въ другомъ. Этотъ единственный выходъ — въ сознаніи, что мы лишь небольшая часть одного громаднаго, неразъединимаго цѣлаго, что исключительно лишь въ судьбѣ и успѣхахъ этого цѣлаго мы можемъ видѣть и свою личную судьбу и успѣхъ.

EUGENE A. SEMENOV

1895—1900 г.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Предисловіе	3
I.	12
II.	24
III.	40
IV.	60
V.	78
VI.	83
VII.	100
VIII.	118
IX.	150
X.	166
XI.	181
XII.	193
XIII.	205
XIV.	214
XV.	227
XVI.	239
XVII.	250
XVIII.	264
XIX.	273
XX.	287
XXI.	299
XXII.	304

Того же автора:

Очерки и рассказы. (На мертвой дорогѣ.—Товарищи.—Порывъ.—Прекрасная Елена.—Загадка.—Безъ дороги.—Повѣтріе.) *Изданіе третье.* Спб. 1901. Ц. 1 руб.

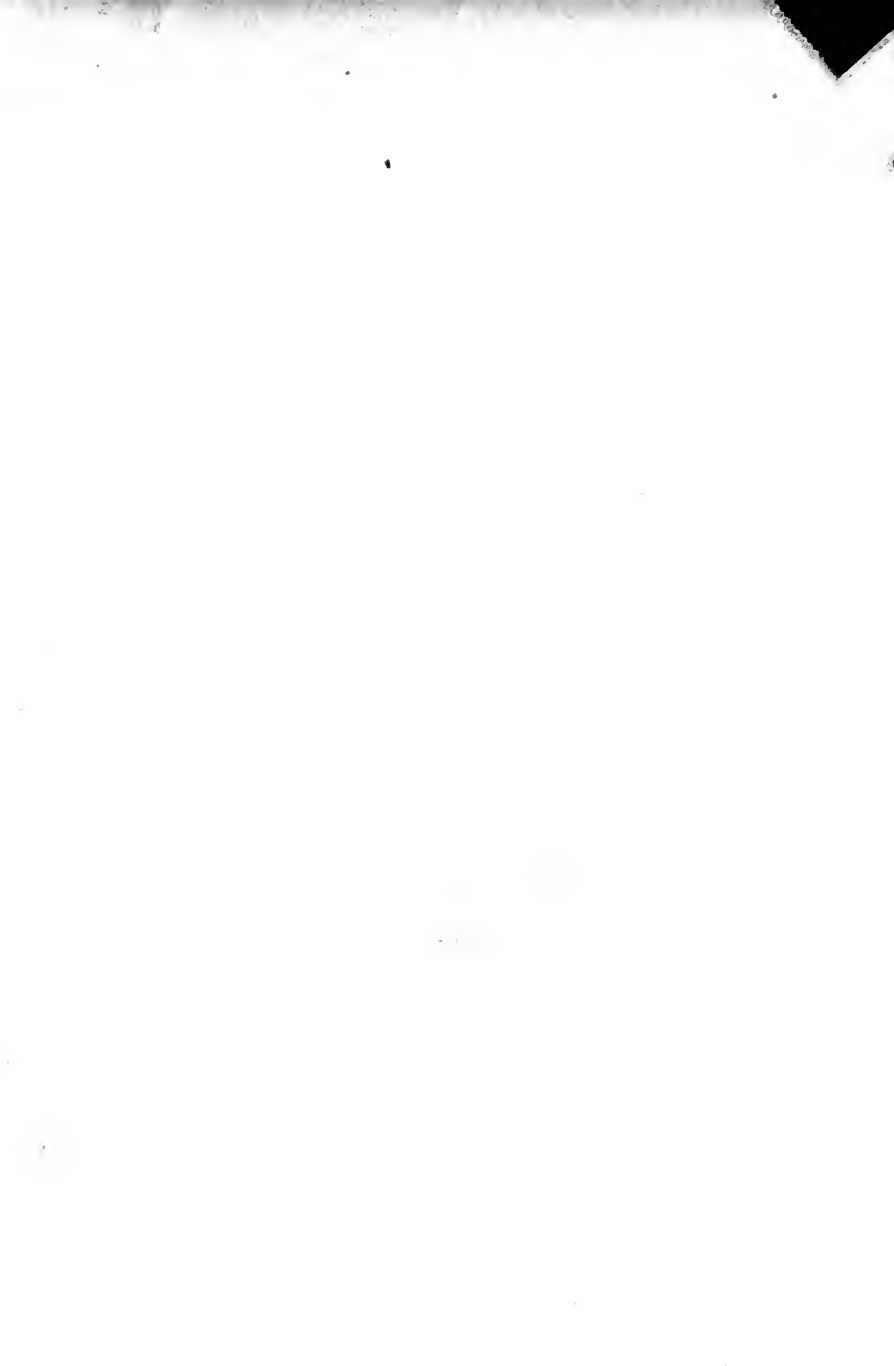
Конѣцъ Андрея Ивановича. Повѣсть. Изданіе второе. Спб. 1902. Ц. 50 коп.

Складъ изданій въ книжномъ магазинѣ
О. Н. Поповой. Невскій, 54.





313



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 001926564